

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

*В. В. Попов*

**ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

*Монография*

Волгоград  
ВА МВД России  
2024

УДК 342.7  
ББК 67.400.32  
П 58

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Волгоградской академии МВД России

**Попов, В. В.**

П 58      Права человека в правовом регулировании: теоретический анализ : монография / В. В. Попов. – Волгоград : ВА МВД России, 2024. – 272 с.

ISBN 978-5-7899-1521-9

В монографии исследуются особенности проявления регулятивных свойств прав человека как правового и законодательного феномена в контексте культурно-информационного влияния права на общественные отношения. Методологическую основу исследования составляет разделение политико-идеологического и логического подходов к изучаемым явлениям, семантических и прагматических аспектов анализа предмета научных исследований, а также учет различий объектного и метаязыка права. Подобный подход позволил выявить отсутствие у прав человека предписывающей нормативной природы, при наличии у них непредписывающих регулятивных свойств.

Издание ориентировано на курсантов, слушателей, адъюнктов и педагогических работников образовательных организаций системы МВД России.

**УДК 342.7**  
**ББК 67.400.32**

*Рецензенты:* профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России доктор юридических наук, доцент *А. Г. Рельев*; начальник кафедры теории государства и права Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент *С. Н. Болдырев*.

ISBN 978-5-7899-1521-9

© Попов В. В., 2024  
© Волгоградская академия МВД России, 2024

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение</b> .....	5
<b>Глава 1. Онтология прав человека: методологические основы</b> .....	7
1.1. Онтология прав человека в контексте естественности их происхождения.....	7
1.2. Информационное начало онтологического статуса прав человека: методологические замечания .....	14
1.3. Права человека как информация: предпосылки корректности выбора информационного статуса .....	28
1.4. Права человека как оценочные суждения: связь со свободой в прагматическом аспекте анализа.....	43
<b>Глава 2. Нормативность прав человека</b> .....	74
2.1. Проблема нормативности прав человека: методологические замечания .....	74
2.2. Проблемы нормативного начала прав человека: взаимная определимость нормативных модальностей.....	90
2.3. Проблема нормативности прав человека: юридическое разрешение и юридическая непредписанность .....	98
2.4. Проблема нормативности прав человека: правовое разрешение-полномочие .....	106
2.5. Проблема нормативности прав человека: взаимная связь прав и обязанностей .....	122
<b>Глава 3. Проблема объективности прав человека: право и законодательство</b> .....	134
3.1. Теоретико-практические дефекты интерпретации идеи объективности права .....	134
3.2. Права человека как законодательный феномен: предпосылки рассмотрения через модель семиотического треугольника .....	147

3.3. Права человека как законодательный феномен: репрезентация значения и смысла права .....	159
3.4. Права человека как дублирующий или косвенный экспонент нормативно-правового предписания .....	170
<b>Глава 4. Права человека и правовое регулирование .....</b>	<b>180</b>
4.1. Права человека в правовом регулировании: методологические замечания .....	180
4.2. Права человека в непредписывающем правовом регулировании: методологические замечания .....	189
4.3. Права человека в непредписывающем правовом регулировании: оценки ante legem и pre legem.....	216
4.4. Права человека в непредписывающем правовом регулировании: оценки praeter legem, secundum legem и post legem.....	241
<b>Заключение .....</b>	<b>245</b>
<b>Список использованной литературы .....</b>	<b>246</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Методологические проблемы теории права в значительной мере детерминированы смешением не только политико-идеологического и логического аспектов анализа изучаемых явлений, но также объектного и метаязыка права.

Довольно распространенным для естественно-правового понимания является выбор таких средств изучения, которые в большей степени выражают не столько гносеологическую, сколько политико-прагматическую функцию общетеоретической юридической науки.

Различение данных явлений позволяет исключить подобное смешение, что дает возможность корректно исследовать природу прав человека, выявив особенности их регулятивной природы.

**Объект исследования:** онтологический статус прав человека на основании разделения прагматического и семантического аспектов их анализа с учетом разделения объектного и метаязыка права и поиск нормативной основы прав человека в целях корректности определения места и роли прав человека в правовом регулировании.

**Цель исследования:** создание научно-теоретической основы для учебной и учебно-методической литературы, а также методологической основы для дальнейших научных исследований в сфере формирования у обучающихся в образовательных организациях МВД России профессиональных компетенций, позволяющих неуклонно соблюдать дисциплину и законность в ходе исполнения служебных обязанностей по защите прав человека на основе знания закономерностей происхождения, функционирования и развития данных прав, а также структурно-функциональной характеристики места этих прав в механизме правового воздействия как элемента общесоциального управления.

**Задачи исследования:**

- разделить описание прав человека в объектном и метаязыке права;
- разделить логические и политико-идеологические аспекты анализа прав человека, интерпретируемых как мера свободы;
- выявить предпосылки влияния политико-идеологического аспекта анализа природы прав человека на характеристики их бытия;
- определить корректность описания прав человека в качестве меры свободы, причем как в семантическом, так и в прагматическом аспекте анализа;

- определить корректность описания прав человека посредством нормативных операторов;
- выявить различия предписывающего и непредписывающего правового регулирования;
- определить место и роль прав человека в предписывающем и непредписывающем правовом регулировании.

**Актуальность исследования:** знание закономерностей происхождения, функционирования и развития данных прав, а также структурно-функциональной характеристики места указанных прав в механизме правового воздействия как элемента общесоциального управления способствует формированию профессиональных компетенций, позволяющих неуклонно соблюдать дисциплину и законность в ходе исполнения служебных обязанностей по защите прав человека на основе знания закономерностей происхождения, функционирования и развития данных прав, а также структурно-функциональной характеристики места этих прав в механизме правового воздействия как элемента общесоциального управления.

**Область применения:** в профессиональной, служебной подготовке сотрудников органов внутренних дел (ОВД), в учебном процессе и в научной деятельности образовательных организаций МВД России.

Монография предназначена для преподавателей, адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, преподающих или изучающих учебные дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности ОВД», «Теория государства и права».

## **Глава 1. Онтология прав человека: методологические основы**

### **1.1. Онтология прав человека в контексте естественности их происхождения**

После распада СССР серьезнейшие изменения практически всех аспектов социальной жизни не могли не отразиться на гуманитарной науке. Произошла смена научно-юридических парадигм. Вместе с тем радикальность смены смысловых парадигм при замещении марксистско-ленинской теории государства и права на (в том числе и) естественно-правовую доктрину является весьма и весьма условной. Одни «единственно верные» государственно-правовые воззрения были относительно быстро заменены на другие, причем с не всегда явно высказываемой претензией на исключительную правильность новых воззрений. Почему?

Конечно, юридической наукой советского периода вопрос о допустимости заимствования естественно-правовых воззрений никак не мог быть решен положительно в публичном дискурсе, но в постсоветской юридической мысли естественно-правовые идеи были восприняты весьма оперативно.

Подобная оперативность зиждется на том, что идеологическое содержание естественно-правовых идей в ряде юридических аспектов довольно схоже с идеологическим содержанием юридической науки, основанной на марксистской методологии.

Да, такое высказывание может показаться остро дискуссионным. Но если посмотреть на «диалектико-материалистические» утверждения о знании объективных законов общественного развития, то очевидна их схожесть со знанием о законах (закономерностях) естественного общественного развития.

Несмотря на некую плюралистичность теоретических моделей прав человека, первоначальная «классическая» модель прав человека (которая *de facto* является политико-идеологической основой доминирующих тенденций развития современной глобальной политики) в теоретико-юридическом смысле базируется на теории естественного права. Критериальная же значимость естественно-правовых моделей основана на возможности идеологического обоснования ценности существующей государственно-правовой системы, причем

именно эту критериальную значимость можно считать основой политико-прагматического использования естественно-правовых воззрений. И даже если не признавать за некоторыми теоретическими реконструкциями прав человека естественно-правового методологического фундамента, то все же можно увидеть, что за этими правами вполне признается та самая критериальная ценность как в науке, так и на практике.

Возможность использования прав человека как критерия легитимности, мерила «правильности» государства и права выдвигает и определенные требования к этим правам. Это требования к некой «истинности», «верности» их содержания (хотя использование идеи истинности не вполне удачно в нормативных контекстах), коль скоро такое содержание дает возможности судить о «правильности» права и государства. А «истинность» содержания прав человека, условно говоря, не может быть выше истинности отражения объективной реальности. Думается, что именно так, через связь объективной реальности и естественности, можно сформулировать прагматическую предпосылку для утверждения «авторитета» прав человека, предпосылку для обоснования места этих прав в иерархии социальных ценностей, когда ценность прав человека превышает ценность позитивного права, государственного суверенитета и т. д.

Основой истинности данных воззрений является явно или неявно выражаемая приверженность именно представлениям о естественности определенных правовых явлений.

Важен тот факт, что при замене объективности естественностью сам прагматический потенциал модели, объясняющей возникновение и развитие государственно-правовых феноменов, остается одинаковым. Суть такого прагматизма в том, что данная модель позволяет обосновать определенную неизбежность, непреложность той или иной государственно-правовой действительности, даже если сама эта действительность изменится радикально, хотя в недавнем прошлом подобное изменение признавалось невозможным.

Конечно, подобные идеологические схемы в не меньшей степени, нежели марксизм, привлекательны для субъектов политико-правовой деятельности различного уровня.

Однако быстрота и легкость смены концептуальных основ не только юридической науки, но и государственно-правовой практики заставляют задуматься о ряде вопросов. Не идет ли речь о своеобразном

примате веры над разумом? Не заменен ли поиск рациональных идей о природе прав человека всего лишь *верой* в правильность естественно-правовых идей?

Решение данной проблемы представляется весьма сложным, включающим в себя необходимость выполнения ряда частных задач. Прежде всего, нужны четко установленные не только идеологические, но и рациональные, логические основания для теоретической реконструкции естественности прав человека. Важность такой реконструкции особенно ярко акцентируется тем, что различие между объективностью и естественностью применительно к возникновению, функционированию и развитию правовых явлений вполне может представляться как практически отсутствующее.

Но даже принятие идеи о естественной сущности этих прав человека требует определенности в вопросе о том, как эти права существуют. Хотя думается, что даже если и не использовать методологию поиска сущности явлений, относя ее к области метафизики, то все же вопрос об онтологии явлений, изучаемых теорией государства и права, останется фундаментальным как в силу необходимости сохранить предметность научного исследования, так и в силу необходимости ухода в своеобразный агностицизм – «без обращения к онтологическим основаниям права юриспруденция обречена иметь право как непостижимую реальность...»<sup>1</sup>.

Анализ онтологической проблематики прав человека позволит избежать отмечаемого А. В. Поляковым «рокового онтологического разрыва» в понимании права и прав человека<sup>2</sup>, который образовался, по мысли ученого, в силу того, что «...сегодня большинство наших правоведов соглашается с тем, что права и свободы человека не являются «даром» государства... Но и каких-либо ясных представлений о том, чем же они тогда являются, также нет. Между тем отказ от «даровой» концепции неминуемо должен влечь за собой революционные для нашего правоведения изменения в теории. Ведь само понятие права в таком случае не может быть односторонне связано ни с государством, ни с «природной» природой человека!»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Пермяков Ю. Е. Проблема онтологического единства правовых норм и суждений // Конфликтология. 2011. № 4. С. 77.

<sup>2</sup> См.: Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание: избранные труды. СПб.: Алеф-Пресс, 2014. С. 36–37.

<sup>3</sup> Там же. С. 36.

Далее, уместно привести замечание Ю. Е. Пермякова по вопросу о бытии правовых норм: «Когда Г. Х. фон Вригт допускает постановку вопроса об экзистенциальном статусе моральных и юридических норм, – он фактически выходит за рамки самой логики и вступает в область философии... Никакой экзистенции у норм, как и у вещей, – нет»<sup>1</sup>. Думается, что Ю. Е. Пермяков не совсем прав, устанавливая подобный ракурс критики Г. Х. фон Вригта. Г. Х. фон Вригт, которого по весьма точному замечанию В. Кравица следует относить к одному «...из трех ключевых мыслителей, сформировавших логические основы общей теории права»<sup>2</sup>, не может быть отнесен к последователям и продолжателям всех направлений аналитической и, в частности, лингвистической философии.

Анализ интеллектуального наследия Г. Х. фон Вригта не позволяет сделать вывод о том, что в аспекте онтологической проблематики (например, социальных норм) он придерживался ее экзистенциальной трактовки в специальном смысле этого слова. Подобной трактовки придерживались, например, С. Кьеркегор, противопоставлявший предметное внешнее бытие как «ненастоящее существование» единственному и неповторимому бытию человека «внутри самого себя»<sup>3</sup>; К. Ясперс со своей знаменитой «онтологической триадой» (предметное бытие или «бытие-в-мире», т. е. мир явлений, чувственный мир; экзистенция как необъективируемая человеческая самость («Я-бытие»); трансценденция – необъятный предел всякого бытия и мышления<sup>4</sup>); М. Хайдеггер, делающий ключевым объектом исследования бытийно-историческую сущность человека, укорененную в мировом бытии<sup>5</sup>, и другие представители экзистенциализма.

Ю. Е. Пермяков, различая правовые нормы и правовые предписания, выступает против гипостазирования<sup>6</sup> правовых норм. Согла-

---

<sup>1</sup> Пермяков Ю. Е. Проблема онтологического единства правовых норм и суждений. С. 81.

<sup>2</sup> Кравиц В. Современное право и система права в перспективе теории коммуникации // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 174.

<sup>3</sup> Кьеркегор С. Страх и трепет / пер. с дат. А. В. Авзюлина. М.: Республика, 1993. 383 с.

<sup>4</sup> См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 527 с.

<sup>5</sup> Цит. по: Квятковский Д. О. Онтологические основы в философии экзистенциализма // Вестник Омского университета. 2016. № 1. С. 65.

<sup>6</sup> Впрочем, Ю. Е. Пермяков в русле терминологических предпочтений философии постмодернизма использует термин «реификация» (правовых норм). См.: Пермяков Ю. Е. Проблема онтологического единства правовых норм и суждений. С. 79.

шаясь с автором относительно недопустимости «овеществления» правовых норм, все же отметим, что вещество – это не единственный объект в универсуме, существующий объективно. Например, информация, не будучи веществом, все же существует, причем «не менее объективно», нежели любое вещество.

В подобном ракурсе высказывание о том, что правовая норма не является непосредственно данной (в качестве исторического факта) реальностью, что «правовая норма как логическая конструкция лишена всяких свойств исторической реальности, непосредственно данной реальности, в качестве исторического факта, доступного научному описанию»<sup>1</sup>, кажется несколько противоречивым, если не использовать как методологическую основу солипсизм. Избежать солипсизма позволит интерпретация приведенного высказывания в семантическом поле алетической логики, утверждающей, что законы логики дискурсивно приоритетны перед законами природы в том смысле, что необходимое физически всегда необходимо и логически, но никак не наоборот.

Более того, Ю. Е. Пермяков сам дает предпосылки для такого ограничения толкования физической необходимости, что дискурсивный приоритет логически необходимого перед физически необходимым становится совершенно неоспоримым. Дело в том, что введение Ю. Е. Пермяковым уточнения относительно вещественности и историчности того, что в алетическом контексте может быть интерпретировано как физически необходимое<sup>2</sup>, аналитически предполагает рассуждение с семантикой, привязанной (в верификационном аспекте) не к вещественно-историческому миру, но к одному из возможных миров.

Иными словами, правовая норма никак не может быть лишена реальности бытия. В этой связи Г. Х. фон Вригт совершенно правомерно вел речь об экзистенции норм, не вводя значимого различия в толковании онтологии и экзистенции.

Вместе с тем ход мыслей Ю. Е. Пермякова о том, что юридическая сила правовой нормы «способна создавать препятствия... в произвольном конструировании суждений тем субъектом права, который не может покинуть пределы легитимного бытия без крушения собст-

---

<sup>1</sup> См.: Пермяков Ю. Е. Проблема онтологического единства правовых норм и суждений. С. 79–80.

<sup>2</sup> То есть исходя из связи темпоральных и алетических модальностей, существующее.

венной субъектности»<sup>1</sup>, вполне заслуживает внимания, однако требует интерпретации с более четким различием прагматических и семантических аспектов анализа высказываний, о чем будет далее.

Таким образом, прав был С. С. Алексеев, говоря о статусе правовых явлений<sup>2</sup>, и нам вполне можно вести речь об онтологии прав человека.

Итак, онтологический статус прав человека позволит выяснить, что есть бытие прав человека как таковых. Как они существуют вне реализации права, вне механизма их обеспечения. Важность определения онтологического статуса прав человека особенно сильно подчеркивается в контексте поиска их естественности. Если учесть тот факт, что основания естественности данных прав принято связывать с их происхождением, то речь фактически идет о естественности происхождения данных прав, что, собственно, и делает столь схожими (в соответствующих аспектах) алгоритмы рассуждения о генезисе правовых явлений в контексте таких, казалось бы, различных доктрин, как марксизм и естественно-правовые учения.

Онтологический статус прав человека даже на самом общем, поверхностном уровне познания, на уровне интуитивного охвата их сути позволяет заметить, что права человека – это действительно не вещественные феномены. Поэтому высказывание К. Аннана (в его бытность Генеральным секретарем ООН) о том, что права человека – «это часть нас самих, и мы являемся частью этих прав»<sup>3</sup>, является реификацией (опредмечиванием абстрактных сущностей), хотя, вероятно, подобное высказывание было продиктовано самыми благими намерениями. Внимательный же взгляд на проблематику происхождения прав человека вполне позволяет увидеть довольно серьезное препятствие на пути их познания при «увлечении» подобными реификациями. Речь идет о следующем.

Между физическими явлениями как проявлениями материального аспекта бытия может существовать необходимая, возможная либо случайная связь. Необходимую связь можно было бы назвать естест-

---

<sup>1</sup> Пермяков Ю. Е. Проблема онтологического единства правовых норм и суждений. С. 80.

<sup>2</sup> См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 1989. С. 22.

<sup>3</sup> Информационные материалы ООН в Российской Федерации. Пятидесятая годовщина Всеобщей декларации прав человека. М., 1998. С. 10.

венной. Если же трактовать природу вещей, природу человека или какую-либо иную природу как проявления материального аспекта бытия, то видно, что права человека как проявление нематериального аспекта бытия из них непосредственно не исходят. Естественной связи здесь нет. Найти же подобную естественную связь поможет как минимум приведение двух феноменов реального мира – прав человека и порождающего их феномена к, образно говоря, «одному онтологическому знаменателю».

Говоря о проблеме генезиса субъективных прав в контексте выводимости, мы можем актуализировать ее в рамках настоящей работы следующим вопросом: допустимо ли выводить информационный феномен из физического при использовании строго научных приемов познания?

Используя научный подход, допустимо логически выводить информацию из информации, причем лишь в определенных случаях. Эту выводимость будем считать естественной.

Между собственно физическими явлениями может существовать необходимая, возможная, либо случайная связь. Необходимую связь можно было бы назвать естественной. Хотя даже подобная причинная (необходимая) связь имеет ограничения по объективности (которую приемлемо интерпретировать в данном контексте и как естественность) в силу отмеченных еще И. Кантом априорных конструкций человеческого мышления и восприятия. Но данная связь не является выводимостью, поскольку речь не идет об информационных феноменах. Подобная связь лишь выражается в теоретических реконструкциях с применением алетических модальностей.

Между феноменами информационными и материальными, физическими также существует определенная связь в том аспекте, что материальные феномены описываются или оцениваются соответствующими высказываниями (информационными феноменами). Но здесь нельзя говорить о выводимости, поскольку она присуща именно информационным феноменам.

Таким образом, ни из природы человека, ни из природы вещей, ни из какой-либо иной природы (если понимать данную природу как феномены, существующие в мире материальных, физических явлений) не выводимы, не исходят ни права человека, ни иные субъективные права как информационные феномены. Естественной связи как выводимости здесь нет.

Решение указанной проблемы выводимости потребует приведения и материальных феноменов, и информационных (субъективных прав) к своеобразному «общему знаменателю». В нашем случае таким «знаменателем» будет информационный аспект проявления реальности. Такое приведение к «общему знаменателю» будет необходимым и достаточным условием корректности рассуждения о выводимости прав человека из, например, описаний (информационного отражения) сколь угодно сложной природы человека, вещей, общества, отношений и т. п.

## **1.2. Информационное начало онтологического статуса прав человека: методологические замечания**

Поиск общего «онтологического знаменателя», адекватно отражающего реальное бытие прав человека, выводит нас на вопросы методологии, на вопросы о категориях, посредством которых происходит теоретическая реконструкция объективной действительности в рамках любых наук. Не вдаваясь в дискуссию о полном списке всех исходных, т. е. предельно обобщающих категорий, посредством которых происходит реконструкция объективной действительности вообще, обратим внимание лишь на категории, которые необходимы и достаточны для исследования онтологии именно прав человека.

Первой предельно обобщающей категорией для обозначения всего объективно сущего является такая категория, как *материя*. Я считаю это верным не только в силу признания реальности материи практически всеми современными научными (и философскими) исследованиями, но и в силу той самоочевидности, которая основана на здравом смысле и личном эмпирическом опыте, присущем любому человеку.

Относительно второй и последующих категорий можно с некоторой долей сожаления констатировать, что в научных (и философских) исследованиях в отношении них нет единства мнений. В силу этого по данному вопросу представляется уместной апелляция к авторскому мнению. И в своем мнении автор настоящей работы разделяет, во-первых, соображения здравого смысла, что, в частности, выражается в пословице «нет вещи без образа», а во-вторых, имеющие самые древние корни представления об изначальности Логоса. В-третьих, автор солидарен с учеными, более известными в области

кибернетики, и полагает, в частности, вслед за Н. Винером<sup>1</sup>, что именно **информация** является одной из фундаментальных основ мироздания, и это понятие следует отнести к одной из предельно обобщающих категорий для обозначения объективной действительности.

Да, нельзя не согласиться с тем, что определение информации нетривиально<sup>2</sup>. Различие информации и материи более или менее явно признается фактически всеми идеалистическими и материалистическими философскими направлениями, причем как в нынешнее время, так и на заре возникновения философской мысли.

Однако уточним, что связь информации с материей столь же существенна, как и их различие. Речь при этом не идет о таком противопоставлении материи и информации, которое является предпосылкой пресловутого «основного вопроса философии» о том, что первично – сознание или материя.

Речь идет о том, что информация и материя – это различные аспекты проявления единой реальности и связь между этими аспектами реальности очевидна хотя бы в силу связи между информацией и ее материальными носителями (в том числе в полевом состоянии материи). Но при этом информация и материя друг к другу **не сводимы**.

Какова же связь права и информации? Конечно, отвечая на данный вопрос, следует учесть различие между существующими направлениями правопонимания. Однако, даже учитывая подобное различие, проблематично отрицать тот факт, что все эти научные направления в той или иной мере признают наличие в природе права его информационно-составляющей. Это вполне закономерно, поскольку «правовое регулирование не может быть отнесено к материальному, вещественному... регулированию...»<sup>3</sup>, правовое регулирование является движением информации, а «право есть не что иное, как определенная система информации»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Наука: Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.

<sup>2</sup> См., например, Урсул А. Д. Природа информации: философский очерк. М.: Изд-во Челяб. акад. культуры и иск-в, 1968. 295 с.; Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М.: Иностранная лит., 1959. 432 с.; Fisher S. R. Statistical methods for research workers. London: Oliver & Boyd, Ltd, 1925. 232 p.

<sup>3</sup> Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М.: Норма: Инфра-М, 2012. С. 9.

<sup>4</sup> Там же. С. 5.

Итак, право, нормы права, права человека могут быть отнесены именно к информации, т. е. они существуют как информационные явления, причем без необходимости оговорок относительно правового концептуального пространства как некой особой реальности<sup>1</sup>. Да, эта информация связана огромным количеством многоаспектных связей с иными явлениями объективной действительности. Но изначально нам следует определить особенности бытия прав человека именно как некоторой информации. В этом смысле и представляется возможным говорить о бытийном (онтологическом) статусе прав человека и считать данный статус информационным. Другими словами, права человека предстают перед нами как информационный аспект некой реальности. Конечно, между феноменами информационными и материальными существует связь. Материальные феномены описываются или оцениваются соответствующими высказываниями (информационными феноменами). Но здесь не следует говорить о *происхождении* информационного феномена из материального (равно и наоборот).

Иными словами, права человека – это информационный феномен, который не выводим из материального, хотя и отражает объективную реальность наряду с ним. Но каким образом можно попытаться связать эти феномены (материальный и информационный аспект реальности) в контексте решения проблемы о происхождении прав человека?

Конечно, можно предположить (потенциальные) возражения относительно легкости авторского отнесения природы человека (вещей, общества, отношений и т. п.) в мир физических явлений (материальный аспект действительности). В этой связи заметим: автор далек от мысли о том, что содержание термина «природа человека» (отношений и т. п.) является ясным и точным. Вместе с тем думается, что наличие определенной доли материальности в указанных явлениях очевидно. При этом *любая* доля материальности в данных явлениях (природа человека, вещей, общества, конкретная социальная практика и т. д.) актуализирует поставленный выше вопрос о выводимости информационных феноменов из материальных.

Теоретические предпосылки корректного ответа на подобный вопрос (о выводимости прав человека) могут быть найдены в следующем.

---

<sup>1</sup> См.: Гаджиев Г. А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности). М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 12.

Наблюдение за особенностями человеческой деятельности в сфере бытия материи и информации позволяет увидеть, что все виды такой деятельности в целом осуществляются как минимум в двух основных сферах: в сфере обработки информации (что очень часто принято именовать умственным трудом) и в сфере обработки вещества (что очень часто принято именовать физическим трудом).

Да, связь обработки информации и обработки вещества несомненна. Но лишь на этом основании в рамках сегодняшнего научного потенциала по теоретической реконструкции связи материи и информации весьма проблематично говорить о *происхождении* обработки информации *из* обработки вещества, равно как и наоборот.

Однако широте горизонта научного познания дня сегодняшнего вполне соответствует постановка вопроса о происхождении прав человека в контексте такой социальной деятельности, как обработка информации. Это фактически означает перевод вопроса о происхождении прав человека в плоскость их выводимости как информации. Иными словами, рассмотрение прав человека как информации, причем информации, имеющей форму определенных высказываний, позволяет интерпретировать проблему происхождения прав человека в смысловом поле выводимости данных прав.

Подобный шаг и будет являться предпосылкой приведения материальных и информационных феноменов (прав человека) к одному своеобразному «общему онтологическому знаменателю». В нашем случае таким «знаменателем» выступит информационный аспект проявления объективной реальности, т. е. информация.

Возвращаясь к оговоренной выше сложности определения значения и смысла природы человека (вещей, общества, отношений и т. п.), отметим, что указанное приведение к «общему знаменателю» будет необходимым и достаточным условием корректности рассуждения о выводимости прав человека из сколь угодно сложной природы человека, вещей, общества, отношений и т. п.

Таким образом, нам следует рассмотреть и предпосылки анализа онтологии прав человека в аспекте информационных процессов, протекающих на уровне социальной организации. Именно в этом может быть усмотрена объективная теоретическая основа для исследования проблематики происхождения прав человека. Нельзя не учесть, что речь идет лишь о методологически корректном направлении научного

исследования, но не о неких гарантиях, которые бы позволили установить естественность прав человека в контексте того или иного направления логического вывода информации.

Дальнейшее исследование проблематики генезиса прав человека в контексте преобразования информации следует предварить еще одной важной оговоркой, уточняющей форму бытия самой информации.

Принимая во внимание всю сложность вопроса об информационной природе и прав человека, и права автор полагает допустимым ограничиться в контексте данного исследования следующим методологическим правилом: избегать исследования прав человека в аспекте их бытия как информации в рамках «внесубъектного» бытия подобной информации в любых аспектах, поскольку это делало бы вообще недопустимым утверждение об изучении этой информации.

Что же касается методологии исследования подобной информации в сфере такого нейрофизиологического субстрата мышления некоего субъекта, как универсально-предметный код мышления, то это также видится неприемлемым. Изучение указанного кода в рамках психолингвистики еще далеко от завершения, и автор на настоящий момент не усматривает возможности использования в юриспруденции подобного совмещения информации с ее носителем.

Столь же непросто сейчас представляется исследование данной тематики в сугубо предметно-образной форме выражения, т. е. без привязки образов к понятийному ряду, формулируемому дискретно-логическим мышлением.

Любой внегенетический информационный обмен<sup>1</sup> нуждается в определенной объективации информации, что, в свою очередь, требует наличия знаковых систем. Это может быть численно определенный цифровой код, предназначенный для записи (и чтения) информации (в том числе изображения, звуков и т. п.) на электронном носителе.

Да, высказывание о том, что «мы можем добраться до мысли только через слова (никто еще пока не изобрел другого способа)»<sup>2</sup>, представляется значительным преувеличением потенциала лексических, дис-

---

<sup>1</sup> По меньшей мере речь идет об информационном обмене, который не осуществляется в формах, именуемых телепатическим общением либо иными формами так называемого экстрасенсорного информационного обмена.

<sup>2</sup> Вежицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Изд-во Языки рус. культуры, 1999. С. 293.

кретно-логических форм информационного обмена. Между тем информационную природу прав человека в рамках настоящего исследования наиболее уместно все же рассмотреть посредством именно таких форм, т. е. с помощью языковых конструкций.

Иными словами, понимание прав человека как проявления информационного аспекта реальности позволяет рассматривать их через высказывания того или иного вида, т. е. в языковой форме. Язык в праве «является единственным материалом, первоэлементом, из которого создаются и оформляются все правовые категории»<sup>1</sup>. Язык как определенная семиотическая (знаковая) система – это и носитель права, и важнейшее средство передачи правовой информации.

Памятуя о таком фундаментальном различии человеческой деятельности, как обработка информации и обработка вещества, мы можем интерпретировать генезис прав человека в смысловом поле обработки информации. В нашем случае это будет означать преобразование языковых выражений, т. е. выводимость одних высказываний из других.

Однако здесь вновь требуется принципиальная оговорка, которая, впрочем, будет неоднократно вводиться далее при рассмотрении также и иной проблематики в рамках данной работы. Эта оговорка относительно методологических предпосылок анализа информации и алгоритмов ее обработки (преобразования).

Следует различать, говоря языком логики и языкознания, семантические и прагматические аспекты информации и ее анализа. Семантический аспект отображает отношение знаков к обозначаемым объектам, к значению и смыслу<sup>2</sup> и тяготеет, соответственно, к логико-математическому анализу.

Прагматический же аспект существенно отличается от семантического и характеризует особенности воздействия информации на адресатов информационных сообщений вне зависимости от того, понимаем ли мы прагматику как часть лингвистики<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> Ушаков А. А. Очерки советской законодательной лингвистики: учеб. пособие. В 2 ч. / Перм. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1967. С. 15.

<sup>2</sup> См. более подробно, например, Кюннг Г. Мир как ноэма и как референт // Аналитическая философия: становление и развитие (антология) / пер. с англ., нем. М.: Дом интеллектуальной книги: Прогресс-Традиция, 1998. С. 302–321.

<sup>3</sup> См., например, Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. М.: Лингвистическое наследие, 2007. 176 с.; Степанов Ю. С. В поисках прагматики // Известия АН СССР. Серия «Литература и язык». 1981. Т. 40. № 4. С. 322–325.

психолингвистики<sup>1</sup> или же логики<sup>2</sup>. Прагматические аспекты анализа информации стали фундаментом для зарождения в том числе и нейролингвистического программирования как важного элемента социального управления.

В силу этого приемлемым (хотя и несколько менее точным) представляется именование данных аспектов логическим и идеологическим аспектами анализа информации в научном поиске. В нашем случае – в теоретической реконструкции возникновения, функционирования и развития государственно-правовых явлений.

Таким образом, проблемой является смешение идеологического и логического в изучении правовых явлений, хотя в интерпретации юридических доктрин вполне допустимы прагматические контексты. Поэтому следует признать правоту А. Ф. Черданцева в том, что различия гносеологии и праксиологии, семантики и прагматики зачастую не учитываются ни в юридической науке, ни в юридической практике<sup>3</sup>.

Подобное смешение представляется серьезным препятствием на пути теоретической реконструкции возникновения, функционирования и развития государственно-правовых явлений. В свою очередь, такое препятствие не позволяет в требуемой мере исследовать права человека в рамках теории права и государства.

Конечно, в ходе дальнейшего рассуждения следует признать значимыми следующие обстоятельства.

Существующие утверждения о важности логики в правовых исследованиях можно в определенной мере признать тривиальностью, поскольку правильность данного утверждения представляется самоочевидной, если вообще относить юриспруденцию к науке. Неслучайно А. А. Зиновьев отмечает, что логика едина для всех наук<sup>4</sup>. В данной связи было бы неправильным ожидать призывов освободить юриспруденцию от логики, если, однако, не рассматривать утвержде-

---

<sup>1</sup> См., например, Rescanati F. Le développement de la pragmatique // *Langue française*. 1979. № 42. P. 8; Девкин В. Д. Прагматика слова // *Прагматика слова: межвуз. сб. науч. тр. МГПИ им. В. И. Ленина*. М., 1985. 108 с.

<sup>2</sup> См., например, Арутюнова Н. Д. Принципы и методы семантических исследований. М.: Наука, 1976. С. 92–118; Бирюков Б. В. Теория определения. М.: Прогресс, 1976. 246 с.; Петров В. В. Структуры значения. Логический анализ. Новосибирск: Наука: Сибир. отд. 1979. 142 с.

<sup>3</sup> См.: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. С. 5.

<sup>4</sup> См.: Зиновьев А. А. Фактор понимания. М., 2006. С. 125.

ния об отсутствии тождества логики права с какой-либо иной логикой<sup>1</sup> как основания для освобождения юриспруденции от следования канонам, например, формальной и (или) модальной логики.

В противоположность этому – хорошо известные призывы освободить науку от идеологии. Теория свободной от ценностей общественной науки была изложена еще в начале XX века М. Вебером, когда он принципиально разграничил социальную науку (высказывания о фактах) и политику (ценностные суждения). Наиболее ярко подобные идеи были позднее выражены в радикальной нигилистической позиции неопозитивистов, относящих идеологию к области «чистой метафизики»<sup>2</sup>.

И хотя мотивы таких суждений о науке и идеологии видятся понятными, все же принять утверждения о жестком разделении последних представляется затруднительным.

Вряд ли можно найти прочные основания для всецелого и бескомпромиссного отнесения понятия «партийность науки» к атавизмам советского прошлого, считая ценности элементами сферы иррационального мироощущения, несовместимого с научным знанием.

Неверно дихотомически разделять ценностное и рациональное, противопоставляя их друг другу, хотя бы потому, что ценностные суждения можно рационально выстраивать, преобразовывать, интерпретировать. В самом общем виде это демонстрируется аксиологической логикой. Однако аргумент к аксиологической логике вовсе не свидетельствует о том, что в случае с рационализацией ценностей (оценок) речь идет только лишь о формальных преобразованиях в рамках внеэмпирической реальности. Нелишне напомнить, что «логический анализ сравнительных оценок (предпочтений) начался в связи с попытками экономистов установить формальные критерии разумного (рационального) предпочтения»<sup>3</sup>, что вело к появлению теоретических конструкций, позволяющих выводить одни оценки из других.

По этой причине противопоставлять вслед за М. Вебером высказывания о фактах и ценностные суждения также не конструктивно,

---

<sup>1</sup> См.: Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 357.

<sup>2</sup> «Критический рационализм»: философия и политика (Анализ концепций и тенденций) / редкол.: Б. Н. Бессонов, И. С. Нарский, Я. Г. Фогелер, М. В. Яковлев. М.: Мысль, 1981. С. 206–208.

<sup>3</sup> Ивин А. А. Логика: учеб. пособие. М.: Оникс: Мир и образование, 2008. С. 86.

поскольку сами ценности можно описывать, т. е. интерпретировать дескриптивно (как высказывания о высказываниях), и объяснять. Если же признавать, что кроме дедуктивно-номологического существует также гораздо более пригодное для юридических и иных гуманитарных наук целевое и мотивационное объяснение (что, собственно, и позволяет считать науками не только естественные, но и гуманитарные дисциплины), то можно прийти к выводу и о возможности содержательной рационализации высказываний о ценностях. Однако речь идет не о том контексте, что теории следует быть служанкой идеологии, но о том, что (совершенно справедливо) принято называть политико-прагматической функцией юридической науки.

Теория права и государства вполне может рассматриваться и как модель такой интерпретации реальных фактов в области социального управления, которая позволяет сформировать информационное поле, максимально благоприятное для реализации соответствующей социальной группировкой определенных управленческих функций. Вместе с тем точность описывающего и объясняющего потенциала такой модели ограничена не только мерой понимания автора теории права социальной, экономической, правовой, культурологической и иной природы различных явлений, но также и потребностями соответствующей социальной группы (как субъекта социального управления) в определенных параметрах формируемого (для социальных групп, являющихся объектами управления) информационного поля.

Данное обстоятельство заставляет нас помнить, что всегда есть возможность формирования теории права, не позволяющей адекватно интерпретировать реальные факты в области социального управления. И такая возможность актуализируется фактом смещения и (или) противопоставления семантического и прагматического аспектов анализа изучаемых явлений. Соответственно, искаженное понимание политико-прагматической функции общетеоретической юридической науки зачастую воздвигает серьезные препятствия на пути описания, объяснения и прогноза основных закономерностей возникновения, функционирования и развития государственно-правовых явлений.

Повторимся, однако, что это не дает оснований отрицать идеологизированность гуманитарных, а уж тем более юридических наук. Прагматические контексты в интерпретации юридических доктрин оправдываемы и допустимы.

Итак, определяя подходы к изучению правовых явлений вообще и прав человека в частности, следует обойти две довольно распространенные ошибки. Во-первых, не следует **смешивать и (или) противопоставлять** гносеологическую и праксиологическую сферы бытия правовой информации (отражаемые в семантическом и прагматическом аспектах анализа правовой информации). Однако не стоит и абсолютизировать барьер между ними, особенно в юридическом контексте. Это связано с тем, что не вполне верно было бы жестко разделять оценки и описания на основании однозначности привязки их к одной из моделей взаимодействия мира и слова – воздействие слова на мир (оценки) и мира на слово (описания).

В частности, герменевтика вполне убедительно и наглядно демонстрирует, что дескрипция не только реконструирует мир, но также в определенном смысле и конструирует его, воздействует на него подобно оценке. Особенно ярко это проявляется в гуманитарных контекстах. Отчетливо выраженный прагматический контекст, присутствующий не только оценкам, но и описаниям, оказывает существенное влияние и на семантический аспект анализа высказываний, заставляя принимать во внимание социальный контекст смыслообразования, превращающий семантику в семиотику. Думается, что именно данное обстоятельство не всегда позволяет следовать совету Г. Лейбница: «Не надо спорить. Давайте посчитаем!», – но вынуждает спорить о том, что есть право, демократия, справедливость и т. п. Но тем не менее указанные аспекты анализа правовой информации не стоит **смешивать и (или) противопоставлять**.

Во-вторых, не следует **смешивать и (или) противопоставлять** объектный язык права (язык, посредством которого формулируются, например, нормы права) и метаязык права (например, язык юридической науки)<sup>1</sup>. Такое разделение проистекает из более общего деления высказываний на высказывания *de re* и высказывания *de dicto*. Подобное деление обусловлено особенностями человеческого мышления и языка. В первом случае (высказывания *de re*) – это высказывания о вещах, о мире внелингвистического опыта, что в чистом, изначальном виде выражает соотношение объекта и субъекта (познания). Во втором случае (высказывания *de dicto*) – это высказывания о высказываниях, т. е. мысль о мысли.

---

<sup>1</sup> См., например, Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. С. 17–18.

Нормативные высказывания не являются в данном случае исключением. Существуют нормы (нормативные высказывания) *de re* и нормы *de dicto*. Нормы *de re* – это нормы как таковые. Информация предписывающего характера. Например: «Курить запрещено».

Нормы *de dicto* – это описательные (дескриптивные) высказывания, это описания норм *de re*. Иными словами, это высказывания относительно норм. Например: «Известно, что курить запрещено». Нормы *de dicto* – это указание на нормы *de re* в форме описания последних, т. е. дескрипция (описание) прескрипции (предписания).

Фактически об этом ведут речь Г. Х. фон Вригт<sup>1</sup>, К. Альчуррон<sup>2</sup>, когда они проводят различие между нормами и нормативными предложениями. Развивая эти идеи в юридическом контексте, Е. В. Булыгин различает правовые нормы и (дескриптивные) нормативные предложения<sup>3</sup>.

Схожим образом рассуждает и Г. Кельзен, когда разделяет правовые высказывания (правовые нормы) в дескриптивном и прескриптивном смысле<sup>4</sup>.

Строго говоря, нормы *de dicto* – это не нормы (если понимать нормы как предписания). Впрочем, это не умаляет роли норм *de dicto*, поскольку деонтическая логика (логика норм, стандартная логика *Sein-Sollen* класса S 4) – это не логика норм *de re*, а логика норм *de dicto*. Она занимается образованием и соединением нормативных предложений или, иначе говоря, структурой прескриптивного языка (логическая теория нормативного рассуждения)<sup>5</sup>.

Вместе с тем, поскольку мы будем вести речь о функционировании метаязыка и объектного языка права как об информационных процессах, протекающих на уровне социальной организации, то следует сделать важные оговорки относительно связи данных языков.

---

<sup>1</sup> См.: Wright G. H. von. *Norm and Action*. London: Routledge and Kegan Paul, 1963. 214 p.

<sup>2</sup> См.: Alchourrón C. *Logic of Norms and Logic of Normative Propositions // Logique et Analyse*. 1969. № 47. P. 12.

<sup>3</sup> См.: Булыгин Е. В. К проблеме объективности права // *Філософія права: сучасні інтерпретації: Вибр. праці: статті, аналіг, огляди, переклади (2003–2010) / С. І. Максимов*. Харків: Право, 2010. С. 206–207.

<sup>4</sup> См.: Антонов М. В. Современная теория права во Франции // *Российский ежегодник теории права*. 2011. № 4. С. 338.

<sup>5</sup> См.: Ивин А. А. *Логика норм*. М.: Изд-во МГУ, 1973. С. 5.

Во-первых, объектный язык и метаязык права взаимосвязаны теснее, нежели может показаться на первый взгляд. Это не только связь теоретической реконструкции и объекта такой реконструкции. Правовая доктрина как метаязык предопределяет особенности как правотворчества (причем далеко не только в той мере, в какой она формирует правовую идеологию на доктринальном уровне правосознания), так и толкования права, тем более если вслед за Г. Кельзен<sup>1</sup> относить такое толкование к функции воли, а не познания. А это в решающей степени влияет не только на действие права, но и на качественные особенности государства. Неслучайно И. А. Ильин относил к государству единение людей на основе правосознания<sup>2</sup>.

Итак, мы видим как минимум возможность влияния метаязыка на объектный язык с такой силой, что можно вести речь об алгоритмической детерминированности действия объектного языка (права) метаязыком (правовой доктриной). Отчасти это влияние просматривается в признании правовой доктрины источником права, хотя гораздо ярче и полнее основания для подобного влияния предоставляются в рамках таких правовых школ, как например: правовой реализм, живое право.

Из этого следует, что приставку «мета» в контексте соотношения права и науки о праве допустимо рассматривать в трех контекстах:

1) в гносеологическом – как метаязык, посредством которого осуществляется теоретическая реконструкция объектного языка, т. е. как язык второго (или даже третьего) уровня «в чистом виде»;

2) генетическом – в том аспекте, когда (например) наука о праве предшествует праву, т. е. в определенной мере предопределяет содержание права в ходе не только правотворчества, но и на иных этапах правообразования;

3) регулятивном, когда (например) наука о праве в определенной мере предопределяет особенности толкования и реализации права. В ходе дальнейшего рассмотрения все эти контексты будут использоваться в ходе анализа избранного предмета исследования.

Таким образом, рассмотрение естественности прав человека, естественности происхождения прав человека можно свести к необходимой

---

<sup>1</sup> Цит. по: Тропер М. Свобода толкования у конституционного судьи // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 191.

<sup>2</sup> См.: Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 257.

связи, т. е. к логической выводимости одних высказываний из других, когда сами права человека представлены в своем бытийном (онтологическом) статусе как высказывания именно в рамках семантического анализа данных высказываний.

Иными словами, в качестве начального этапа исследования предпочтительна именно информационная интерпретация прав человека по правилам логических преобразований (семантический аспект). Подобную интерпретацию следует отличать от особенностей психологических реакций на информацию (рассматривая прагматический аспект той же проблематики), причем как индивидуальными, так и групповыми субъектами.

В связи с этим в контексте совмещения информационной бытийной природы прав человека с идеями о происхождении данных прав, было бы верно говорить о выведении информации из информации как о выведении высказываний из высказываний. В этом случае обращает на себя внимание тот факт, что ближе всего к естественности лежит необходимость. Другими словами, при соблюдении корректности на семантическом уровне анализа информации можно попытаться свести естественность прав человека, естественность происхождения прав человека к логически необходимой связи, т. е. к логической выводимости одних высказываний из других. Для этого и нужно рассматривать сами права человека в своем бытийном (онтологическом) статусе как высказывания.

И подобная информационная интерпретация онтологии прав человека показывает нам, что ни из природы человека, ни из природы вещей, ни из какой-либо иной природы, если понимать данную природу как феномены, существующие в мире физических явлений, права человека как информационные феномены не выводимы, не исходят. Естественной связи как выводимости здесь нет.

Исследование качеств информационной природы прав человека в семантическом аспекте обосновывает обращение к достижениям логико-философских и семиотических исследований, в рамках которых выделяют различные функции употребления языка. По сути дела, данные функции выражают те основные задачи, которые решаются языком в процессе познания и коммуникации.

Конечно, как указывал Л. Витгенштейн, существует огромное множество типов употребления языка, бесконечно разнообразных

образов использования того, что мы называем знаками, словами, предложениями. И это многообразие не является чем-то данным раз и навсегда. Нет, возникают новые типы языка, или, как можно было бы сказать, новые «языковые игры», в то время как другие языковые игры устаревают и забываются. И тем не менее вполне возможно выделить основные функции языка и соответствующие им виды суждений.

Не вдаваясь в анализ всех функций языка и видов суждений, обратимся к юридической литературе, дабы установить, к каким видам суждений принято относить права человека.

Как можно заметить, согласно доминирующей в науке тенденции, права человека принято относить как минимум к некоей сфере нормативного: «Права человека являются нормативной формой взаимодействия людей»<sup>1</sup>, что предполагает возможность найти в правах человека некий «след нормативности», т. е. относить их пусть к специфически понимаемым, но все же нормам.

Вместе с тем более явным образом признание нормативной природы прав человека проявляется в том, что данные права понимаются как субъективные права. Сами же субъективные права обычно понимаются как разрешения (дозволения) либо как возможности.

Но именно такой подход вызывает серьезные возражения. Суть возражений сводится к трем основным тезисам:

1) возможность не сводима к разрешению, т. е. не определима в семантическом аспекте через разрешения;

2) возможности неверно относить ни к предписаниям вообще, ни к нормам в частности, т. е. никакие предписания неверно трактовать в семантическом аспекте как возможности;

3) разрешения / дозволения неверно относить ни к предписаниям вообще, ни к нормам в частности, т. е. никакие разрешения / дозволения неверно трактовать в семантическом аспекте как предписания.

Доказуемость выдвинутых тезисов приведет к выводам о том, что было бы неправильно наделять права человека собственным правовым нормативным предписывающим характером в информационно-семантическом аспекте, если считать их:

1) мерой свободы, если считать свободу определенной возможностью;

2) мерой свободы, если считать свободу разрешением / дозволением;

---

<sup>1</sup> Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2001. С. 12.

- 3) особой разновидностью субъективных прав, если считать последние возможностями;
- 4) особой разновидностью субъективных прав, если считать последние разрешениями / дозволениями;
- 5) некими особыми возможностями;
- 6) некими особыми разрешениями / дозволениями.

### **1.3. Права человека как информация: предпосылки корректности выбора информационного статуса**

Довольно легко увидеть достаточно давние и прочные традиции и юридической теории, и юридической практики формулирования прав человека и субъективных прав как неких возможностей. Эта связь проявляется в двух направлениях.

Во-первых, определение самих прав человека как неких возможностей фактически доминирует не только в научной<sup>1</sup>, но и в учебной литературе<sup>2</sup>. По меньшей мере сказанное справедливо для отечественной юриспруденции.

Во-вторых, особое внимание обращает на себя связь прав человека со свободой, когда эти права признаются условиями, границами, мерой свободы и т. п. Эта связь проявляется и как привычное словопотребление в повседневной жизни, в сфере профессиональной юридической деятельности, в политико-идеологической сфере, в научной, академической среде. В частности, в научной литературе высказывались идеи о том, что в аспекте практической юридической деятельности употребление данного термина относится еще к 24 в. до н. э., когда правитель Шумера ввел для подданных свободу от несправедливых действий людей, обладавших властью, а также свободу от чрезмерного угнетения храмовых слуг первосвященниками<sup>3</sup>.

И. Кант указывал, что человеку присуще «одно-единственное» «прирожденное право» – «свобода (независимость от принуждающего

---

<sup>1</sup> См., например, Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно-правовое регулирование). М.: Юрист, 2003. С. 13.

<sup>2</sup> См.: например, Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. С. 94.

<sup>3</sup> См.: Права человека накануне XXI века: сб. ст. М.: Прогресс: Культура, 1994. С. 271.

произвола другого), поскольку она совместима со свободой каждого другого, сообразной со всеобщим законом»<sup>1</sup>. Это право «присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому роду»<sup>2</sup>.

С. С. Алексеев подчеркивал, что развитие дозволений шло в двух плоскостях – как властное полномочие и как свобода<sup>3</sup> (социальная свобода<sup>4</sup>). Неслучайно Н. В. Витрук указывает, что большинство авторов рассматривает права и свободы как тождественные<sup>5</sup>.

В данной связи особо отметим тесное увязывание прав человека и свободы, что очень ярко отражает масштабность политико-идеологического потенциала по использованию идей свободы. Категория свободы является, пожалуй, одной из самых политизированных, если не самой политизированной, особенно если речь о войнах, революциях, прочих политических конфликтах, которые практически всегда интерпретируются (соответствующими субъектами) как то или иное проявление «борьбы за свободу».

В силу этого рассмотрим корректность понимания прав человека как неких возможностей, увязав данные возможности с понятием «свобода».

Начать следует с того, что связь прав человека и свободы, несмотря на всю свою популярность, не является неизбежной ни в практическом, ни в научно-теоретическом контекстах. Как несложно заметить, само понятие «свобода» зачастую трактуется довольно свободно, так как не имеет не только легальных дефиниций, но и вообще не имеет содержания, формализованного в некой общепризнанной теоретической концепции. Иными словами, данное понятие не имеет четко определенного, однозначно и безальтернативно понимаемого смысла и значения. Такое положение вещей хотя и не является неизбежным, но имеет место, а потому допустимо утверждать, что подобное состояние науки делает невозможной объективную верификацию утверждений о том, есть ли свобода или нет в ходе протекания некоего социального процесса.

---

<sup>1</sup> Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 2. М.: Мысль, 1965. С. 147.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 34.

<sup>4</sup> Там же. С. 35.

<sup>5</sup> См.: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 234.

Вместе с тем довольно устоявшейся, распространенной привычкой словоупотребления как в повседневном общении, так и в политико-идеологической, а также научной среде является связывание свободы именно с некой возможностью. По меньшей мере подобное словоупотребление распространено в юридических контекстах. Так, например, в «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция) свобода человека трактуется как возможность «делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом»<sup>1</sup>.

Помимо этого, заметим, что права человека прямо определяют как некие возможности также и в контексте отнесения их к субъективным правам. В частности, Е. А. Лукашева указывает, что «права человека – это субъективные права... выражающие возможности индивида...»<sup>2</sup>.

Приведенные обстоятельства предопределяет потребность в исследовании корректности интерпретации прав человека как возможностей, когда правам человека фактически придается информационный статус алетических высказываний.

Алетические высказывания – это высказывания, выстроенные с использованием алетических модальностей («необходимо», «возможно», «случайно»). Эти модальности иногда также называют классическими, поскольку их связывают с именем такого классика логики-философской мысли, как Аристотель («алетический» – слово греческого происхождения, означает «истинный»). Истинность в данном случае относится не к значению алетического высказывания, которое само относится к неаксиологическим оценкам, а к характеру подтверждения суждения – о логической либо фактической обоснованности суждения.

Понимание субъективных прав как алетических высказываний, как информации (по меньшей мере как даже не объективированную

---

<sup>1</sup> Декларация прав человека и гражданина (26 августа 1789 г.) // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие / сост. В. В. Маклаков. М., Инфотропик Медиа, 2012. С. 117–119.

<sup>2</sup> Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. С. 94.

мысль) о мере возможного поведения требует решения вопроса о качестве данной возможности. Согласно самой природе этих модальностей, которая исследуется уже не одну тысячу лет, согласно доказанной, устоявшейся в логико-философской литературе позиции, рассматриваемая возможность, равно как и необходимость (определяемая через эту возможность), может быть либо логической, либо физической (онтологической, фактической).

В случае с логической алетической модальностью основаниями, обуславливающими принятие истинности или ложности суждений, выступают структурно-логические характеристики самих суждений.

В случае с физической (онтологической, фактической) модальностью детерминированность истинности суждения основана на фактическом положении дел в реальной действительности и зависит от законов природы.

Конечно, даже в случаях с физическими модальностями речь идет об обосновании истинности суждения. Но поскольку такое обоснование жестко привязано к онтологическим факторам, то сам выбор модальности будет отражать действительную связь между этими факторами.

В некотором смысле логические алетические модальности иерархически более строги (дискурсивно приоритетны), они как бы доминируют по отношению к физическим. То, что физически невозможно, невозможно в рамках известного нам физического континуума (и в рамках известных нам законов природы), т. е. невозможно в нашем мире – все же является логически возможным, т. е. возможным в иных возможных мирах. Но то, что невозможно логически, всегда невозможно и физически.

Если придавать субъективным правам характер некой логической возможности, то фактически мы будем говорить не более чем о суждениях, определяя их истинность через иные суждения с помощью законов логики. Вряд ли такие внеэмпирические манипуляции будут продуктивным научным поиском в контексте нашего исследования.

Если же придавать субъективным правам характер возможности физической, то следует установить: будем ли мы говорить о том, что в мире отсутствуют препятствия в виде законов природы для того, чтобы человек вел себя неким образом? Например, не препятствуют ли

законы объективного мира тому, чтобы человек свободно покидал свою страну. В сугубо теоретическом плане к этому нет препятствий, однако думается, что не эти идеи лежали и лежат в основе субъективных прав либо прав человека. Поэтому данный подход не вполне соответствует предмету настоящего исследования.

Если мы будем устанавливать возможность некой связи, то возникает вопрос: между какими феноменами? Очевидно, что это не может быть связь между человеком как таковым и его поведением («возможно, что он поведет себя таким-то образом»), так как отделение субъекта от собственного поведения – это теоретическое построение, применяемое лишь в специфических аналитических контекстах, но не являющееся адекватным описанием реальности. Например, если мы говорим о свободе передвижения, о том, что человек «может» свободно передвигаться, то очевидно, что это не связь между неким человеком и собственно его передвижением («существующим» отдельно от данного человека).

Если же смотреть на эту возможность не столько как на связь между двумя явлениями, сколько как на возможность наступления некоторого явления в некоем возможном мире, например, как на возможность того, что некий человек будет передвигаться (так-то и так-то), то это уже будет не столько возможность, сколько вероятность (интерпретируемая, например, как мера статистической неопределенности).

Представляется, что наделение прав человека информационным статусом суждений о вероятностной предопределенности как характеристики степени подтверждения (статистики истинности) высказывания либо относительной (статистической) частоты встречаемости свойства или события в большом числе случаев – это совсем не то, что имеют в виду те авторы, которые характеризуют права человека как возможности, и также выходит за пределы рассуждения в данном научном исследовании. Вместе с тем, далее, в рассуждениях о регулятивном потенциале прав человека в прагматическом аспекте будет рассмотрен вопрос о модели прав человека как фактора, повышающего вероятность наступления некоторого события в управленческом контексте.

Так или иначе, но физическая возможность подразумевает формализацию прав человека через так называемые законы природы (к кото-

рым можно отнести, например, законы физики). Думается, что до сегодняшнего момента подобной формализации не только не было сделано, но даже не было представлено (в широком публичном научном дискурсе) успешных попыток сформулировать предпосылки для подобной формализации в будущем. Если же человеческое поведение причинно не обусловлено в терминах алетической необходимости (т. е. однозначно не детерминировано)<sup>1</sup>, то не следует и выражать субъективные права через термины возможности, поскольку возможность и необходимость взаимно определимы. Существует, однако, еще одна теоретическая проблема, связанная с интерпретацией субъективных прав как алетических высказываний. Причем эта проблема более серьезная в силу своей непреодолимости.

Возможность, необходимость и невозможность как алетические модальности сводимы друг к другу, взаимно определимы и друг из друга выводимы. Однако если устанавливать смысловую, логическую, т. е. *реальную*, а не *мнимую*, желаемую и т. д. связь между правом и правами человека, то следует решить проблему взаимной связи между алетическими модальностями и модальностями деонтическими, т. е. связь возможностей с нормами в их прескриптивной интерпретации. Обойти данную проблему, конечно, можно, но только если признать тот факт, что право объективное не включает в себя права человека, что в корне противоречит, например, положению ст. 2 Конституции России.

Помимо этого, подобную проблему следует учитывать еще и потому, что неправильно отрицать, что право объективное включает в себя определенные нормы (как предписания общего характера). Сами же правовые нормы (равно как и любые другие социальные нормы) являются высказываниями деонтическими, т. е. они построены с помощью таких модальностей, как «обязательно», «запрещено», «разрешено», хотя сложились некие обыкновения отступления от строгости в использовании именно этой терминологии и законодательство изобилует такими терминами, как «вправе», «может», «допускается», «не допускается» и т. п. Тем не менее обыкновение использовать иную, т. е. не-деонтическую *форму* высказывания

---

<sup>1</sup> С этим как раз и связано появление в гуманитарных науках мотивационного и телеологического, а не причинного (дедуктивно-номологического) объяснения. По крайней мере, таково сегодня положение дел в науке.

не изменяет природы предписывающего *содержания* данного высказывания. Прескриптивность в таких случаях задается контекстом высказываний (например, нормативно-правовым актом). При этом не следует смешивать лингво-психологические и логические аспекты высказываний.

Итак, в случае признания субъективных прав алетическими высказываниями проблемой будет являться связь алетических и деонтических модальностей. Отождествление алетических и деонтических модальностей – это серьезная логическая ошибка, делающая дальнейшее рассуждение беспредметным, т. е. не связанным с какой-либо объективной реальностью.

Алетические и деонтические модальности друг к другу не сводимы. Эти модальности друг из друга не выводимы.

Возможность не сводима к разрешению и не выводима из него (равно, как и наоборот).

Невозможность не сводима к запрещению, не выводима из него (равно, как и наоборот).

Необходимость не сводима к обязанности и не выводима из нее (равно, как и наоборот).

Вместе с тем сделаем оговорку. Дело в том, что вопрос о невыводимости алетических и деонтических модальностей (собственно этих модальностей, без подмены понятий и игры слов) не всегда решался именно так.

Еще в 1671 г. Г. В. Лейбниц в работе «*Elementa juris naturalis*» высказал мнение о фундаментальном структурно-функциональном единстве аристотелевских (алетических) и юридических (деонтических) модальностей, что известно под именем «старый модализм». Справедливости ради стоит отметить малоизвестность *механизма* такого единства. Лейбниц вводил особые константы *vir bonus* – нравственно идеального или просто доброго человека (как адресата предписания)<sup>1</sup>.

Фактически введением этой константы решался вопрос о статистически приемлемой однозначности предопределенности отклика

---

<sup>1</sup> Цит. по: Глинчикова А. В. «Деонтика» Эрнста Малли и становление логики норм в середине XX века: дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2014. С. 24. URL: [https://disser.spbu.ru/diss2/diss/Deontika\\_Ernsta\\_Mally\\_i\\_stanovlenie\\_logiki\\_norm\\_v\\_seredine\\_XX\\_veka.pdf](https://disser.spbu.ru/diss2/diss/Deontika_Ernsta_Mally_i_stanovlenie_logiki_norm_v_seredine_XX_veka.pdf) (дата обращения: 23.01.2023).

сознания (этого нравственно безупречного человека) на определенное информационное воздействие (социальной нормы-предписания). Следовательно, можно было вести речь о предопределенности поведения самим фактом наличия нормы-предписания, т. е. подобная константа, по сути, наделяет предписание характером причины, а нормативно соответствующее поведение – характером следствия.

Однако такой подход не вполне приемлем, поскольку:

1) можно высказать уверенность, что подобные допущения (все люди нравственно идеальны или даже просто добры) не позволят произвести адекватную теоретическую реконструкцию реальных социальных процессов;

2) даже если говорить о предопределенности поведения информацией вне определенного «диктата нравственных идеалов», то думается, что мера сочетания детерминированного и случайного в откликах человеческого сознания и, соответственно, поведения на определенную информацию (норму-предписание) позволяет отличать, например, врожденно-инстинктивную реакцию от культурно-сформированной.

Поэтому описание и объяснение реализации права в терминах причинной детерминации, где норма является причиной, а ее реализация – следствием, весьма проблематично для адекватной теоретической реконструкции социально-правовой действительности. Причина неизбежно порождает следствие. Но, можно с уверенностью утверждать, что нет ни одной социальной нормы, которая бы неизбежно реализовывалась, т. е. реальная история пока дает нам массу примеров того, что любая норма нарушается.

Конечно, следует заметить, что еще в XIV веке Р. Холкоттом и Р. Росеттом были высказаны идеи о неполной тождественности деонтических и алетических модальностей<sup>1</sup>. Между тем на концептуальном уровне эти идеи были развиты гораздо позднее. В частности, в 1951 г. Г. Х. фон Вригтом была предложена система модальной логики, названная деонтической (логика долга, логика норм), которая существенно корректировала в названном аспекте идеи Г. В. Лейбница и, по сути дела, развивала идеи И. Бентама и Э. Малли. Важность

---

<sup>1</sup> См.: Кнуутгила С. Деонтическая логика в четырнадцатом столетии // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки / под ред. В. А. Смирнова. М.: Наука, 1984. С. 142–156.

теоретических разработок Вригта по данной проблематике обусловлена тем, что его, по справедливому замечанию Кравица, следует относить к одному «...из трех ключевых мыслителей, сформировавших логические основы общей теории права»<sup>1</sup>.

Г. Х. фон Вригт, говоря о различии между состояниями («должно быть») и действиями («должно быть сделано»), отмечал, что речь можно вести только о частичном соответствии деонтических и алетических модальностей<sup>2</sup>. Такая частичность означает, что необходимость и обязательность лишь аналогичны. Однако аналогия является нетранзитивным отношением толерантности. Аналогия рефлексивна, симметрична, но не транзитивна. Таким образом, аналогия не есть отношение эквивалентности, так как эквивалентность – это транзитивное отношение толерантности. Иными словами:

1) выражение «если  $p$ , то (возможно  $p$ )»<sup>3</sup> общезначимо, т. е. является истинным в любой интерпретации;

2) выражение «если  $p$ , то (дозволено  $p$ )»<sup>4</sup> не является общезначимым, т. е. существует интерпретация, в которой данное выражение не является истинным;

3) выражение «если (необходимо  $p$ ), то  $p$ » общезначимо, т. е. является истинным в любой интерпретации;

4) выражение «если (обязательно  $p$ ), то  $p$ » работает лишь при условии введения константы *vir bonus*, т. е. не является общезначимым (т. е. существует интерпретация, в которой данное выражение не является истинным).

Это означает, что (а) дозволения / разрешения и возможности не эквивалентны; (б) обязанность и необходимость не эквивалентны. Иначе говоря, отмеченная несводимость алетических модальностей к деонтическим (равно как и наоборот) справедлива для деонтической логики действий вригтовской модели и для формально-логического дискурса-анализа модальностей. При этом выбор именно логики

---

<sup>1</sup> Кравиц В. Современное право и система права в перспективе теории коммуникации // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 174.

<sup>2</sup> См.: Вригт Г. Х. фон. О логике норм и действий // Логико-философские исследования: избранные труды / пер. с англ.; общ. ред. Г. И. Рузавина и В. А. Смирнова; сост. и авт. предисл. В. А. Смирнов. М.: Прогресс, 1986. С. 245–289.

<sup>3</sup> Читается как «всегда, если есть (существует)  $P$ , то оно возможно (его существование возможно)».

<sup>4</sup> Читается как «всегда, если есть (существует)  $P$ , то оно дозволено».

действий, а не состояний видится как вариант, наилучшим образом соответствующий потребностям юридической науки.

Однако, например, В. О. Лобовиков, разрабатывая весьма любопытные и оригинальные идеи в области применимости математической логики к правоведению вообще и естественно-правовым идеям в частности, предлагает несколько иной подход, отмечая неполноту анализа Вригта<sup>1</sup>.

Так, В. О. Лобовиков замещает (вызывающую проблемы) логическую эквивалентность высказываний формально-этической равноценностью (поступков). Думается, что в юридическом контексте такой подход, к сожалению, не вполне уместен.

Введение новой схемы выводимости из «алгебры поступков» действительно предполагает новые альтернативы для рассмотрения некоторых логико-философских проблем. Но подобная формально-этическая равноценность поступков, могущая быть принимаемой в некоем психолого-лингвистическом аспекте, базируется на игнорировании определенных важных нюансов, отмечаемых, в частности, Г. Х. фон Вригтом. Например, Вригт подчеркивает разницу между неделанием и воздержанием от поведения (делания).

Развивая идеи Г. Х. Вригта применительно к критике позиции В. О. Лобовикова, подчеркнем, что это важное различие, поскольку при рассмотрении *неделания* можно оперировать как нормативными, так и алетическими высказываниями:

1) нечто не делается, поскольку оно *возможно*, но оно, например, *запрещено* либо не делается в силу иных оснований, значимых для субъекта неделания и т. п.;

2) нечто не делается, поскольку оно *невозможно* (это сделать нет логической или физической возможности). В данном случае субъективные основания неделания бессмысленны.

Как видно, в самом факте неделания нет указания на то, есть ли возможность это делать. Соответственно, нет и оснований для постановки вопроса о субъективных причинах неделания.

---

<sup>1</sup> См.: Лобовиков В. О. «Искусственный интеллект», формальная этика и морально-правовой выбор. Свердловск, 1988. 186 с.; Лобовиков В. О. Математическое правоведение. Ч. 1: Естественно-право. Екатеринбург: Изд-во Гуманитар. ун-та; Изд-во Урал. гос. юрид. акад., 1998. 240 с.; Лобовиков В. О. Математическая логика естественного права и политической экономики (Математическая философия экономики и права). Части 1, 2. Екатеринбург: Ин-т философии и права УрО РАН, 2005. 657 с.

При рассмотрении *воздержания* от делания применительно к контексту нашего рассуждения допустимо оперировать только деонтическими модальностями. В частности, *воздержание* от делания аналитически предполагает наличие возможности это сделать, так как бессмысленно говорить о воздержании от невозможного.

Другими словами, нечто не делается, поскольку оно *возможно*, но оно, например, *запрещено* либо не делается в силу иных оснований, значимых для субъекта неделания и т. п.

Данный аспект связи алетических и деонтических модальностей является условием выполнимости требований нормативных систем, минимальное условие рациональности таких систем. Поэтому, с нашей точки зрения, такая деталь как различие «неделания» и «воздержание от делания» очень важна для такого контекста, как анализ правового регулирования, поскольку сам смысл введения некоего нормативного регулирования появляется именно тогда, когда речь идет об альтернативе – совершить поведенческий акт либо воздержаться от него. Именно подобная альтернатива и формирует потенциальный предмет нормативного регулирования, т. е. некое поведение, являющееся как минимум сознательно-волевым, мотивированным и целенаправленным (в значимом для создателя нормы направлении).

Таким образом, неделание, взятое само по себе, *без уточнений*, может и будет являться формально-этически равноценным воздержанию от делания, но не будет предполагать введения предмета правового регулирования в виде сознательно-волевого, мотивированного и целенаправленного поведения.

Вот почему можно говорить, что замещение логической эквивалентности формально-этической равноценностью нивелирует регулятивную функцию нормативной системы, в данном случае – регулятивную функцию права. Более того, подобное нивелирование обесценивает вообще рассуждение о каких бы то ни было нормах.

В этой связи заметим, что подход, когда формально-этическая равноценность вместо частного и довольно ограниченного, сугубо умозрительного, абстрактного (говоря словами В. О. Лобовикова) применения расширяется настолько, что замещает логическую эквивалентность высказываний, представляется нецелесообразным. Подобный подход нивелирует и регулятивную, и охранительную функцию права. Соответственно, такой подход уже на данном, начальном,

этапе будет препятствовать установлению нормативной, регулятивной природы субъективных прав либо как минимум их реальной связи с правом в терминах строгой научной выводимости.

Вместе с тем необходимо отдать должное О. В. Лобовикову, когда он признает, что вводимая им модель не отрицает подход Г. Х. фон Вригта.

Именно поэтому в рассматриваемом контексте сведение дискурса-анализа алетических модальностей к его формально-логическому аспекту (в контексте установления связи с нормативными моделями), являющемуся доминирующей вригтовской моделью, представляется обоснованным.

Кроме того, думается, что при поисках возможности замещения логической эквивалентности высказываний формально-этической равноценностью поступков В. О. Лобовиков осуществляет смешение дескриптивных высказываний с эпистемическими, а также с оценкой эпистемических высказываний<sup>1</sup>, что представляется неверным.

В то же время не следует смешивать наличие определенной смысловой связи между алетическими и нормативными модальностями и *сводимость* этих модальностей друг к другу, их транзитивность. В частности, нечто запрещено или обязательно ровно постольку, поскольку есть возможность поступить иначе. Именно эта связь выражена в «формуле римского гражданского права» в формулировке римского юриста Цельса Младшего («Дигесты» L, 17, 185): «*Impossibilium nulla est obligatio*» (невозможное не может вменяться в обязанность, не существует обязанности выполнить невозможное). Так называемый принцип Канта – «если должен, то может» – фактически является несколько иначе сформулированной «формулой римского гражданского права». Иными словами, полная интерпретация принципа Канта звучит так: «Действие может считаться обязательным только в том случае, если оно логически и физически возможно». Эта мысль признается и в современной научной юридической литературе. В частности, Г. В. Мальцев указывает, что регулирование совершенно бессмысленно в отношении невозможных процессов и событий<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Лобовиков В. О. Научная экспертиза логической формы доказательств в судопроизводстве или логическая подготовка юристов? // Вестн. Гуманит. ун-та. Сер.: Право. 1996. № 1 (1). С. 113–122.

<sup>2</sup> См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. М.: Норма: Инфра-М, 2011. С. 11.

Особенно примечательно в данной связи то обстоятельство, что именно приведенная смысловая связь алетических и нормативных модальностей раскрывает еще один аргумент в пользу недопустимости смешения данных модальностей.

Для наглядности преобразуем обязанность в запрет на том основании, что модальности «запрещено» и «обязательно» взаимозаменяемы (обязательно делать «А» есть то же самое, что запрещено воздерживаться от «А»). Соответственно, *impossibilium nulla obligatio est* будет представлено в виде «не существует запрета воздержаться от невозможного». Тогда «обратно симметричное высказывание» будет звучать как «запрещено только *не невозможное*», а если убрать двойное отрицание, то – «запрещено только возможное (т. е. не невозможное)».

Но что происходит в случае отождествления возможности и разрешения? К тому, что именно здесь хорошо видно, что отождествление разрешения и возможности ведет к абсурдной формуле «запрещено только разрешенное».

Однако нельзя также не упомянуть еще два обстоятельства, которые можно рассматривать как основания транзитивности алетических и деонтических модальностей. Первое обстоятельство может быть названо обыкновением словоупотребления, а второе – подменой семантического, логического контекста прагматическим, идеологическим.

Обыкновения словоупотребления побуждают вести речь о юридической «необходимости» и «возможности». Такие рассуждения часто встречаются не только в обыденном, а, к сожалению, иногда и в профессиональном и даже научном словоупотреблении. И хотя в некоторых случаях делается оговорка относительно особенностей такой «юридической возможности», но все же следует понимать, что подобные привычки словоупотребления в научно-юридическом контексте вряд ли допустимо оправдывать по ряду обстоятельств.

Во-первых, происходит умножение научной терминологии. Да, можно было бы дополнить термин «разрешено» термином «позитивно» / «весело», а термин «обязательно» – термином «негативно» / «пессимистично» / «грустно» и т. д. Но это – нарушение принципа однозначности именованя (принцип Фреге-Рассела). В. М. Савицкий писал по этому поводу: «Правило об однозначности терминов – альфа

и омега всякой подлинно научной терминологии, оно имеет универсальный характер...»<sup>1</sup>.

Во-вторых, вредность нарушения принципа однозначности именования усиливается еще и тем, что в качестве синонима используется термин («возможно»), который не является относительно «нейтральным» к термину «разрешено». Напротив, этот «синоним» сам является специальным, причем он принципиально не сводим к разрешению и не выводим именно из разрешения.

В-третьих, при непонимании условности приводимого словопотребления происходит вольное или невольное введение в заблуждение, поскольку создается иллюзия взаимоопределимости алетических и деонтических модальностей и создает угрозу потери предмета научного поиска.

Сказанное означает, что так называемая деонтическая или юридическая необходимость лишь умножает научную терминологию и логически не сочетается с физической и логической необходимостью. По сути дела, в деонтической (юридической) необходимости мы видим *подмену* нормативной модальности («обязательно») алетической («необходимо»). То же самое относится к деонтической (юридической) возможности. Разрешение *подменяется* возможностью, поскольку реально разрешение не определимо через возможность.

Второе обстоятельство (подмена логического контекста идеологическим) просматривается в следующем.

Например, Л. Д. Воеводин, раскрывая природу прав человека, совершенно прав, когда называет интересным мнение Г. В. Мальцева<sup>2</sup>, полагающего, что «юридическая обязанность есть не только должное, но и возможное в человеческом поведении»<sup>3</sup>. Действительно, в данном случае мысль Г. В. Мальцева согласуется с принципом *impossibilium nulla obligatio est*. Однако ход рассуждения обоих авторов таков, что указанная мысль выглядит почти как случайно правильный вывод (истинность которого не обусловлена ходом рассуждения).

---

<sup>1</sup> Савицкий В. М. Язык процессуального закона: вопросы терминологии. М., 1987. С. 24.

<sup>2</sup> См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М., 1997. С. 138.

<sup>3</sup> Мальцев Г. В. Социалистическое право и свобода личности (теоретические вопросы). М., 1968. С. 71.

В частности, Л. Д. Воеводин отмечает, что категория должного не выражает в полной мере природу юридической обязанности. И поэтому раскрывать природу юридической обязанности следует через категорию необходимости<sup>1</sup>. В данном случае Л. Д. Воеводин солидаризуется с учеными советской юриспруденции. Так, С. Ф. Кечекьян писал, что юридическую обязанность следовало бы определять через необходимость, поскольку в таком случае это помогло бы обосновать справедливость содержания правовых предписаний. Подобная справедливость, правильность, будет обусловлена самой системой поведения людей, т. е. сложившимися отношениями<sup>2</sup>.

Данная мысль развивает положение классиков марксизма о том, что законодатель не столько *формирует*, сколько *формулирует право*. И советское право при этом описывается как право более совершенное по сравнению с правом капиталистических стран. Именно для этого и понадобилась столь строгая категория, как необходимость. Ведь необходимость, например онтологическая (физическая), предполагает непреложную, объективную связь между явлениями (в случае дедуктивно-номологической интерпретации причинности).

В этом случае совершенство и превосходство советского права над правом капиталистическим представлялись как неизбежность, непреложность, как отражение объективной связи между базисом и надстройкой, но не как некая надуманная, произвольная оценка превосходства. Термины необходимости должны были служить теоретической основой непогрешимости апологетики советской государственно-правовой действительности. Именно в этом проявилась политико-прагматическая функция советской юридической науки.

Да, С. Ф. Кечекьян совершенно честно заметил, что термин «необходимость» был употреблен им не в философском смысле. Автор избрал другой смысл, который выражал некую социальную связанность (поведения обязанного лица со сложившимися отношениями, со всей системой поведения людей в определенном обществе).

Конечно, оправдание полезности содержания конкретных правовых велений является весьма важной частью идеологической работы.

---

<sup>1</sup> См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М., 1997. С. 138.

<sup>2</sup> См.: Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / отв. ред. М. С. Строгович. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 60.

Не следует забывать, что любое правовое веление – это все же выражение чужой воли. «На штыках» можно прийти к власти, но на штыках нельзя усидеть. И удерживать власть, добиваясь выполнения правовых предписаний, опираясь лишь на государственное принуждение, весьма проблематично. И согласие подчиняться без принуждения лежит в основе социальной опоры власти. Однако в долгосрочной перспективе весьма рискованно использовать своеобразное научное лукавство, подменяя логические аспекты анализа идеологическими соображениями.

Таким образом, семантический аспект анализа субъективных прав как алетических высказываний позволяет сделать вывод о том, что субъективные права не являются возможностями в строгом смысле слова.

Соответственно, если понимать свободу как возможность, то неправильно определять понятие «субъективное право» через термины «свобода», «мера свободы», «граница свободы» и т. п.

#### **1.4. Права человека как оценочные суждения: связь со свободой в прагматическом аспекте анализа**

Прагматический аспект анализа целесообразности внесения свободы в содержание прав человека следует предварить замечанием о недопустимости недооценки потенциала движущей силы любой идеи вообще, а идеи свободы в особенности. В данной связи весьма уместно вспомнить о «хождении в Каноссу». Посредством такой идиомы, название которой восходит к противостоянию Генриха IV – германского короля, императора Священной Римской Империи – и Папы Римского Григория VII, в западноевропейских языках принято называть акт подчинения более мощной силе. Следует обратить особое внимание на то, что обладающий довольно серьезной военной силой Генрих IV был вынужден подчиниться более мощной силе. И этой силой обладал Папа Григорий VII, который в связи с некоторыми действиями короля Генриха IV заявил о (временном на тот момент) отлучении короля от церкви, что в соответствии с учением Фомы Аквинского (о балансе сущности, формы и использования власти) означало несправедность светской власти и фактически низложение короля. Иными словами, более мощной оказалась не военная

сила короля Генриха IV, а, по сути дела, власть идей Римской католической церкви. Миру был дан очевидный урок, что именно идеи предопределяют характер поведения того, кто берет в руки оружие, т. е. реально армией управляет не формальный и публичный командующий армией, например король, но тот субъект, который фактически владеет умами солдат, офицеров и генералов этой армии.

Кроме того, уместно вспомнить реалии сегодняшнего дня, когда Ватикан с численностью населения порядка 800 человек (и армией в 110 человек) имеет гораздо большее влияние на глобальную политику, нежели, например, Индонезия (266 млн человек), Нигерия (189 млн человек) и целый ряд других стран с огромным, но нереализованным управленческим потенциалом. Вместе с тем следует учесть, что пример с Ватиканом является лишь довольно известным, но никак не наиболее показательным и тем более не единственным примером, указывающим на реальную власть идей. И именно идея свободы имеет исключительно сильную власть в области управления не только отдельными государствами и группами государств, но и в области управления глобальными социальными процессами на нашей планете.

В данной связи выглядит совершенно неслучайным весьма давний интерес к исследованию идей свободы в социально-политическом и правовом контекстах.

В частности, еще Аристотель и Эпикур рассуждают о праве как о выражении свободы от политического деспотизма.

Дальнейшее развитие подобных идей в контексте противопоставления государства (как правовой формы власти свободных людей) и деспотизма (как насильственной власти, как отношений господства-подчинения) осуществлялось Марком Тулием Цицероном, Аврелием Августином, Фомой Аквинским, Джоном Локком, Шарлем Луи Монтескье и другими мыслителями.

Наиболее зримо идею связи права и свободы отстаивал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, считая «исходной точкой» права волю, которая свободна. Именно поэтому, по мнению Гегеля, «...право есть вообще свобода как идея»<sup>1</sup>.

В советской и российской науке наиболее известным популяризатором идей Гегеля является В. С. Нерсисянц, которого принято считать

---

<sup>1</sup> Гегель. Философия права / автор вступ. ст. и прим. В. С. Нерсисянц; пер. с нем. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной. М.: Мысль, 1990. С. 89.

основателем либертарно-юридической концепции права. Как видно, связь свободы и права отражена и в самом названии предложенного типа правопонимания (либертарное от лат. *libertas* – свобода), а потому право считается там нормативной формой свободы. Государство же представлено В. С. Нерсеянцем и его последователями (прежде всего, В. А. Четвернинным) как так называемая институциональная форма свободы. Однако чтобы государство можно было считать действительно таким, в его основе должна лежать конституция, а в основе конституции – права человека, и именно это призвано ограничивать несправедливый произвол государственной власти.

Данные мысли достаточно легко расширяли круг своих сторонников в силу очевидности их значительной эмоциональной привлекательности, поскольку непостоянство человеческой природы могло быть компенсировано «властью законов». Иными словами, эффективное и при этом справедливое государственное управление в конкретный исторический момент могло зависеть от добродетельности одного или нескольких человек, а потому именно законы рассматривались как некая гарантия исторической преемственности высокого качества управления. Вместе с тем подобный ход размышлений явился отражением совершенно реальной и масштабной тенденции существенного расхождения интересов власти и народа. И, соответственно, идеи свободы, лежащие в основе прав человека и права, зачастую довольно искренне рассматривались как попытка изменить такое развитие событий.

Неслучайно наиболее ярко связь отстаивания ценностей идей свободы со свержением (в его насильственном варианте) государственной власти проявилась в период буржуазных революций под лозунгами свободы, равенства и братства, когда победившие структуры издавали различные декларации о свободе (независимости) и правах человека. Потому неудивительно, что идеи прав человека активно поддерживались масонскими структурами так же, как и идеи связи прав человека со свободой<sup>1</sup> (например, масонским орденом *Le Droit Humain* – «Право человека»).

Вместе с тем думается, что конкретная социально-историческая практика наглядно продемонстрировала (к большому разочарованию

---

<sup>1</sup> См.: Международный сайт масонского смешанного международного ордена *Le Droit Humain* (Право человека): сайт. URL: <https://co-masonry.ru/principy-ordena/> (дата обращения: 07.10.2023).

для многих поборников свободы), что алгоритм воплощения в жизнь идеи свободы может оказаться весьма *непрогнозируемым* и, главное, *неуправляемым* в своей «правильности». В силу этого история изобилует примерами, когда благонамеренные не оказались благотельными, поскольку неожиданно для себя самих столкнулись с неким теоретико-методологическим парадоксом и практической проблемой – «хотели как лучше, а получилось как всегда».

В чем истоки таких проблем? Как раз в том, что сама по себе идея свободы (как возможности проявления субъектом своей воли), интерпретируемая в такой канве, как некая независимость от искусственных препятствий в проявлении субъектом своей воли, – это весьма «слепая» идея. Эта слепота проявляется в том, что такую независимость можно наполнять практически любым содержанием. В том числе любым в ценностном аспекте. Иными словами, аксиологическая ценность свободы не будет *прогнозируемой*. Она будет *случайной* в зависимости от наполняющего ее содержания. Но такая случайность исключает управляемость. По сути, ценность результатов практического воплощения в жизнь подобной идеи также будет не *прогнозируемой*, но случайной, т. е. это может быть и свобода от порока, и свобода от добродетели.

В данной связи весьма показательно высказывание еще А. Линкольна: «Мы все за свободу, но, употребляя одно и то же слово, мы не имеем в виду одно и то же... Так получается, что процесс ежедневного освобождения тысяч людей от рабской зависимости одни приветствуют как прогресс свободы, а другие клянут как уничтожение всякой свободы»<sup>1</sup>.

Весьма точны также и слова известного исследователя либерализма К. Б. Макферсона, когда он подметил, что реальности современной либеральной демократии вполне позволяют вести речь далеко не только о свободе всех использовать и развивать все свои способности, но также и о свободе более сильных обманывать более слабых, следуя при этом правилам рынка<sup>2</sup>.

Почему так происходит? В качестве предпосылок для правильного ответа на данный вопрос можно использовать, например, некоторые

---

<sup>1</sup> Селзам Г. Марксизм и мораль. М., 1962. С. 253.

<sup>2</sup> См.: Макферсон К. Б. Жизнь и времена либеральной демократии / пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. С. 8.

из идей бельгийского политического философа и юриста Х. Перельмана, основателя школы неориторики, внесшего значительный вклад в исследование аргументации в праве. Ученый предложил четко различать два вида понятий: произвольные (аналитические) и эмоциональные. Между тем к области собственно научного рассуждения Х. Перельман относил лишь произвольные (аналитические) понятия. Эмоциональные понятия ученый считал инструментарием философских исследований, хотя и отмечал тенденцию к использованию подобных понятий социальными науками (науками о духе).

Аналитические понятия можно считать новыми, т. е. вновь создаваемыми для целей научного исследования. Поскольку исследователь может ставить перед собой цели произвольно, по своему выбору, то в данном контексте эти новые понятия также можно назвать произвольными. При этом Х. Перельман подчеркивает, что считать все дефиниции произвольными – ошибочно.

Ко второй группе понятий Перельман относит уже существующие языковые выражения и обращает внимание на то, что каждое из них обладает «эмоциональными значениями и свойственным ему престижем»<sup>1</sup>. Именно в силу такого различия между двумя группами понятий Перельман и называет вторую группу также эмоциональными понятиями, а первую – аналитическими: «Дефиниция является аналитической и, следовательно, произвольной только в той мере, в которой определяемому термину не придается значения, связанного с эмоциональной сферой»<sup>2</sup>.

Желая усилить убедительность своей аргументации, люди явно тяготеют к использованию эмоциональных компонентов в построении определений понятий. Особенно значительно убедительность аргументации усиливается при добавлении к дефиниции «чтимого в обществе термина (Справедливость, Свобода, Добро, Добродетель, Реальность...). В результате определенному термину передается *ценностное* значение, как если бы он и был самой справедливостью, свободой и пр.»<sup>3</sup>.

Развивая идеи Х. Перельмана относительно конкретики социального контекста употребления такого явно эмоционально окрашенного

---

<sup>1</sup> Перельман Х. Справедливость // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 629.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

термина, как «свобода», укажем на то, что его аналитический компонент вовсе не имеет жесткой связи с эмоциональным компонентом. Более того, в сугубо логическом аспекте мы можем получить логически эквивалентные (в своей предметной области), но эмоционально противоположные выражения.

В качестве симптоматичного примера рассмотрим широко известное суждение о том, что «право – это мера свободы практически при любом типе правопонимания»<sup>1</sup>. Как бы это не показалось парадоксальным, но эту весьма эмоционально привлекательную идею можно элементарно парировать выражением эмпирически подтвержденным, но эмоционально совершенно непривлекательным. А именно: право практически при любом типе правопонимания – это именно мера *несвободы*.

В сугубо логическом аспекте этому невозможно возразить, поскольку в контексте определения права у термина «свобода» нет бинарной оппозиции. Таким образом, мы имеем дело с полным (дихотомическим) делением соответствующего множества поведенческих актов (как возможного<sup>2</sup> поведения) на два подмножества: поведение свободное и поведение несвободное. И, например, одно и то же регулирование любого поведения через установление правового запрета / обязанности может быть описано *различным* образом лишь в *интенциональном (смысловом)* контексте. Причем именно факт использования дихотомии (т. е. любое поведение является свободным или несвободным) и формирует эту *иллюзию* парадоксальности. В частности, любой правовой запрет – это и мера свободы (непрямое указание на незапрещенное поведение посредством его фактического отграничения от запрещенного), и мера несвободы (прямое указание на запрещенное поведение).

Что же касается предметной области (экстенционального контекста высказывания), то в приведенном примере речь неизменно идет об одном и том же объекте: о правовом запрете<sup>3</sup>, т. е. правовой запрет

---

<sup>1</sup> Честнов И. Л. Поминки по постмодернизму, или, здравствуй, постклассика? // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 56.

<sup>2</sup> Возможного в контексте минимальных условий рациональности любой нормативной системы, что и задается принципом *impossibilium nulla obligatio est*, определяя тем самым *минимальные* границы предмета правового регулирования.

<sup>3</sup> Разумеется, в данном случае следует помнить о различиях объектного языка права (как информации) и метаязыка права (информации об информации).

(объект, означиваемое) мы называем разными именами, такими как «мера свободы» и «мера несвободы». В частности, один и тот же объект, например запрет двигаться на красный сигнал светофора, можно характеризовать и как меру свободы, и как меру несвободы, т. е. можно использовать различный интенциональный аспект высказывания.

Равно поэтому право можно называть не математикой свободы<sup>1</sup>, но математикой несвободы. И это не реальное противоречие или парадокс. Это кажущиеся противоречия / парадоксы. Эти «противоречивость» / «парадоксальность» существуют лишь в эмоциональном, но не в рациональном аспектах. И, к большому сожалению, «неискушенный ум человека не придаст должного значения выбору дефиниции. Думая, что он соглашается просто с выбором значения слова, такой человек неосознанно отказывается от спора по существу»<sup>2</sup>. При этом как раз исключительно важно то, что эмоционально окрашенные понятия являются «полем брани для нашего духовного мира»<sup>3</sup>.

Учет подобных исключительно значимых, но не всегда заметных деталей заставлял многих мыслителей делать очень важные, хотя и не особо популяризируемые (особенно в периоды революционных потрясений) оговорки относительно того, что интеграция в право идеи свободы вовсе не предполагает некой тотальности свободы. В частности, Шарль Луи Монтескье указывал, что свобода есть право делать то, что дозволено законами<sup>4</sup>.

Иначе говоря, в социально-политических и юридических контекстах рассуждений о свободе всегда подразумевалось, что речь идет лишь о свободе в отношении *некоторых* видов поведения. И именно в данной связи весьма уместно обратиться к творческому наследию Т. Гоббса, особенно с учетом того факта, что этого мыслителя принято относить к одному из создателей теоретического фундамента учений о правах человека. В частности, упомянем то, что Т. Гоббс указал на полную свободу как на основание войны всех против всех

---

<sup>1</sup> См.: Нерсесянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М.: Юрист, 1996. 160 с.

<sup>2</sup> Перельман Х. Справедливость // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 628.

<sup>3</sup> Там же. С. 630.

<sup>4</sup> См.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 289.

(*bellum omnium contra omnes*), ведущей к гибели человеческого рода, т. е. полная свобода фактически предстает как полная несвобода.

Но если мы учтем целесообразность таких совершенно естественных и очевидных ограничений и будем вести речь не о полной свободе, но лишь о свободе в отношении некоторых видов поведения, то каким именно окажется объем свободы и несвободы? Как методологически правильно определить направления выбора того, что будет свободным и несвободным? Кто и почему окажется субъектом выбора: что именовать свободой, а что останется вне свободы? «Творческая интеллигенция», журналисты, ученые, политическая партия, подпольная оппозиция, Фонд Эберта, Фонд Сороса, Фонд Маккартуров, Фонд «Общественный вердикт», Фонд Свободы информации, Центр информации по правам человека или же иные некоммерческие организации со статусом иностранного агента и т. п.? А если речь идет о публичной оценке от имени всего общества, а то и от имени так называемого международного сообщества? Кто и на каких основаниях будет уполномочен стать субъектом такой оценки и, главное, каковы будут критерии данной оценки? Иными словами, довольно отчетливо видны две проблемы.

Первая проблема состоит в том, что в качестве некоего умолчания, сопровождающего информационные модули, адресованные широкой аудитории, предполагается мысль о том, что различие между свободой и несвободой, т. е. и критерии отграничения свободы от несвободы довольно тривиальны и очевидны как минимум для неких «прогрессивно мыслящих людей». В основе такой мысли лежит примитивное биологизаторство «общечеловеческих ценностей», имеющее довольно явный *экстремистский* оттенок. Весьма симптоматичный пример по данному поводу привел Н. Хомский, анализируя программную статью о глобальном цивилизационном противостоянии «Новое столкновение Востока и Запада» в такой крупнейшей американской газете, как *New York Times* (от 4 апреля 1999 г.).

В частности, обращает на себя внимание следующая цитата: «Демократический Запад, его гуманистические инстинкты коробит варварская жестокость православных сербов»<sup>1</sup>, из которой довольно

---

<sup>1</sup> Хомский Н. Государства-изгои. Право сильного в мировой политике. М.: Логос, 2003. С. 63.

ясно следует, что люди не равны по своей биологической природе, причем «западным людям» (в противовес «восточным»), в данном случае – сербам) на уровне *инстинктов* присущи позитивные качества, некое «правильное мировоззрение» и «природно-инстинктивная способность» давать «правильные» оценки социально-политическим процессам.

Говоря о биологизаторстве, полезно не только помнить, как отцы политэкономии А. Смит и Д. Рикардо говорили именно о «*расе рабочих*», а премьер-министр Англии Дизраэли о «*расе богатых*» и «*расе бедных*»<sup>1</sup>, но и понимать, что подобный экстремизм присущ скорее англо-саксонской части Запада, обильно напитанной идеями и социалдарвинизма, все же увидеть, что в основе западных идей гражданского общества лежит расизм.

Вторая проблема состоит в том, что все эти рассуждения о свободе и несвободе будут далеко не только и не столько «полем брани духовного мира», сколько основаниями для довольно серьезных решений в практической политике, влияющей на судьбы миллионов людей. В частности, эти совершенно неочевидные и небесспорные критерии разграничения свободы и несвободы лежат в основе разграничения, например, борьбы за свободу и преступлений против человечности, подсудных международному трибуналу, заслуживающих международных санкций или даже дающих основания для военного вторжения.

Практические сложности с толкованием ценности свободы в полной мере присущи и отечественному опыту государственно-правового строительства. Весьма полезно вспомнить, например, что в апреле 1917 г. именно под лозунгами свободы была проведена широкомасштабная амнистия. На свободу вышло порядка 90 тысяч осужденных, причем большинство из них составляли лица, которых никак нельзя было назвать ни «узниками совести», ни «борцами за свободу» в традиционном диссидентском контексте, поскольку осуждены были эти лица за совершение преступлений общеуголовного, но никак не политического характера. При этом очень важно обратить внимание на *заблаговременно* проведенные еще два акта «либерализации» страны, а именно – упразднение таких «душителей свободы», как Департамент полиции МВД (11 марта 1917 г.) и Отдельный корпус жандармов (6 марта 1917 г.).

---

<sup>1</sup> Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо-Пресс, 2001. С. 421.

Конечно, при этом нельзя не отметить, что 17 апреля 1917 г. было издано постановление Временного правительства «Об учреждении милиции». Но вместе с тем нужно признать и то, что искусственно и целенаправленно создаваемые сложности в ходе реформирования полиции в милицию, а также нацеленность милиции в основном на поиски и аресты бывших «гонителей свободы» (представителей власти) привели к таким проявлениям «буйного либерализма», как взрывной рост преступности и фактическое безвластие.

Важно помнить и довольно специфическую идею одного из отцов либерализма И. Бентама о том, что удовольствие как основное мерило правильности поступков должно стоять выше оков нравственности. При этом особенно важно соотносить эту идею с такой новеллой революции, как свобода гомосексуалистов от юридического преследования, свобода общества от «оков» традиционной семьи. Нелишне будет также отметить своеобразную преемственность подобного проявления либерализма в новейшей истории – в частности, освобождение гомосексуалистов от уголовного преследования произошло также и после расрушения СССР<sup>1</sup>.

В данной связи отметим, что проблема освобождения общества от гендерной идентичности коснулась далеко не только нашей страны. Присущее либерализации системное и планомерное оправдание гомосексуализма, переходящее в его открытую пропаганду как на государственном, так и на надгосударственных уровнях приобретает черты закономерности общественного развития в новейшей истории. Если говорить об уровне государственной поддержки «гомосексуальных свобод», то вполне закономерным можно считать, например, слова Джо Байдена (сказанные им в 2014 г. в бытность вице-президентом США) о том, что все *правительственные структуры* США получили указание уделять приоритетное внимание продвижению прав геев и лесбиянок *за рубежом*<sup>2</sup>.

Можно привести пример Норвегии, где еще в 1992 г. вступил в силу закон об однополых браках, а в 2009 г. правительство Норвегии начало активно внедрять идеологию гомосексуализма в детские дошкольные

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Закон РФ от 29 апреля 1993 г. № 4901-1 (утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> См.: Байден поставил права гомосексуалистов выше национальной культуры. URL: <http://gia.ru/world/20140625/1013474842.html> (дата обращения: 27.06.2023).

учреждения. Издательство детской литературы гомосексуального характера осуществляется в соответствии с указаниями парламента Норвегии «О гендерном равенстве в детсадах», а также является проектом Министерства образования Норвегии в рамках «Плана действий по обеспечению гендерного равенства в детсадах в 2008–2010 гг.»<sup>1</sup>.

Если вести речь о надгосударственной пропаганде гомосексуализма, то можно привести в пример резолюцию Совета ООН по правам человека от 14 июля 2011 г. № 17/19 «Права человека, сексуальная ориентация и гендерная идентичность»<sup>2</sup> или поддержку Римской католической церковью брачных союзов между гомосексуалистами<sup>3</sup>.

Закономерность появления подобной поддержки гомосексуальных отношений обусловлена именно либерально-индивидуалистическим отказом от такой формы коллективной идентичности, как гендерная идентичность.

В настоящее время довольно отчетливо заметны весьма тревожные тенденции освобождения общества также и от других форм коллективной идентичности: национально-культурной, религиозной. Следует особо подчеркнуть, что указанная идентичность в своей социальной основе является коллективной идентичностью, что находится в серьезном диссонансе с идеями либерально-индивидуалистической идентичности.

Помимо этого, в современном западном обществе явно начинает просматриваться ряд иных опасных тенденций. Можно привести в пример оправдание<sup>4</sup> и пропаганду педофилии, которая поборниками такого оправдания и пропаганды характеризуется как форма свободы сексуального самоопределения. Можно также привести в пример каннибализм как одну из форм свободы гастрономических пристрастий, причем как полезную форму<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Гейясли и гейдетсады – госпроект Северной Гоморры. URL: <http://juvenaljustice.ru/index.php/news/1397-geijasli-i-gejdetsady-gosproekt-severnoj-gomorru> (дата обращения: 07.10.2017).

<sup>2</sup> Резолюция A/HRC/RES/17/19 «Права человека, сексуальная ориентация и гендерная идентичность». URL: <http://www.refworld.org.ru/docid/512f0c2f2.html> (дата обращения: 07.09.2016).

<sup>3</sup> См.: Папа Римский поддержал гражданские союзы между однополыми парами. URL: <https://ria.ru/20201021/frantsisk-1580887297.html> (дата обращения: 21.10.2020).

<sup>4</sup> См.: Суд признал отношения 60-летнего мужчины и 11-летней девочки любовью. URL: <https://www.vesti.ru/article/1902752> (дата обращения: 21.10.2020).

<sup>5</sup> См.: Шведский ученый предложил поедать людей ради спасения планеты. URL: <https://www.volgograd.kp.ru/daily/27027/4091443/> (дата обращения: 21.10.2020).

Как несложно заметить, подобные примеры вполне укладываются в схему «свободной трактовки свободы», что фактически является этическим плюрализмом как либерализации ценностной ориентации. Весьма точно об этом высказался В. В. Путин в ходе выступления перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г.: «Многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основы западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Экссессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии»<sup>1</sup>.

Отечественная история дает нам и иные примеры деструктивных последствий именно либерализации, что особенно актуально в контексте перекладывания истоков всех социальных проблем 1917 г. на большевизм. В частности, в 1917 г. либерализация была распространена на режим призыва на военную службу, а также на проведение стачек и забастовок на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Очень важно при этом обратить внимание на то, что в таком «оплоте свободы», как Великобритания, доминировали совершенно иные представления о том, какое поведение делать свободным наиболее полезно и целесообразно с точки зрения общественного блага в ситуации, когда государство находится в стоянии войны. Например, министр труда Великобритании указывал, что когда началась война, рабочим было предложено временно отказаться от борьбы за свои права. И они во имя интересов государства отказались от такой борьбы, работая по семь дней в неделю, не зная ни праздников, ни отдыха<sup>2</sup>.

Однако российское Временное правительство весьма активно осуществляло и / или организовывало, поощряло буйную либерализацию в ходе строительства в нашей стране весьма специфического

---

<sup>1</sup> Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/19243> (дата обращения: 21.10.2020).

<sup>2</sup> См.: Милюков П. Н. История второй русской революции. Минск: Харвест, 2002. 165 с.

«храма свободы». Например, когда вводило свободу от единоначалия в армии (право комитетов из выборных представителей нижних чинов воинских частей возражать против назначения военачальников), свободу офицеров от ношения погон, от ношения оружия и т. п. И особенно показательно в аспекте анализа выявления реальных, а не декларируемых целей либерализации подобная свобода выглядит в конкретно-исторической ситуации. Наша страна находилась в состоянии войны, т. е. именно тогда, когда перед нами открылась реальная возможность катастрофического развития событий в форме освобождения страны от собственного суверенитета.

Впрочем, в связи со сравнением отношения к свободе в Российской империи и в Великобритании очень уместно вспомнить одну важную деталь. По словам посла Великобритании в России Дж. Бьюкенена (цитирующего княгиню Палей), английский премьер-министр Ллойд Джордж, давая оценку российской «либерализации» в ходе февральской революции 1917 г., прямо указал на то, что *«одна из английских целей войны достигнута»*<sup>1</sup>.

В свете этого очень «удачно», например, для военных интервентов из японского экспедиционного корпуса, высадившегося во Владивостоке 12 января 1918 г. (в помощь уже присутствующим там интервентам), выглядели слова и дела «Временного Забайкальского правительства» во главе с атаманом Г. Семеновым по освобождению «русских колоний в Сибири и на Дальнем Востоке от российской метрополии». К сожалению, злоупотребление потенциалом идей свободы в контексте актуальности темы «избавления Сибири от ига Москвы» в нашей стране активно поддерживается и сегодня, к тому же в рамках деятельности некоторых российских вузов<sup>2</sup>. Кроме того, иногда речь идет и о территориально более широком «освобождении», нежели «освобождение» только Сибири: «Официальный протекторат США был бы существенным повышением нынешнего статуса Эрефии

---

<sup>1</sup> Виноградов А. Тайные битвы XX столетия. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. 464 с.

<sup>2</sup> См.: Гладилин И. Студентов Иркутска учат, как отделить Сибирь от России. URL: <https://www.km.ru/v-rossii/2012/01/13/razvitie-regionov-v-rossii/studentov-irkutska-uchat-kak-otdelit-sibir-ot-rossii> (дата обращения: 12.09.2023); Хайдэкай Тэйлор. Сибирь скоро станет 51 штатом. URL: <http://pervodika.ru/articles/20551.html> (дата обращения: 12.09.2016); Олег Кашин: «Сибирь станет отдельным от Москвы государством». URL: <http://tayga.info/details/2010/12/31/~101904> (дата обращения: 12.09.2016).

(которая является колонией Запада в целом, причем безо всяких обязательств со стороны Запада). Но, боюсь, официальный протекторат нам не светит. Так что придется делать национальную революцию и требовать статуса...»<sup>1</sup>. В. Иноземцев по этому поводу писал: «Если власть не может распоряжаться суверенитетом страны на благо народа, лучше лишиться такого суверенитета или его части»<sup>2</sup>.

Поднимая проблему утраты государственного суверенитета, важно также вспомнить, что в рассматриваемый революционный период в стране были также сформированы условия, которые даровали народу такую свободу, как свобода роста цен, что исключительно неблагоприятно сказалось на авторитете государственной власти.

И вновь в нашей недавней истории мы видим преемственность в повторении подобной свободы. Так, в 1991 г. под лозунгом свободы была введена точно такая же либерализация (свобода роста) цен<sup>3</sup>.

Важно помнить об идеологической и «научной» подоплеке «освобождения России» от наследия СССР, например, в экономической сфере. И в научных кругах, и в публицистике настойчиво повторялась идея о том, что любое внеэкономическое принуждение – это несвобода. А далее, после такой массивной «научной» и идеологической «артподготовки», были весьма оперативно устранены различные юридические барьеры на пути приватизации. Приватизации предприятий ключевых, системообразующих, стратегически значимых. Разгосударствления тех предприятий, которые некогда были структурными элементами единого народно-хозяйственного комплекса. Приватизации за бесценок. Была устранена некая несвобода, которая была призвана защитить общественные, народные интересы. Устранена та несвобода, которая устанавливала запреты и ограничения на передел государственного имущества в период «Великой криминальной революции».

Вместе с тем в ходе убеждения населения страны в том, что лишь экономическая выгода может являться потенциальным ограничителем

---

<sup>1</sup> «Всеобщий синопсис или Система мнений. Я не люблю». URL: <http://krylov.livejournal.com/2283963.html?thread=98243259> (дата обращения: 10.08.2017).

<sup>2</sup> Иноземцев В. «Смерть традиции!». URL: [http://www.ng.ru/ideas/2007-08-08/11\\_death.html](http://www.ng.ru/ideas/2007-08-08/11_death.html) (дата обращения: 10.09.2023).

<sup>3</sup> О мерах по либерализации цен: постановление Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 55 (утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

свободы, вне поля широкой публичной дискуссии были *почему-то* оставлены важные вопросы, непосредственно относившиеся к этой дискуссии: чья именно свобода *не* должна была ограничиваться при *такой* приватизации, кто именно получит эту самую экономическую выгоду, за пределами ограничения которой и начинается якобы подлинная свобода. Вопросы эти вовсе не являются риторическими. Они не утратили своей актуальности и на сегодняшний день. И предпосылки ответов на эти вопросы были даны еще в 1990 г., т. е. еще до некоего «буйства свободы» в форме приватизации. Содержались они в аналитической записке Ассоциации социально-экономических наук, возглавляемой таким давним «ревнителем свободы и демократии», как А. Чубайс. Важно отметить, что построение нового царства свободы демократии должно было осуществляться при наличии «фундаментального противоречия» между благими целями и порочными средствами их осуществления (включая так называемые меры прямого подавления). Довольно откровенно в рассматриваемой аналитической записке речь шла о грядущем обнищании населения, безработице и иных параметрах ухудшения жизни большинства населения, причем было подчеркнуто, что осуществлять это следует без «извинений и колебаний», с необходимой для проведения реформы «свободой рук»<sup>1</sup>.

И актуальность вопросов о том, чьи же это руки должны были быть свободными, особенно возрастает, если учесть, что советниками российских государственных служащих, организующих и осуществляющих приватизацию, были сотрудники Центрального разведывательного управления США. Об этом, в частности, заявил Президент России В. В. Путин в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным» 25 апреля 2013 г.<sup>2</sup>

И именно поэтому весьма серьезным социальным благом выглядят, например, ограничения в реализации некоторых положений закона «О соглашениях о разделе продукции»<sup>3</sup>. По сути, это приостановка своеобразного освобождения страны от владения, пользования

---

<sup>1</sup> «Жестким курсом...»: аналитическая записка Ленинградской ассоциации социально-экономических наук // Век XX и мир. 1990. № 6. С. 15–19.

<sup>2</sup> Прямая линия с Владимиром Путиным: программа, 25 апреля 2013 г. URL: <http://www.kremlin.ru/transcripts/17976> (дата обращения: 17.05.2022).

<sup>3</sup> О соглашениях о разделе продукции: федер. закон от 6 декабря 1995 г. № 225-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

и распоряжения собственными природными ресурсами. И именно такое противостояние «буйству свободы» способствует обеспечению общественной безопасности для нашей страны. Таким же благом выглядит и отказ России обеспечить свободный доступ стран Западной Европы к российским природным ресурсам через такую юридическую основу, как Энергетическая хартия и Транзитный протокол<sup>1</sup>. Хотя, вероятно, подобные «отказы от свободы» существенно препятствуют реализации грез о построении вольных метрополий нового мирового порядка среди многих стран Евросоюза, США и прочих «ревнителей свободы».

Говоря о попытках принести в Россию некую свободу, очень уместно вспомнить послание Предстоятелю Русской православной церкви Патриарху Кириллу от Б. А. Березовского. В этом «послании» предельно откровенно выражен взгляд западной «элиты» на формы свободы в России: «Какие бы прозрачные и честные выборы власть не провела, и кто бы на них не победил, общество не примет их результатов», а потому «шумные митинги протеста перерастут в грохот выстрелов», а «потоки взаимных обвинений превратятся в кровь невинных». А «подлинная свобода» проявляется в очень четком и прагматичном совете Патриарху: «Помогите Путину опомниться», «А когда Путин услышит Вас, возьмите власть из его рук»<sup>2</sup>. Вот такую предельно конкретную «лондонскую версию русской свободы» адресует российскому обществу бывший заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Обращение за помощью к трудам классиков философии может подтолкнуть потенциальных критиков подобного толкование свободы к использованию в аргументации слов Гегеля о том, что называть проявлением свободы любой произвольный поступок человека – значит демонстрировать полную философскую необразованность. Конечно, на такое утверждение можно было бы возразить довольно

---

<sup>1</sup> См.: Договор к Энергетической хартии и связанные с ним документы: правовая основа для международного энергетического сотрудничества. URL: <https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf> (дата обращения: 10.01.2023).

<sup>2</sup> Березовский Б. Открытое письмо Предстоятелю Русской православной церкви Патриарху Кириллу. URL: <https://echo.msk.ru/blog/berezovski/849154-echo/> (дата обращения: 10.01.2019).

просто, указав, например, на то, что к протекторату США над Россией (как формы освобождения России) призывало лицо (К. А. Крылов), окончившее философский факультет Московского государственного университета, т. е. одного из лидирующих вузов страны (национальный исследовательский университет), являвшееся президентом Русского общественного движения, президентом общественного движения «РОД-Россия», главным редактором газеты «Спецназ России», главным редактором Агентства политических новостей, членом органа управления (центрального комитета) довольно крупного общественно-политического объединения «Конгресс русских общин»<sup>1</sup>.

Однако думается, что здесь требуется более развернутая аргументация. Снятие с толкования свободы первичных логических ограничений под натиском прагматических факторов превращает идею свободы в полнейший политико-идеологический флюгер, указующий туда, куда кому угодно. Иначе говоря, если некий толкователь свободы будет в ходе наполнения идей свободы социальной конкретикой уже мало чем связан, кроме собственного философского воспитания, то самые громкие слова («объективность», «необходимость» и т. п.) в таких случаях будут являться не более чем метафорами, наполненными вполне конкретным идеологическим содержанием, угодным совершенно конкретным политическим силам.

В правильности этой идеи довольно легко убедиться, если обратить взор на широко культивируемое мировоззрение некоторых западных философов свободы. Нашему взору очень часто будет открываться весьма неприглядная картина, обычно стыдливо уводимая от глаз наивной общественности, привыкшей к сладкозвучию речей о благе свободы.

В частности, так называемый интеллектуальный вождь XVII в., такой признанный идеолог либерализма и прав человека, как Джон Локк, весьма успешно и прибыльно для себя совмещал свои высокопарные рассуждения о ценностях свободы и правах человека с занятиями работоторговлей. К сожалению, в академических кругах принято хвалебно отзываться об идеологическом наследии Локка, но не принято акцентировать внимание на том, что именно Локк был одним из первых акционеров Королевской африканской компании (монополист работоторговли в Великобритании, создана королевским декретом

---

<sup>1</sup> URL: <https://dic.academic.ru> (дата обращения: 10.01.2022).

в 1682 г.), который вложил все свои деньги в работорговлю. А немногим ранее (в 1669 г.) этот «интеллектуальный вождь» явился соавтором конституции Каролины, юридически закреплявшей негритянское рабство<sup>1</sup>.

В поисках особенностей философской образованности Локка обратимся к одной из самых известных его работ – «Два трактата о правлении: в первом ложные принципы и основания сэра Роберта Филмера и его последователей исследуются и опровергаются; второй есть опыт об истинном происхождении, области действия и цели гражданского правления». Какова же философская образованность этого столпа западной политико-правовой мысли? А она такова, что вся указанная работа пронизана идеями экстремизма, идеями о том, что естественной свободой считается право распорядиться дарами Господа «с умом». А «ум» этот принадлежит совершенно конкретным субъектам – «белым господам», т. е. колонизаторам. Иными словами, философская образованность рассматриваемого «интеллектуального вождя» такова, что он, охватывая мир незамутненным взглядом чистого расиста, совершенно «естественно» рассуждает о том, «кто тварь дрожащая, а кто имеет право». Убежденно полагает, что у колонизаторов есть естественная свобода и право на конфискацию земель и обращение других людей в рабство. В таком контексте вполне естественной видится мысль о неразрывности связи локковского либерализма с английским колониализмом. И совершенно правильно некоторые исследователи указывают, что именно учение Локка как нельзя лучше соединяло (либеральную) теорию с (колониальной) практикой<sup>2</sup>.

Впрочем, учитывая идею, что колониализм вовсе не канул в лету, но лишь трансформировался в криптоколониализм, довольно зловеще звучат слова о том, что «...политико-правовые суждения Локка не могут ни состариться, ни отмереть до той поры, пока во всем мире не утвердятся институты гражданского общества»<sup>3</sup>, особенно если

---

<sup>1</sup> См.: Маккарти Т. Либеральный империализм и дилемма развития // Логос. 2006. № 6 (56). С. 15–16.

<sup>2</sup> См.: Armitage D. John Locke, Carolina and the Two Treatises of Government. Political Theory // Sage Publications. 2004. October. С. 603.

<sup>3</sup> Соловьев Э. Ю. Феномен Локка // Прошлое толкует нас: очерки по истории философии и культуры. М., 1991. С. 129.

учесть экстремистские истоки реальных концептуальных основ построения западного гражданского общества. Между тем вызывает особое удивление тот факт, что мысль о связи либерализма с колониализмом не усваивается учеными из тех стран, которые в глазах Локка и ему подобных считались и считаются потенциальными колониями «оплотов свободы и демократии».

Настораживает то, что факты подобного рода в настоящее время не принято вносить в поле широкой публичной дискуссии. При этом именно такие факты подчеркивают то, что попытка выставить философскую образованность, по меньшей мере, западную философскую образованность неким объективным критерием полезности свободы является как минимум большой наивностью. Западная «философская образованность» не позволяет в должной мере разграничить свободу и порок, свободу и добродетель. И неслучайно Х. Перельман отметил, что чем более понятие связано с ценностью, тем более оно запутано<sup>1</sup>.

Продолжая рассуждение о дефектах «философской образованности», уместно вспомнить примеры некоторых высказываний о праве и свободе в российской академической среде. Например, в 1990 г. на круглом столе по проблеме свободы, организованном журналом «Вопросы философии», представитель столь авторитетной организации, как Институт государства и права АН СССР, эксперт Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации Л. С. Мамут дал следующую трактовку категории свободы: «Свободу уместно рассматривать как такое социальное пространство для жизнедеятельности субъекта, в котором отсутствует внеэкономическое принуждение»<sup>2</sup>.

Прежде всего, не вполне ясно: говорит ли Л. С. Мамут о таком экономическом принуждении, которое существует лишь в рамках рыночной экономики. Заметим, что подобный взгляд имеет популярность. Известный канадский политический философ К. Макферсон, описывая данную точку зрения, отмечает, что отождествление личного выбора с человеческой свободой развивалось бок о бок с индивидуализмом семнадцатого столетия, причем оба эти явления – продукт зарождавшейся в том периоде рыночной экономики<sup>3</sup>. Если Л. С. Мамут

---

<sup>1</sup> Перельман Х. Указ. соч. С. 630.

<sup>2</sup> Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Потерянный разум. М.: Алгоритм, 2005. С. 44.

<sup>3</sup> Цит. по: Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / пер. с англ., науч. ред. Я. Н. Засурский. М.: Мысль, 1980. С. 25.

высказывался именно в таком контексте, то очень важно понимать три момента.

Во-первых, рыночная экономика возникла сравнительно недавно. Поэтому если согласиться с Л. С. Мамутом в давней истинности описываемой им связи свободы и экономики, то из этого следует довольно странный вывод о том, что в многотысячелетний «дорыночный» период жизни человечества свободы не было вообще. Впрочем, Макферсон приводит пример еще более «радикального» суждения, говоря, что либеральная демократия приняла некое бессознательное допущение о том, что «рынок создает человека»<sup>1</sup>.

Во-вторых, модели рыночного хозяйства весьма и весьма различны. Например, показательны слова 32-го Президента США Ф. Рузвельта, с именем которого связывают отступление от классического рыночного курса (принцип невмешательства – *Laissez-faire*): «Я совершенно не разделяю мнение тех профессиональных экономистов, которые настаивают, что все должно идти своим чередом и что вмешательство людей неспособно повлиять на экономические болезни. Мне-то известно, что эти профессиональные экономисты с давних пор каждые пять–десять лет меняют свои формулировки экономических законов»<sup>2</sup>. Нелишне вспомнить и «забастовку» студентов Гарварда, не желающих изучать стандартный (рыночно-либеральный) курс «Экономикс»<sup>3</sup>.

В-третьих, есть еще одна существенная методологическая проблема связи «истинной» свободы с рыночной экономикой, и заключается она в следующем. Обоснование некоей универсальной ценности рынка тезисом о том, что якобы создаваемая им свобода является «подлинной», а основанные на нем права естественными, «подлинными», «хорошими» и т. п., содержит в себе определенное лукавство.

Это лукавство состоит в том, что:

1) при рассуждении об основном достоинстве рынка как о механизме наиболее эффективного удовлетворения материальных потребностей людей «остается в умолчаниях» вопрос о происхождении

---

<sup>1</sup> Макферсон К. Б. Жизнь и времена либеральной демократии / пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. 176 с.

<sup>2</sup> Рузвельт Ф. Д. Беседы у камина. М.: ИТРК, 2003. С. 52.

<sup>3</sup> См.: Лемещенко П. С. Институциональная конкуренция как движущая сила разрушения и созидания современной экономики // Теоретическая экономика: науч. электр. эконом. журнал. 2014. № 2 (20). С. 19. URL: [https://www.ystu.ru/2\\_\(20\)\\_2014.pdf](https://www.ystu.ru/2_(20)_2014.pdf) (дата обращения: 21.04.2022).

этих потребностей. Иными словами, вопрос о том, какие потребности составляют благо, принято фактически самоочевидно относить к усмотрению самих носителей этих потребностей. При этом удовлетворение некоторых потребностей (например, в табаке, алкоголе, наркотических средствах и т. д.) ведет к деградации человека как минимум по медико-биологическим, психиатрическим и социально-психологическим параметрам. Кроме того, полное удовлетворение ряда искусственно формируемых потребностей («идти в ногу со временем» в смысле постоянно покупать новые товары) ведет к пирровой победе: к тактическому выигрышу (удовлетворенное вожделение иметь новые вещи) при стратегическом проигрыше (недопустимо опасная для выживания человечества мера деградации биосферы);

2) осуществляется, по сути дела, аксиоматическая апелляция к примату материальных ценностей над духовными якобы у всех людей.

Таким образом, нет достаточных оснований утверждать, что связь рынка со свободой и правом имеет некие экзистенциальные корни, т. е. мы не имеем достаточных оснований утверждать, что отсутствует необходимость объяснять или оправдывать тот факт, что одному субъекту более важны материальные интересы, а другому – духовные. Соответственно, нет никаких «экзистенциальных оснований» для защиты идеи о наличии некой генетической связи свободы и (естественного) права с рыночной экономикой.

В силу этого убежденность в ценности и некой особой эффективности так называемой рыночной экономики даже в аспекте наиболее эффективного удовлетворения материальных потребностей людей – это проблема практически религиозного характера, т. е. это вопрос не столько подлинного научного знания, сколько вопрос веры, причем сформированной манипулятивно и целенаправленно.

Далее, не вполне ясным в аналитическом аспекте выглядит и продолжение мысли о свободе, когда Л. С. Мамут утверждает, что свобода никогда не может перестать быть высшей ценностью для человека. Ведь если мы примем предлагаемую Л. С. Мамутом иерархию ценностей, то будет вообще непонятна логика общепринятого и общепризнанного ограничения свободы в целях защиты, например, жизни, здоровья, чести, достоинства, собственности и т. д. Иными словами, реальное, а не декларативное признание свободы высшей ценностью лишает смысла не только государственное принуждение,

но и правовое регулирование. Более того, фактически лишается смысла любое *социальное* регулирование в части, касающейся «внеэкономического принуждения».

Совершенно не рациональным, но рассчитанным, вероятно, на экзальтированных активистов смутного времени развала российской государственности, представляется высказывание известного теоретика марксизма Л. С. Мамута о том, что «свобода неделима» и «всякий раз, когда ставится под вопрос та или иная свобода (не о преступниках, естественно, разговор), тем самым ставится под вопрос о свободе вообще. Эта истина известна уже давно»<sup>1</sup>. Дело в том, что сам факт наличия мер государственного принуждения, а также их *разнообразие* (меры по предупреждению, пресечению правонарушений, меры юридической ответственности, меры процессуального обеспечения и т. п.), разнообразие оснований и процедур реализации данных мер со всей очевидностью демонстрируют:

1) реально общепризнанную истину о наличии мер внешнеэкономического принуждения, мер ограничения свободы в *любых* государствах, т. е. даже в тех, которые например Л. С. Мамут считал бы очень свободными и демократичными, в отличие от, скажем, России, которую сторонники либерализма, захватившие в те времена высокие трибуны, повадились именовать «тысячелетней рабой»;

2) дифференциацию, причем дифференциацию совершенно оправданную в комплексной оценке того или иного аспекта свободы.

Иными словами, сам факт различия этих оценок (в силу различия их субъектов, критериев и содержания) как раз и является наглядным и практически подтверждением (через правотворческую и через правореализационную деятельность) истины о *делимости* свободы.

Таким образом, совершенно очевидна необоснованная гиперболизация Л. С. Мамутом полезности функций экономического принуждения (отчего-то именуемых им сферой «свободы») и, соответственно, необоснованным выглядит отрицание ценности внешнеэкономического принуждения (именуемых Л. С. Мамутом сферой «несвободы»).

Столь же большое недоумение вызывает высказывание на том же круглом столе главного научного сотрудника института США и Канады РАН Э. Я. Баталова, почитаемого как американиста и спе-

---

<sup>1</sup> Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Потерянный разум. С. 44.

циалиста по политическим утопиям, когда также он пытается обосновать некий абсолютный характер свободы тем, что отрывает ее от социо-культурного контекста: «Нет свободы американской, китайской, русской или французской. Свобода едина по природе и сути, хотя продвинувшись по пути свободы то или иное общество или индивид могут на неодинаковую глубину... Или она есть как сущность, или же ее нет совсем»<sup>1</sup>.

Гораздо более сообразно реальной действительности по подобному же вопросу высказывается лингвист с мировым именем А. Вежбицки, указывая, что, например, свобода для западного европейца – это практически безусловное благо, для славянина это некое «перешагивание границ», т. е. скорее благо. Но вот, скажем, для японца свобода – это противопоставление коллективу, т. е. явная антиценность<sup>2</sup>. Иными словами, даже в нашем современном мире, где явно просматриваются тенденции управляемой унификации и стирания границ национальных культур, называемых одним и аспектов глобализации, нет ни однозначного толкования идей свободы, ни, соответственно, признания свободы универсальной ценностью для всех народов, т. е. для любого типа национальной ментальности.

Весьма высокая значимость в сфере идеологической и, следовательно, в сфере не только внутригосударственной и региональной, но также и практической глобальной политики категория «свобода» обуславливает довольно существенное различие во взглядах, например, на свободу в России.

Так, Н. Бердяев пишет о том, что именно нашей стране присуща подлинная свобода: «В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жадной земной прибылью и земного благоустройства... Россия – страна бытовой свободы, неведомой народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей... Россия – страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей»<sup>3</sup>.

В то же время совершенно иной взгляд на свободу в России дает в 2004 г. Б. М. Сарнов, член союза писателей СССР, постоянный

---

<sup>1</sup> Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Потерянный разум. С. 46.

<sup>2</sup> Цит. по: Честнов И. Л. Поминки по постмодернизму, или, здравствуй, постклас-сика? С. 56.

<sup>3</sup> Бердяев Н. Душа России. М., 1990. С. 12.

автор ежемесячного литературно-публицистического журнала, посвященного истории, культуре и религии еврейского народа, «Лехаим», вероятно, относящий себя к большим знатокам русской культуры (поскольку уж очень масштабен предмет даваемой оценки при явной ригористичности ее содержания): «Ведь мы живем в стране с тяжелой наследственностью, и это не только советская наследственность, она ведет свою историю еще от Ивана Грозного, царствования Николая I. Недавно я как раз в связи с нашей темой, о возможности соотношения жесткой власти и свободного рынка, читал интервью с Андроном Кончаловским, который высказал четко обозначенную позицию: русскому народу свобода не нужна» («Известия», 5 марта 2004 г.).

В связи с высказываниями о тяжелой российской наследственности и об «американской свободе» весьма симптоматично выглядят, например, некоторые события в США, нередко почитаемым как «бастион демократии». Например, руководство социальной сети Twitter полагало, что именно оно, а не законно избранный и действующий президент США понимает, что является свободой, а что не является, когда навсегда заблокировало аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за так называемого риска «дальнейшего подстрекательства к насилию»<sup>1</sup>.

Или когда крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, монополизируя именно свое видение свободы распространения информации, удалила публикацию законно избранного и действующего президента США Трампа с «вредоносной информацией» о коронавирусе<sup>2</sup>.

Или когда целый ряд американских телеканалов, также полагая, что это именно они, а не президент США правильно понимают, что есть истина и что есть свобода слова, прервали выступление президента США Д. Трампа, поскольку были просто не согласны с ним и их работа заключается в том, чтобы «распространять правду»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Твиттер навсегда заблокировал аккаунт Трампа. URL: [https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/01/09/853522-twitter-navsegda-zablokiroval-akkaunt-trampa?utm\\_source=uxnews&utm\\_medium=desktop](https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/01/09/853522-twitter-navsegda-zablokiroval-akkaunt-trampa?utm_source=uxnews&utm_medium=desktop) (дата обращения: 10.01.2021).

<sup>2</sup> См.: CNN: Facebook удалил публикацию Трампа с «вредоносной информацией» о коронавирусе // ТАСС: информ. агентство: сайт. URL: <https://tass.ru/obschestvo/9132317> (дата обращения: 20.12.2020).

<sup>3</sup> Ряд американских телеканалов прервали выступление Трампа // AIF.RU: сайт. URL: [https://aif.ru/politics/world/ryad\\_amerikanskih\\_telekanalov\\_prervali\\_vystuplenie\\_trampa](https://aif.ru/politics/world/ryad_amerikanskih_telekanalov_prervali_vystuplenie_trampa) (дата обращения: 20.12.2020).

Таким образом, мы видим явную, хотя и довольно неуклюжую попытку универсализации такой ценности, как свобода. Причем делается это посредством стирания границ не только в пространственном аспекте, т. е. «в ширину», но также и в «глубину», т. е. посредством стирания культурных границ во времени. Отметим важную особенность подобных публичных высказываний о свободе в нашей стране. Эти высказывания делались далеко не только в научной среде и были рассчитаны на самую широкую аудиторию. Возникли они еще на заре серьезнейших изменений в отечественной теории и практике государственно-правового строительства. В этих высказываниях достаточно явно просматривается фактическое преобладание мировоззренческого контекста, основанного на западных ценностях, западная ментальность. Кроме того, публичные высказывания о свободе несли в себе явно различимую претензию на программный характер.

Подобные идеи, по сути дела, отражали определенные цели управления страной. Важно отметить, что такое отражение осуществлялось особым образом: через формирование в сознании управленчески значимого числа членов общества принятия определенных идей, т. е., говоря словами бельгийского философа Е. Дюпрееля, посредством распространения значения, соответствующего определенным ценностям, на реальные движущие общественные силы<sup>1</sup>. Но подобное распространение идей осуществимо, только если придать им эмоционально привлекательную окраску. Именно поэтому выбор идеи свободы, имеющей яркую ценностную окраску, не случаен. Такое словоупотребление предназначено для формирования так называемого коннотационного оттенка высказывания. Коннотации представляют собой разновидность прагматического аспекта высказывания, характеризующего не связь между знаком и означаемым (семантический аспект), но отношение к знаку, его значению и смыслу со стороны и того, кто передает, и того, кто принимает информацию в ходе коммуникации. Иными словами, коннотации не столько описывают и объясняют объективную действительность, сколько позволяют управлять симпатиями и антипатиями адресата, причем это не всегда осознается адресатом. Можно сказать и так: подобные эмоционально окрашенные понятия являются не столько инструментами научного

---

<sup>1</sup> Перельман Х. Указ. соч. С. 629.

познания, сколько инструментами манипуляции сознанием. Неслучайно С. С. Алексеев характеризует некоторые научные конструкции не столько в аспекте семантического анализа их научно-теоретической значимости, сколько в терминах приемлемости либо неприемлемых по соображениям, называемым им *морально-политическими*<sup>1</sup>.

В контексте нашего рассуждения видно, что термин «свобода» призван придать термину «право», «право / права человека», «субъективное право» дополнительный коннотационный оттенок. И этот оттенок является позитивным, поскольку призван побудить соответствующих адресатов к позитивной аксиологической оценке прав человека, субъективных прав, объективного права.

Иными словами, выбор интенциональных альтернатив (например, мера свободы, мера несвободы) для описания одного и того же объекта (право) будет определяться (в числе прочих предпосылок) такой целью, как формирование желательной оценки этого объекта (право) со стороны того, кому данная интенциональная альтернатива будет (явно или неявно) адресована.

Проиллюстрируем это следующим примером. Предположим, что существуют два государства («А» и «Р»). В обоих этих государствах есть два одинаковых правовых запрета, например, это запрет на нарушение общественного порядка.

Эти запреты существуют в национальных правовых системах данных государств, т. е. являются элементами этих правовых систем. Объектом описания принято избирать как (1) *конкретный правовой запрет* в некоей изоляции от иных элементов правовой системы государства («А», «Р»), так и (2) *всю национальную правовую систему* (государства «А», государства «Р»).

Наблюдение за обращением информации о государственных, политических, правовых явлениях позволяет сделать вывод о том, что по признакам, присущим некоторым элементам системы, нередко делают вывод о свойствах всей системы («диктаторско-террористическая заданность всей системы»<sup>2</sup>), хотя это и не вполне корректно.

Из этого следует, что рассуждение об одном объекте описания – о праве государства «А» (включающего в себя запрет государственной

---

<sup>1</sup> Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 52.

<sup>2</sup> Алексеев С. С. Уроки. Тяжкий путь России к праву // Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Т. 4: Линия права. Концепция: Сочинения 1990-х – 2009 годов. М.: Статут, 2010. С. 22.

измены, экстремизма, внутреннего терроризма и т. д.) – дает возможность характеризовать его как *меру свободы*.

Рассуждение же о другом объекте описания – о праве государства «Р» (включающего в себя такой же запрет государственной измены, экстремизма и т. п.) – дает возможность характеризовать его как *меру несвободы* и, соответственно, призывать, например, пройти длительный и «тяжкий путь России к праву» (т. е. «к свободе»), «выдавливая из себя раба». Причем идти «к свободе» предлагается в том числе и посредством прямого участия в государственных переворотах, массовых беспорядках, незаконных митингах либо же путем поддержки подобных действий непрямым образом).

Поскольку термин «свобода» имеет явно выраженный позитивный коннотационный оттенок, то выбор альтернативы будет определяться желанием сформировать у определенного субъекта соответствующего отношения к соответствующему государству. Например, если надо к государству «А» сформировать позитивное отношение, то правовой запрет государственной измены, внутреннего терроризма и т. п. будет именоваться «мерой свободы».

А наоборот. Если надо к государству «Р» сформировать негативное отношение, то правовой запрет государственной измены, экстремизма и т. п. будет именоваться «мерой несвободы». Соответственно, такие оценки позволят подготовить, например, сознание управленчески значимого большинства членов соответствующего общества не только к прямой антигосударственной деятельности, но и к одобрению политических, экономических и иных санкций по отношению к государству «Р», актов гражданского неповиновения населения государства «Р» своим властям («душителям свободы») либо к поддержке политической оппозиции / инициатив развития гражданского общества / прав человека / демократии и т. п. в государстве «Р». Если же некая оппозиционная деятельность имеет место в государстве «А», то ее можно подвергать самой жесткой критике, поскольку там право – это «мера свободы» и всякая оппозиция есть посягательство на «бастион свободы».

Несложно заметить, что речь в подобных случаях идет о социальном управлении в форме манипуляции сознанием. Очень пронизательно об этой проблеме высказался американский социолог Герберт Шиллер, причем именно в контексте идей свободы: «Самым

крупным успехом манипуляции, наиболее очевидным на примере Соединенных Штатов, является удачное использование особых условий западного развития для увековечения как единственно верного определения свободы языком философии индивидуализма... На этом фундаменте и зиждется вся конструкция манипуляции»<sup>1</sup>. Тяга к такой манипуляции объяснима, поскольку она имеет весьма жесткую прагматическую подоплеку: «Американскую политическую элиту с самого начала отличало завидное умение убеждать людей голосовать вопреки их собственным интересам»<sup>2</sup>. Впрочем, требуется уточнить мысль Г. Шиллера в том аспекте, что подобное умение присуще *далеко не только американской* политической элите.

Думается, что корни отмеченного прагматизма, формирования коннотационных оттенков, выбора эмоциональных или же аналитических понятий уходят вглубь одной давней гносеологической проблемы. Это различие понимания и объяснения. В рамках решения данной проблемы еще на рубеже XIX–XX вв. формируется новое направление в философии, которое связывают с именами В. Дильтея, Г. Зиммеля, Б. Кроче. Суть этого направления сводилась к поиску реальных различий между естественными науками («науками о природе») и науками гуманитарными («науками о духе»). В ходе такого поиска было установлено, что в «науках о природе» мы еще имеем возможность относительно четко проследить использование гносеологической схемы «субъект (познания) – объект (познания)». Подобная схема позволяет использовать именно объяснение как некую познавательную парадигму. Как указывал Д. С. Милль, «объяснением научного факта признают указание его причины, т. е. установление того закона или тех законов причинной связи, частным случаем которого или которых является этот факт»<sup>3</sup>.

В гуманитарных же науках схема «субъект (познания) – объект (познания)» далеко не столь очевидна. Сам предмет познания, например человеческая деятельность в различных формах, человеческие отношения, является плодом сознания, т. е. в определенном смысле производится сознанием субъекта. В силу этого возникают определенные сложности в отграничении объекта от субъекта познания. Таким образом, в сфере субъективного отражения того, что субъек-

---

<sup>1</sup> Шиллер Г. Указ. соч. С. 25.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Цит по: Вригт Г. Х. фон. Логико-философские исследования. С. 198.

тивно порождено, применимо вовсе не объяснение, но понимание, хотя внешне и понимание, и объяснение могут иметь форму дедуктивных умозаключений.

И если в объяснении имеет место истинностный контекст отношения между утверждением и объектом данного утверждения, то в понимании мы видим тенденцию перехода к ценностному аспекту отношений между самим утверждением и предметом этого утверждения. «Понимание мыслей, переживаний, действий – это подведение их под общие ценности, некоторые нормы, идеалы, стандарты и т. п.» (А. А. Ивин). Подчеркивая необходимость разграничения объяснения и понимания для юридической науки, А. С. Семитко отмечал, что понимание – это интуитивное душевно-духовное переживание и постижение такой же душевно-духовной целостности личности и культуры.

На взгляд автора, подобное различие демонстрирует уход от гносеологической линии методологического монизма, когда единственно верным признается лишь дедуктивно-номологическое объяснение, которое, очевидно, не приемлемо в гуманитарных науках. Данный подход довольно популярен, например, в латиноамериканской философии права, поскольку именно в испано-американской теоретической юриспруденции широко использовались концепции «понимания» и «структуры» Вильгельма Дильтея и его ученика Эдуарда Шпрангера, когда ««понимание» осуществляется не посредством чистого разума, но исключительно интуитивно, притом что именно интуитивное схватывание смысла и значения может привести к формированию мировоззрения<sup>1</sup>.

Вряд ли, однако, это следует считать серьезным недостатком, поскольку думается, что методологический монизм не в полной мере учитывает различие между онтологическими вопросами о предпосылках выбора оснований оценок и гораздо более простыми в постижении вопросами. Например, вопросами о логических преобразованиях оценочных высказываний. Иначе говоря, даже о ценностях можно и нужно рассуждать, следуя научным канонам непротиворечивости рассуждения, когерентности высказываний, доказуемости тезиса и т. д. Именно такой подход и позволяет говорить, например, о логике оценок, логике норм и пр.

---

<sup>1</sup> См.: Кунц Дж. Л. Введение в латиноамериканскую философию права // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 389.

Выделение подобных различий (экзистенциальной и логической проблематики оценок) позволяет, отходя от методологического монизма, говорить не только о дедуктивно-номологическом, но также о целевом и мотивационном объяснении. И именно в таком контексте противопоставление понимания объяснению конструктивным не представляется, поскольку объяснение вполне допустимо использовать также и в юридических науках, хотя и несколько модифицированном виде. Более конструктивным видится подход Х. Перельмана с различением эмоциональных и аналитических понятий и, соответственно, отнесение понятия «свобода» к эмоциональным понятиям с произвольным толкованием в силу исключительной размытости границ смыслового поля.

Таким образом:

1. Если говорить строгим языком методологического монизма, то идею свободы можно относить к идеям, постижимым только через понимание, т. е. к идеям, интуитивно постигаемым, постигаемым на основании разделения общих ценностей. Однако в таком случае понятие «свобода» очень проблематично формализовать, поскольку эмоциональная окраска содержания исключительно сильно затрудняет выбор максимально широкого конвенционального значения и смысла понятия «свобода»; кроме того, методологический монизм исключает объяснение из числа функций общетеоретической юридической науки, что мы полагаем не вполне приемлемым.

2. Если же рассуждать в контексте методологического плюрализма, то сложившиеся обыкновения словоупотребления со всей наглядностью демонстрируют нам эмоциональную окраску термина «свобода», его явно подразумеваемый позитивный коннотационный оттенок. И именно эта коннотационность обычно и вытесняет аксиологическую нейтральность при выборе границ значения и смысла понятия «свобода».

Вместе с тем следует учитывать, что использование целевого и мотивационного объяснения все же не избавляет нас от риска выходить в «экзистенциальное поле» при использовании термина «свобода».

Таким образом, видно, что термин «свобода» (равно как и его производные) в современном (как минимум) социально-философском и политико-правовом контекстах несет столь отчетливо выраженный позитивный идеологический коннотационный оттенок, что это вполне

позволяет относить его к идеологемам, т. е. к терминам, формирующим концептуальные схемы и категории, обуславливающие процессы восприятия, обработки и оценки получаемой информации в том или ином идеологически значимом контексте<sup>1</sup>.

Итак, мы приходим к выводу о нецелесообразности использования термина «свобода» для формулирования смыслового поля понятия «права человека» даже при использовании прагматического аспекта анализа свободы, поскольку в настоящее время отсутствует концептуальная определенность государственного управления и эксплицитный этический монизм, как явно выраженная и однозначно толкуемая иерархия социальных ценностей.

Между тем, отходя от распространенной, но некорректной алетической характеристики субъективных прав, мы вынуждены вновь решать проблему различения и выбора информационного статуса субъективных прав.

Кроме того, поскольку понимание свободы как возможности, по крайней мере, в социально-регулятивном контексте, не является единственно допустимым и, более того, правильным, то это также не отрицает связи ни субъективных прав, ни прав человека и свободы.

---

<sup>1</sup> См. подробнее, например: Нахимова Е. А. Прецедентные онимы в современной российской массовой коммуникации: теория и методика когнитивно-дискурсивного исследования: моногр. Екатеринбург, 2011. С. 194; Вдовиченко Л. В. Идеологемы «Порядок» и «Order»: специфика употребления в российском и американском политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2011. № 4. С. 71; Купина Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. 2000. Вып. 1. С. 183.

## Глава 2. Нормативность прав человека

### 2.1. Проблема нормативности прав человека: методологические замечания

Говоря об относимости прав человека к оценкам, важно помнить, что и «юридическая норма – вид государственной оценки»<sup>1</sup>. И поскольку, с одной стороны, права человека следует относить к правовым феноменам, а с другой – нормы признаются составным компонентом права в любом типе правопонимания, постольку рассмотрим права человека именно в нормативном контексте.

Ранее уже указывалось, что любые нормы являются модальными высказываниями, причем предполагается, что эти высказывания построены не только с помощью таких модальностей, как «обязательно», «запрещено», но и «разрешено». Иными словами, предполагается, что не только обязанности и запреты, но также и субъективное право содержится в норме права. Соответственно, если уж относить права человека к неким особым субъективным правам (как минимум в контексте логического анализа их информационной природы), то вполне обоснованно предположение, что в правовых нормах закреплены и права человека.

Поэтому следует проанализировать нормативную (деонтическую) характеристику прав человека именно как разрешения (дозволения). Однако особенности распространенной в научной литературе характеристики нормативности по отношению к правовым явлениям заставляют предварить анализ нормативной характеристики права человека некоторыми методологическими замечаниями.

Проблематика нормативности права и правовых явлений в той или иной мере рассматривалась в работах Е. Г. Александрова, С. С. Алексеева, М. И. Байтина, В. К. Бабаева, Е. С. Барабашевой, Ю. В. Блохина, В. В. Борисова, А. В. Венгерова, М. Л. Давыдовой, В. Е. Кудрявцева, Ю. В. Кудрявцева, Э. Г. Липатова, Е. А. Лукашевой, А. Б. Мицкевича, А. Ф. Шебанова и других ученых.

Анализ содержания работ указанных авторов позволяет сделать вывод о том, что нормативность рассматривается главным образом

---

<sup>1</sup> Баранов В. М. Истинность норм советского права. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та. 1989. С. 196.

в двух аспектах, которые иногда называют правовой нормативностью и нормативностью права<sup>1</sup>.

В аспекте так называемой нормативности права речь принято вести о технико-юридических особенностях формулирования определенных предписаний. Это предписания *общего* характера. К этим особенностям обычно относят (1) индивидуальную неопределенность адресата, (2) многократность реализации, (3) сохранение действительности независимо от реализации. Выделение именно таких особенностей призвано подчеркнуть важное, по мысли некоторых ученых, отличие нормативных правовых предписаний от предписаний индивидуальных, под коими практически всегда понимаются акты применения права<sup>2</sup>.

В данной связи заметим, что в логическом аспекте анализа индивидуальные и общие предписания схожи настолько, что, например, Г. Кельзен фактически нивелировал столь явно и столь часто подчеркиваемое многими отечественными учеными-юристами различие между общими и индивидуальными предписаниями, когда относил акты применения права к *индивидуальным нормам* права<sup>3</sup>.

Исследования же нормативности в рамках второго аспекта («правовая нормативность») имеют совершенно иной характер. В этом аспекте нормативность рассматривается как объективная необходимость, закономерность, закон развития социальной жизни<sup>4</sup>, как тенденция правового развития<sup>5</sup>, как общее свойство правовых явлений<sup>6</sup>. Отмечая различия между выделенными аспектами нормативности, указывают, что нормативность «не производна от совокупности правовых норм»<sup>7</sup>, хотя связь данных аспектов подчеркивается тем, что «направленность на регулирование вида общественных отношений, постоянный

---

<sup>1</sup> Липатов Э. Г. Нормативность правовых явлений: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. права, 1996. С. 20.

<sup>2</sup> Хотя гораздо точнее подобные акты было бы называть индивидуализирующими, а не индивидуальными.

<sup>3</sup> Kelsen H. Pure Theory of Law. Berkeley and Los Angeles, 1967. P. 230–231, 233–235.

<sup>4</sup> Липатов Э. Г. Указ. соч. С. 8.

<sup>5</sup> Там же. С. 2.

<sup>6</sup> Там же. С. 2.

<sup>7</sup> Давыдова М. Л. Нормативно-правовое предписание как начальный уровень правовой нормативности // Конфликтология. 2011. № 4. С. 101.

характер действия и неперсонифицированность адресата» именуя родовыми универсальными признаками нормативности<sup>1</sup>.

Думается, что такая мысль основана на более общей идее социально-философского характера, причем идея эта имеет весьма серьезное политико-идеологическое и научно-теоретическое значение. И подобная значимость в полной мере соотносится не только с теоретической реконструкцией прав человека, но с политико-правовой и практикой социального управления самых различных масштабов. Данная общая идея в формулировке, например, В. Д. Плахова звучит следующим образом: «Характерной чертой социальных норм, правил является то, что они строятся из общественных отношений»<sup>2</sup>.

В силу этого рассмотрим предпосылки корректности рассуждений о связи или даже о производности двух указанных видов нормативности друг от друга. Предварим подобный анализ достаточно показательным высказыванием советского и российского академика В. Н. Кудрявцева, который в ходе исследования природы правового поведения, указал, что «...в философской и естественной научной литературе под нормой понимается не только общее правило, но и реально существующий тип массовидного процесса, то, что уже сложилось и давно бытует в действительности»<sup>3</sup>.

Более того, В. Н. Кудрявцев фактически говорит о родо-видовом делении двух понятий «норма», когда утверждает, что именно так (и правило, и тип массовидного процесса) можно понимать социальную норму «в широком смысле слова». Иными словами, такая соподчиненность понятий позволит включать все признаки содержания понятия «норма» в ее «широком смысле» (т. е. норма как тип массовидного процесса) в содержание понятия «норма» в ее «узком смысле» (т. е. норма как правило поведения общего характера). Но допустим ли такой подход в логическом аспекте анализа, допустимо ли сопоставлять содержание указанных понятий в таком ключе, возможно ли включать одни признаки в состав других?

---

<sup>1</sup> Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве: на примере нетипичных предписаний: автореф. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 6.

<sup>2</sup> Плахов В. Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории. М.: Мысль, 1985. С. 15.

<sup>3</sup> Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982. С. 17.

Прежде всего, примем во внимание следующее обстоятельство. Норму как тип массовидного процесса следует понимать лишь как некую информацию о том, что сложилось в действительности. Иными словами, норма в таком представлении – это не сами действия или явления, имеющие определенную схожесть и формирующие статистику некоего массового процесса. Норма в таком представлении – это *информация* о чем-то общем, типичном для этих явлений.

Понимать норму в «широком смысле» следует именно так, потому что:

1) фраза «тип массовидного процесса», относя рассуждение к типологизации явлений, логически предполагает это;

2) представляется некорректным сравнивать явления, если мы рассматриваем их онтологический статус в совершенно различных аспектах, т. е. материальный и информационный аспекты бытия явления. Между тем вне контекста сравнения неверно говорить ни о «широком», ни об «узком» смыслах (или понимании) нормы.

Таким образом, было бы правильно сравнивать сопоставимые объекты (как аспекты бытия), т. е. сравнивать информацию одного вида (нормы как предписания, т. е. как правила поведения) с информацией другого вида (нормы как описание того, что является чем-то общим для разных явлений, неких закономерностей в явлениях, процессах, например деятельности людей, и т. д.).

Сравнивая указанные виды информации (в форме высказываний), заметим, что, например, в «Теории языка» К. Бюллера<sup>1</sup> изъяснение, побуждение и репрезентация отнесены к функциям естественного (человеческого) языка. Любое языковое выражение может одновременно выполнять все три функции. Различие же между тремя употреблениями языка определяется тем, какая из указанных функций является доминирующей<sup>2</sup>.

Если рассматривать языковую функцию воздействия, которая имеет и другие наименования: эвокативная (А. А. Ивин, А. Л. Никифоров), регулятивная (Н. Б. Мечковская и др.), волитивная (А. А. Сусов и др.), конативная (Р. Якобсон), апеллятивная (К. Бюлер), то можно заметить, что разновидностью такой функции употребления языка

---

<sup>1</sup> См.: Бюлер К. Теория языка: репрезентативная функция языка / пер. с нем., общ. ред. Т. В. Булыгиной. 2-е изд. М.: Прогресс, 2001. 502 с.

<sup>2</sup> См.: Ивин А. А. Основания логики оценок М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. С. 12.

является прескриптивная (предписывающая) функция. Данная языковая функция и выражается в правовых либо любых иных социальных нормах(-предписаниях). Таким образом, в информационном аспекте одним из вариантов характеристики нормы является отношение ее к информации прескриптивного (предписывающего) характера. Если рассматривать такую информацию в форме высказываний, то мы и получаем определение понятия «норма» именно через правило поведения.

И если мы, соблюдая требование о сопоставимости сравниваемых объектов, рассматриваем второй вариант характеристики нормы, но делая это в том же, т. е. в информационном аспекте, то мы отнесем ее к некой информации о массовидном явлении. При этом видно, что в таком случае речь будет идти об информации дескриптивного (описательного) характера, отражением которой является информативная функция языка. Информация такого характера есть некое суждение, описывающее некоторое положение вещей – дескриптивное высказывание. Главной функцией подобного высказывания является описание действительности в субъектно-предикатной форме:  $S$  есть  $p$  ( $S$  не есть  $p$ ), причем данное высказывание может быть либо истинным, либо ложным.

Но допустимо ли в таком случае говорить о «широком и узком» смыслах понятия «норма»? Или о связи (толкуемой как логическая выводимость) норм-предписаний с нормами-описаниями (массовидных процессов)? Нет, в логическом аспекте это недопустимо. Недопустимо в силу действия так называемого принципа Юма, согласно которому невозможно с помощью одной логики перейти от утверждений со связкой «есть» (описательные утверждения) к утверждениям со связкой «должен» (предписывающие утверждения).

Если же норму во втором варианте понимать не как описание массовидного процесса, но как указание на закономерность (в терминах необходимости), то также недопустимо говорить о связи (в аспекте логической выводимости) норм-предписаний с нормами в алетической интерпретации (нормы, описывающие закономерности, толкуемые как необходимость). Иными словами, недопустимо выводить предписания (обязанности, запреты, разрешения) из возможностей, необходимостей, случайностей. Равно как и наоборот, на что указывалось ранее (нетранзитивность алетических и деонтических модальностей).

Вместе с тем важно отметить, что особенности естественного языка (в котором и формулируются нормативные предложения) требуют учитывать несколько моментов.

Во-первых, нормы-предписания далеко не всегда формулируются логически строго, в связи с чем сами нормативные операторы могут иметь форму различных языковых выражений: «может», «допускается», «должен», «не допускается» и т. д. Иными словами, не всякая информация (в форме высказываний), которая выглядит как норма (-предписание), будет являться такой нормой и не всякое высказывание, выглядящее как описание, будет таковым, но может являться именно нормой(-предписанием). Нормативность-прескриптивность в таких случаях задается контекстом высказываний, контекстом употребления соответствующего предложения. Например, контекст будет представлен нормативно-правовым актом. При этом нельзя смешивать лингво-психологические и логические аспекты высказываний.

Во-вторых, следует различать деонтические и технические долженствования или долженствования практической необходимости (их называют также гипотетическими<sup>1</sup> или целевыми<sup>2</sup> нормами). Общая форма такой гипотетической нормы следующая: «Если Вы хотите быть физически сильным, Вы должны много тренироваться». Технические «долженствования» называют нормами весьма условно, подчеркивая, что «техническое долженствование не является подлинно нормативным понятием»<sup>3</sup>. Таким образом, поскольку так называемые гипотетические нормы могут быть сформулированы в терминах необходимости, то важно учитывать, что из этого не следует логическая связь между необходимостью и нормой-предписанием (неприменимость «старого модализма» Лейбница).

В-третьих, часто вид нормативных высказываний имеют описательные высказывания, в частности описание при помощи слова «должен» каузальных (причинных) связей, например, «если металл нагреть, то он должен расширяться».

Из этой оговорки следует, что описание необходимости через долженствование не относится к нормам(-предписаниям) и не является основой для утверждения о связи необходимости с предписанием.

---

<sup>1</sup> См.: Вригт Г. Х. фон. Указ. соч. С. 324.

<sup>2</sup> См.: Ивин А. А. Основания логики оценок. С. 174.

<sup>3</sup> Вригт Г. Х. фон. Указ. соч. С. 324.

Если речь идет о высказываниях *de re* (высказывания о положении вещей), то возникает проблема неприменимости «старого модализма» Лейбница. В случае же с высказываниями о высказывании (высказывания *de dicto*) возникает проблема недопустимости связи двух нормативностей в силу принципа Юма.

В-четвертых, часто вид нормативных высказываний могут иметь вероятностные характеристики описываемого положения вещей. Например, «послезавтра должен быть снег» и т. д. Из этого следует, что описание положения вещей через вероятностные характеристики, но сделанное в форме нормативных (предписывающих) высказываний, не является основанием для утверждения о наличии логико-семантической выводимости предписаний и описаний вероятностных процессов (принцип Юма).

Таким образом, видно, что понятие «норма», толкуемое как предписание, и понятие «норма», толкуемое как описание типичного, массовидного процесса, – это два совершенно различных понятия, т. е. совершенно различны как смысл, так и значение (объем) этих понятий.

В силу указанного обстоятельства в логическом аспекте недопустимо говорить о том, что одно из этих понятий является шире или уже другого. Эти понятия попросту не сопоставимы. У данных понятий (норма в двух вариантах ее определения) общим является лишь само имя (знак) – «норма». Общее имя для разных значений и смысла иногда встречается в естественных языках и носит название омонимии.

Однако общеизвестность омонимии вызывает вопрос о предпосылках более или менее явного и осознанного игнорирования данной омонимии. Ведь именно подобное игнорирование мы и видим при рассуждении об узости, широте смысла, нескольких аспектах нормативности.

Думается, что попытка совместить предписания с типичностью является лишь одним из отражений весьма специфического варианта разрешения довольно серьезной, можно сказать, концептуальной проблемы. Речь идет о проблеме выявления способов, схем, средств и субъектов управления в управляемых и самоуправляемых процессах в обществе.

В юриспруденции различие в специфике понимания того, каковы в реальности способы, схемы, средства и субъекты управления, зримо

отражается не только в приведенном смещении *правила* поведения и частой статистической его встречаемости, т. е. *типичности* поведения, но также и в целом ряде иных теоретических конструкций.

В частности, различие в представлениях о доле управляемости и самоуправляемости в наблюдаемых социальных отношениях предопределяет ответ на вопрос: существует или нет у правоотношений некая собственная юридическая природа, позволяющая говорить о правоотношениях даже до существования соответствующих норм права? Иными словами, возникают ли правоотношения до появления норм права или же после них, что фактически является предпосылкой ответа на вопрос с гораздо более яркой политико-идеологической «окраской»: законодатель формирует или же только формулирует право?

Можно утверждать, что марксистский подход к реконструкции социальных процессов минимизирует фактор управления в пользу самоуправления протекания социальных процессов, поскольку «Маркс берет за основу представление о системе как самодвижущемся целом...»<sup>1</sup>.

Наиболее ярко это отразилось в теоретической модели, где все общественные отношения делились на базисные и надстроечные отношения. Такая модель, по сути, предлагает схему с причинной зависимостью возникновения, функционирования и развития права (и государства) от экономических процессов: определенный экономический базис неизбежно порождает соответствующую надстройку, в том числе и право. К. Маркс писал: «Ручная мельница дает нам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом»<sup>2</sup>. Соответственно, продолжает он: «Законодатель... *не делает законов*, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных положительных законах внутренние законы духовных отношений»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Левин В. Г. Философский анализ природы и специфики системной детерминации: дис. ... докт. филос. наук. Самара, 1994. С. 12. URL: <http://cheloveknauka.com/filosofskiy-analiz-prirody-i-spetsifiki-sistemnoy-determinatsii-1#ixzz4YGe7CXWA> (дата обращения: 23.08.2023).

<sup>2</sup> Маркс К. Ницета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1955. С. 133.

<sup>3</sup> Маркс К. Проект закона о разводе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1955. С. 162.

В советской юридической науке подобная идея фактически рассматривалась как догма, поскольку «марксистская теория стала марксистско-ленинской теорией государства и права»<sup>1</sup>. Важно заметить, что и по сей день в отечественной юриспруденции в качестве исходных методологических предпосылок описания и объяснения правовой действительности используются такие теоретические модели: раз уж признается, что правотворчество – это часть правообразования как естественно-исторического процесса формирования права<sup>2</sup>, то из этого делается вывод, что «система права как следствие исторического развития – объективный феномен, от воли людей не зависящий»<sup>3</sup>. Из этого вывода делается еще один: правом могут признаваться действия, «которые отличаются качеством нормативности, т. е. объективно необходимы»<sup>4</sup>. Поэтому «законодатель не наделен возможностью по своему усмотрению выбирать инструменты правового воздействия...»<sup>5</sup>. И именно высказывания подобного рода более или менее явно подталкивают нас к весьма определенному выводу о характере связи между двумя рассматриваемыми аспектами нормативности.

В частности, если уж признавать, что нормативность – это объективная необходимость общественной жизни, которая, являясь таковой, *не может не связывать* законодателя, то такая нормативность, по сути, *детерминирует* нормативность в первом аспекте (свойство нормы как предписания общего характера).

В данной связи фраза о том, что нормативность «не производна от совокупности правовых норм»<sup>6</sup>, может рассматриваться не столько как законченная мысль, сколько как предварение прямо противоположного вывода: не нормативность (как статистическая типичность) производна от норм (предписаний), а нормы (предписания) производны от нормативности (статистической типичности).

---

<sup>1</sup> Теория государства и права / под ред. А. И. Денисова. М.: МГУ, 1967. С. 20.

<sup>2</sup> См.: Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. 5-е изд. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. С. 292.

<sup>3</sup> Теория государства и права: учебник / Л. И. Спиридонов. М., 2001. С. 177.

<sup>4</sup> Теория государства и права / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Форум: Инфра-М, 2008. С. 276.

<sup>5</sup> Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс: доктрина, теория, практика: автореф. ... дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 2015. С. 40.

<sup>6</sup> Давыдова М. Л. Нормативно-правовое предписание как начальный уровень правовой нормативности. С. 101.

Подобная мысль имеет четко выраженную прагматическую, политико-идеологическую направленность. При этом, несмотря на многообразие проявлений идеологической функции теории государства и права, было бы неверно отрицать, что данная наука может рассматриваться как модель такой интерпретации реальных фактов в области социального управления, которая позволяет сформировать информационное поле, максимально благоприятное для реализации соответствующей социальной группой определенных управленческих функций. И в этой связи речь может идти, например, о создании информационного поля для апологетики деятельности законодателя. В приведенном контексте совершенно очевидно, что в основе легитимации власти вполне может лежать интегрированная в массовое сознание идея о том, что доля субъективизма и произвола, отрыв от народных чаяний в деятельности законодателя минимальны. Поэтому легко объяснима популяризация через такую культурную среду, как наука, идей о том, что «при издании очередного нормативного акта правотворец озабочен, в первую очередь, необходимостью урегулировать актуализированные в общественной практике общественные отношения»<sup>1</sup>. Причем если исследователь не вводит явные оговорки по вопросу о желаемом и действительном, т. е. о том, описывает ли он существующую реальность или же говорит о некоем желаемом положении вещей, то мы видим довольно явную *априорную* апологетику деятельности «правотворца».

Данная апологетика имеет довольно давнюю историю, и ее истоки имели религиозную окраску. Например, Геродот в своей «Истории» сообщает, что когда-то «в Египте царствовали боги, которые жили совместно с людьми, и один из них был самым могущественным»<sup>2</sup>. В мифах о правлении Кроноса, Зевса, Посейдона, Афины содержатся сходные представления о богах как о первоначальных законодателях и правителях<sup>3</sup>. Сутью земных законов в таких случаях считалось то, что они как явление микрокосма отражают макрокосм, естественно-

---

<sup>1</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права // Вестник ВолГУ. Серия 5. 2009. № 11. С. 13.

<sup>2</sup> См.: История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 15.

<sup>3</sup> Там же.

божественный порядок, справедливость, например, маат (древне-египетская мифология), рта (Ригведа – священные гимны индоариев), дао (древнекитайская мифология), дике (древнегреческая мифология)<sup>1</sup>.

В чем очевидная выигрышность для законодателя и иных представителей политической «элиты» такой интерпретации происхождения юридических законов? В том, что подобные идеи способствуют укоренению в сознании объекта управления – управленчески значимого количества людей (не-элиты) – мифологических архетипов, в рамках которых власть государства воспринималась бы как естественная милость, как доброта «богоподобных титанов», мудро и справедливо правящих простыми смертными.

Иными словами, деятельность «элиты» воспринималась бы «толпой», «плебсом» не столько как преимущественно решительная забота о себе, не как удовлетворение своих вожделиний, как произвол, но как, говоря словами А. Тойнби, небесная свобода чад Божьих. Соответственно, критика закона и законодателя по своей «общественной опасности» может приближаться к богохульству.

К сожалению, подобные представления весьма актуальны и востребованы сегодня, причем как в своем изначальном, религиозном, так и сугубо в светском виде. Например, весьма актуален догмат церковных учений о том, что всякая власть от Бога: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (К Римлянам, 13:1); «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым...» (1 Петр. 2:13–16).

Изменение религиозного контекста на светский не меняет сути рассуждения, и данные схемы функционально аналогичны в аспекте легитимации власти: законодатель (как представитель элиты) выводится из-под критики (не-элиты, «плебса»). Подобная аналогичность не является случайной, если учесть идею К. Шмитта о том, что «все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсисянца. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 16.

<sup>2</sup> Шмитт К. Политическая теология: сб. / пер. с нем., заключит. ст. и сост. А. Филиппова. М.: КАНОН-пресс-Ц., 2000. С. 57.

Если верить в то, что законодатель регламентирует актуализированные в общественной практике общественные отношения<sup>1</sup>, то возникает вопрос: как совместить, например, закрепление в законодательстве США антироссийских санкций (федеральный закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций», одобрен Палатой представителей 25 июля 2017 г.<sup>2</sup>) с тем, что такое закрепление вызывает неприятие довольно широкого круга субъектов той самой общественной практики?

Как известно, пропаганда *нормальности* гомосексуалистов существенно заботит государственный аппарат многих государств, считаемых за цивилизованные, демократические, прогрессивные и т. п.<sup>3</sup> Но правильно ли считать юридическое обеспечение гомосексуальности отражением объективных закономерностей развития общества? Думается, что нет.

Фактически призывая уверовать в то, что «при издании очередного нормативного акта правотворец озабочен, в первую очередь, необходимостью урегулировать актуализированные в общественной практике общественные отношения»<sup>4</sup>, следует учитывать, что наблюдение за жизнью хотя бы в нашей стране подталкивает к несколько иным мыслям о том, чем на самом деле «озабочен правотворец»<sup>5</sup>.

И тем более продуктивно учесть, что проблема так называемого дефицита демократии проявляется, например, в низком уровне доверия граждан к демократическим институтам<sup>6</sup>. В частности, В. Донсбаг, говоря о таком доверии в ФРГ и США к представителям законодательной власти, отмечал: «В начале 1970-х годов многие люди думали, что если ты являешься членом парламента, заседающим в Рейхстаге

---

<sup>1</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 13.

<sup>2</sup> Countering America's Adversaries Through Sanctions Act: Public Law № 115-44 on 2 August 2017. H. R. 3364. URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364> (access data: 27.02.2018).

<sup>3</sup> См.: например, Байден поставил права гомосексуалистов выше национальной культуры. URL: <http://ria.ru/world/20140625/1013474842.html> (дата обращения: 27.06.2023).

<sup>4</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 13.

<sup>5</sup> См.: Соколов-Митрич Д. Депутат – не «крыса», должен делиться // Известия. 2007. 18 сен.; Варсегов Н. Как тверские депутаты обирали свой народ // Комсомольская правда. 2007. 18, 19 сен.

<sup>6</sup> Климова М. И. Роль современных электронных технологий в укреплении представительной демократии // Вестник ВА МВД России. 2017. № 4. С. 13.

в Берлине или, как было до 1999 года, в Бонне, то у тебя обязательно должны быть определенные способности: живой ум, желание делать добро людям»<sup>1</sup>. В настоящее же время настроения существенно изменились и широкие слои общества чаще полагают, что, например, представители законодательной власти – это, скорее, некие дельцы от политики: люди эгоистичные, хитроумные, изворотливые, нежели стремящиеся к общественно полезной деятельности и знающие как этим заниматься.

В данной связи выскажем убежденность в том, что такое положение вещей присуще далеко не только Германии и США. Процессы перетекания власти денег во власть политическую и наоборот имеют сегодня довольно обширную географию<sup>2</sup>.

Учет подобных обстоятельств исключительно важен в научных исследованиях, ибо в противном случае мы рискуем оказаться в плену приятных иллюзий, нежели обладать реальными знаниями об объективной реальности. Однако стремление немалого числа представителей гуманитарной науки к подмене рациональности конъюнктурной целесообразностью создает предпосылки к распространению в сознании довольно широких кругов людей представлений о дефиците профессии, «представители которой предлагали бы людям цельную, понятную картину мира»<sup>3</sup>. Именно поэтому представителям научного сообщества было бы полезно услышать, что восполнение такого дефицита предлагается произвести через журналистов, поскольку «в нашем светском обществе мало кто верит проповедям священников, библиотекари заменены „Википедией“, а к тому моменту, когда новоиспеченные учителя покидают свои альма-матер, их образование, их знания уже и не очень-то актуальны»<sup>4</sup>.

В связи с этим хочется отметить, что методологический потенциал гуманитарных наук, и в особенности юридических, может позво-

---

<sup>1</sup> Донсбаг В. Наука о коммуникации: стадия взросления // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2016. № 1. Т. 1. С. 172.

<sup>2</sup> Идрисова С. Ф. Элитарная девиантность в период общественных преобразований: социологический анализ // Вестник ВА МВД России. 2017. № 4. С. 163.

<sup>3</sup> Быстрицкий А. Информационная ситуация. Как новые медиа влияют на развитие демократии, политической активности и осведомленность людей о происходящих в мире событиях. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2891261> (дата обращения: 18.01.2023).

<sup>4</sup> Там же.

лить производить более соразмерную реальности теоретическую реконструкцию возникновения, функционирования и развития государственно-правовых явлений, нежели это делают журналисты.

Использование подобного потенциала наводит на следующие рассуждения. Представления о большом удельном весе саморазвития исторического процесса, о самоорганизации социальных процессов в большинстве случаев выглядят совершенно необоснованными, если принять во внимание вполне чрезвычайную распространенность в современном социальном управлении различных технологий управления сознанием, в частности технологии манипуляции сознанием<sup>1</sup>.

Вместе с тем думается, что и социальное настоящее, и, особенно, будущее (раз уж за нормами признается функция опережающего отражения<sup>2</sup>) не являются ни неизведанным, ни жестко детерминированным (например, неизменным алгоритмом смены общественно-экономических формаций).

Любое направление течения социального процесса, будучи объективно обусловленным ходом предшествующего развития, является при этом лишь одним из *множества* (хотя и не бесконечного множества) вариантов развития событий. Принципиальная (хотя и не всегда реализуемая каждым заинтересованным субъектом) возможность осознания человеком реальной многовариантности реального будущего объективно предопределяет возможность прогноза многообразия управляемых сценариев социального развития.

Самое главное при этом то, что на основе такого прогноза совершенно естественна возможность включения *субъективного* фактора в процесс управления. А это предопределяет реализуемость лишь одного из множества вариантов *объективно* возможного будущего.

---

<sup>1</sup> См.: например, Грачев Г. В., Мельник И. К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. М.: Алгоритм, 2002. 153 с.; Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: МГУ, 1997. 344 с.; Зелинский С. А. Манипулирование личностью и массами. Манипулятивные технологии власти при атаке на подсознание индивида и масс. СПб.: СКИФИЯ, 2008. 240 с.; Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 832 с.; Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М.: Советское радио, 1973. 92 с.; Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / пер. с англ., науч. ред. Я. Н. Засурский. М.: Мысль, 1980. 326 с.; Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор / пер. с англ. Минск: Полифакт, 1992. 128 с. и др.

<sup>2</sup> См.: Плахов В. Д. Указ. соч. С. 16.

Такая возможность реализуется посредством нейтрализации нежелательных (для субъекта управления социальным процессом) вариантов развития процесса.

Механизмов подобного отсеечения довольно много. В их составе можно найти, в частности, и манипуляцию сознанием, и правотворческую, и правореализационную, и правоинтерпретационную деятельность либо же иные виды деятельности по изменению соответствующих параметров правовой политики и т. д.

Между тем важно понимать, что некий социальный (*субъективно управляемый*) процесс может *выглядеть* как объективный процесс самоуправления, если, например, субъект, вмешивающийся в течение процесса (*субъект управления*), не различим (не отличим от социальной среды для соответствующего *субъекта познания*), а анонимное управление процессом не воспринимается (соответствующим *субъектом познания*) в качестве управления.

Подобная иллюзия некой самоуправляемости и порождается манипулятивным управлением, поскольку:

а) признаком манипулятивного управления считается скрытность (субъект управления не распознается объектом управления);

б) если объект манипуляции сознанием в известной мере теряет возможность осознанного выбора, то поведение этого субъекта (а по сути, жертвы манипуляции) может восприниматься им не как нечто свободно (и субъективно) избранное, но как нечто неизбежное, необходимое («ино выбора не дано»), объективное, как само собой разумеющееся в своей «безальтернативности».

Если при этом согласиться с С. Московичи в том, что так называемая западная деспотия опирается на контроль над СМИ, если признать правоту Г. Шиллера в том, что основным средством социального контроля, например, в США является манипуляция сознанием<sup>1</sup>, а также если согласиться по данной проблематике с иными учеными, то можно заключить, что объекты манипулятивного управления составляют весьма значительную часть общества. Это и является реальной предпосылкой столь широкой распространенности рассматриваемой иллюзии самоуправляемости общественных процессов.

---

<sup>1</sup> Шиллер Г. Указ. соч. С. 35–37.

Сказанное не предполагает полного отрицания (равно как и пользы) самоуправляемости общественных процессов, но предполагает недопустимость построения теоретических моделей с необоснованным расширением реальной доли самоуправляемых процессов в социальных системах.

В связи с этим не следует заниматься фактическим гипостазированием понятия «нормативность» (говоря о «нормативности ситуации» и т. п.) в поисках оправдания соответствующей управленческой направленности норм-предписаний через оправдание постулата о том, что законодатель формулирует, а не формирует право (т. е. постулата о фактической однонаправленности правотворчества) «фактом» включенности поведения законодателя (например) в «объективный» алгоритм смены общественно-экономических формаций (в его марксистской версии).

Следует идти иным путем, когда различие значений и смыслов понятия «норма» (и, соответственно, «нормативность») осуществляется на основе признания *омонимичности* данного понятия, но не на основе признания некой взаимной вложенности его объемов и смыслов (узкий – широкий смысл).

В подобном аспекте, если различать норму как предписание и норму как показатель типичности, повторяемости, закономерности, то признаем, что:

1) нормативность-повторяемость (хотя, думается, что в таком случае точнее говорить о *нормальности*, но не о *нормативности*) не выводима из нормы-предписания ни в семантическом, ни в прагматическом аспекте анализа данной выводимости.

Точно так, например, и реализация нормы (поскольку ее также можно интерпретировать в терминах повторяемости) не выводима из факта наличия нормы, т. е. существует интерпретация, в которой утверждение «если (обязательно  $p$ ), то  $p^1$ » не является истинным. Разумеется, из этого не следует невозможность реализации подобной нормы. Но необходимо признать, что, поскольку так называемая константа Лейбница (*vir bona*) – это лишь допущение, *не* отражающее реальность общезначимо, то такая реализация может быть отнесена всецело к усмотрению субъекта реализации нормы права;

---

<sup>1</sup> Читается как: «если некое поведение «Р» обязательно, то оно всегда существует».

2) норма-предписание (правило поведения) не выводима из каких-либо закономерностей или менее строгих, но статистически значимых повторяемостей («нормальностей») ни в семантическом, ни в прагматическом аспекте анализа данной выводимости. Разумеется, из этого не вытекает невозможность связи предписываемого (в норме-предписании) образа (модели) поведения с образом (моделью), выводимым из ранее сложившегося (повторяемого, типичного) поведения. Равным образом это не означает отрицание существенной практической пользы от указанной связи.

Иными словами, из этого не следует невозможность регулятивной статической функции права или невозможность существенной практической пользы от подобной функции. Но необходимо признать, что формирование права с такой функцией может быть отнесено всецело к усмотрению (произволу – в аксиологически нейтральном контексте) субъекта правотворчества.

Таким образом, исключение взаимовложенности значений и смысла понятия «норма» требует четкого указания на выбираемый вариант интерпретации понятия «норма» и, соответственно, понятия «нормативность».

В настоящем исследовании под нормой (права) будет пониматься исключительно предложение прескриптивного (предписывающего) характера, сформулированное особым образом – имеющее общий характер. Значит, и нормативность, и нормативный характер (и т. п.) будут пониматься в прескриптивной (предписывающей) интерпретации.

## **2.2. Проблемы нормативного начала прав человека: взаимная определимость нормативных модальностей**

Итак, если вести речь о том, что «права человека – это субъективные права...»<sup>1</sup>, то следует рассмотреть вопрос о корректности отнесения прав человека к разрешениям / дозволениям.

Разрешение считается конструкцией, весьма хорошо знакомой социальной науке и практике, поскольку его принято признавать элементом не только юридических, но и других социальных норм.

---

<sup>1</sup> Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. С. 94.

Именно поэтому подобная конструкция известна под названием «оператор нормативности» («нормативный оператор»)<sup>1</sup>. Данный оператор различают в логике норм наряду с такими нормативными операторами, как «обязательно» и «запрещено», причем вне зависимости от того, идет речь о правовых или каких-либо иных нормах.

Подчеркнем, что в строгом, сугубо логическом контексте выделяют не более трех нормативных операторов: «разрешено», «обязательно» и «запрещено». Важность данного замечания применительно к правовой сфере обусловлена следующим обстоятельством. Поскольку нормы права формулируются в естественном языке, а правила техники правотворчества соблюдаются при этом далеко не всегда, постольку сами нормативные операторы в естественном языке обычно принято выражать с помощью иных языковых выражений: «может», «допускается», «должен», «не допускается» и т. д. В таких случаях характер содержания устанавливается исходя из контекста употребления соответствующего предложения, т. е. в естественно-языковом выражении нормативных высказываний решающую роль играет контекст, в котором выражается норма.

Когда этим контекстом является нормативно-правовой акт, в котором находится такое неудачно сформулированное высказывание, то надо использовать системное толкование и текста, и контекста данного высказывания, что и позволяет установить, является ли подобное высказывание нормой права или же нет.

Иными словами, если речь идет о норме (права), то оператор нормативности существует всегда, вне зависимости от особенностей словоупотребления для формализации соответствующей нормы права. И этот оператор может являться либо запретом, либо обязанностью. Но утверждение о том, что этот оператор является разрешением, вызывает серьезные вопросы, и потому именно проблеме отнесения разрешения к нормам, к прескрипциям общего характера и будет посвящен нижеследующий анализ.

Начнем с того, что операторы нормативности имеют свойство взаимной определенности. В ситуации с взаимной определенностью (правовой) обязанности и (правового) запрета никаких теоретических трудностей не возникает.

---

<sup>1</sup> Называемые также «деонтический оператор», «деонтический модус», «оператор нормативности» (см. Герлох А., Кнапп В. Логика в правовом сознании / под ред. и со вступ. ст. А. Б. Венгерова; пер. с чешского. М.: Прогресс, 1987. С. 187).

В частности, если мы назовем некое нормативно предписываемое поведение термином «А», то можно получить следующие способы выражения нормативных высказываний друг через друга<sup>1</sup>:

– выражение «**обязательно А**» соответствует выражению «**запрещено не А**»;

– выражение «**запрещено А**» соответствует выражению «**обязательно не А**». Такую обязанность принято именовать негативной.

Однако взаимная определимость, взаимная выразимость указанных операторов в случаях с оператором «разрешено» несколько иная. Преобразования разрешений сопряжены с определенными сложностями, требующими существенных оговорок, которые в полной мере применимы и к юридическому контексту.

В частности, выражение «**разрешено А**» соответствует выражению «**не обязательно А**» и одновременно «**не запрещено А**». На подобную взаимную определимость указывалось еще в дореволюционной юридической литературе, когда отмечалось, что отмена запрещения – есть дозволительная норма<sup>2</sup>. Г. Кельзен называл подобное «дозволение» дерогационной правовой нормой (от лат derogatio – отмена) в том контексте, что подчеркивал: лишь дерогационное дозволение может рассматриваться как предписание.

Однако, на взгляд автора настоящей работы, здесь присутствует очень большая неточность.

Что мы видим в данном случае? В случае с обязанностями и запретами взаимная определимость выражена через **отрицание поведения**. «Запрещено А» выразимо через «обязательно **не-А**». «Обязательно А» выразимо через «запрещено **не-А**».

Если же говорить об отрицании поведения посредством разрешения, то мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. По сути дела, только в ситуации с разрешением мы видим, что одновременно предписывается как поведение, так и его отрицание. А именно – «разрешено А» предполагает выражение «разрешено не-А». Это выглядит не вполне корректно, если речь действительно идет о **предписании**. Иными словами, если говорить о разрешающей **норме (предписании)**, то данной нормой предписывается одновременно и

---

<sup>1</sup> Это также называют эквивалентными преобразованиями данных высказываний.

<sup>2</sup> См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / сост., автор вступ. ст., коммент. А. Н. Медушевский. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. С. 183.

поведение и воздержание от него. Для других нормативных операторов такие симбиозы невозможны в силу своей внутренней противоречивости (абсурдности). И такая абсурдность исключает рациональные основания построения нормативных систем, поскольку нормативная система не отвечает требованиям рациональности, если в данной системе одновременно существуют нормы «запрещено А» и «запрещено не-А» или «обязательно А» и «обязательно не-А». Однако получается так, что разрешение радикально отличается от обязанностей и запретов тем, что именно разрешение одновременно допускает как некое поведение «А» и воздержание от него.

Если относить разрешение к предписаниям, то каким образом можно нарушить это предписание? Ответ очевиден. Данное предписание нарушить невозможно ни делая «А», ни воздерживаясь от «А». Но из этого следует, что отношение между предписанием и его реализацией будет носить *в рассматриваемом аспекте* случайный характер. Иными словами, разрешение, допуская как поведение «А», так и его противоположность, вообще не является предписанием. Именно поэтому иногда отмечается: такой тип разрешения, как правило, не имеет смысла и нежелателен с точки зрения законодательной техники<sup>1</sup>.

Рассмотрим еще один проблемный аспект взаимоопределимости в ситуации с разрешением. В то время как взаимоопределимость обязанностей и запретов происходит через *отрицание поведения*, взаимность разрешения происходит через отрицание иного характера. *Это отрицание нормативной модальности* (деонтической модальности): «разрешено А» соответствует «*не* запрещено А и *не* обязательно А».

Однако в таком случае происходит отрицание... того, что делает высказывание предписанием! Отрицание того, что делает высказывание нормой (если это предписание общего характера). Иными словами, признание разрешения нормой заставляет нас принять парадоксальную идею о наличии *нормативного регулирования через отрицание нормы*. Да, нормативной модальностью можно отрицать некое поведение. И это глубоко отражает суть правового предписывающего регулирования общественных отношений. Но разрешение нельзя выразить посредством других операторов нормативности

---

<sup>1</sup> См.: Герлох А., Кнапп В. Указ. соч. С. 200.

через отрицание именно поведения. Разрешение выразимо лишь через отрицание нормативности.

Но данным «неудобством» проблемы в подобном отрицании не исчерпываются. Более того, думается, что следующая проблема несколько серьезнее. Дело в том, что с точки зрения логической строгости, выражения «не запрещено *A*» и «не обязательно *A*» не вполне корректны. В более корректной форме высказывания «не запрещено *A*» и «не обязательно *A*» выглядят так: «ложно, что запрещено *A*» и «ложно, что обязательно *A*». И даже если признавать корректность высказываний «не запрещено *A*» и «не обязательно *A*», то они останутся тождественны высказываниям «ложно, что запрещено *A*» и «ложно, что обязательно *A*». Перед нами не что иное, как проблема истинности норм права.

В отечественной юриспруденции шла довольно обширная дискуссия по поводу допустимости (недопустимости) считать правовые нормы истинными (либо ложными). Некоторые авторы принципиально полагают, что вполне допустимо считать правовые нормы истинными либо ложными (например, В. М. Баранов, Н. Н. Вопленко и др.). Другие же авторы (например, А. Ф. Черданцев) категорически отрицают возможность такой характеристики правовых (да и любых иных) норм, как «истинность» / «ложность».

Думается, что столь существенные разногласия обусловлены общефилософскими методологическими предпосылками, а именно используемой концепцией истины. Поскольку автор в настоящем исследовании опирается на классические представления об истинности как гносеологической характеристике мышления в его отношении к своему предмету, то он неизбежно солидаризируется с идеей о том, что нормативным высказываниям как таковым (т. е. высказываниям *de re*) нельзя приписывать значения «истинно» или «ложно». Это доказывает, что (в контексте классической концепции истины) выражения «не запрещено *A*» и «не обязательно *A*» нормами не являются. Данные выражения не являются предписаниями. Это описания (дескрипции), а потому им вполне допустимо приписывать значения «истинно» / «ложно». Иными словами, осуществление преобразований нормативных модальностей позволяет увидеть, что разрешения в логическом аспекте имеют свойства описаний. При этом очень важно то, что разрешение взаимопределимо с выражениями, которые нормами не являются.

Это доказывает, что разрешения являются *не предписаниями*, но *описаниями*. В частности, они могут быть представлены как некие *описания* норм, т. е. как нормы de dicto. Хотя, если говорить точнее, то речь следует вести об описании *отсутствия* норм. Но в этом случае совершенно очевидно, что разрешения / дозволения – это не нормы в строгом смысле слова.

Однако стоит учесть, что существуют и иные концепции истины и эти концепции вполне могут быть признаны полезными и конструктивными. Но даже если мы примем иную концепцию истины как минимум в контексте нашего рассуждения, то следует учитывать два важных момента.

Во-первых, смена концепции истинности не может дать основания для отрицания применимости классической концепции истины при познании предмета юридической науки. Значит, в случаях с высказываниями «*не запрещено А*» и «*не обязательно А*» применение иной концепции истины не даст оснований отрицать то, что данные отрицания не являются нормами с точки зрения классической концепции истины.

Во-вторых, применение в юриспруденции иной концепции истины не даст оснований полагать, что из высказывания «*разрешено А*» логически *следуют* высказывания «*не обязательно А*» (ложно, что «*обязательно А*») и «*не запрещено А*» (ложно, что «*запрещено А*»). Дело в том, что такое следование является формально-логическим и применимо не к нормативным, но к описательным высказываниям.

И даже если мы будем вести речь об описании именно норм права, то можно заметить, что существует риск смешения языков. Ведь как указывалось ранее, нормы права (нормы de re) принадлежат к высказываниям в *объектном* языке – в языке права. А описания норм права / их отсутствие, например описание в рамках юридической науки (нормы de dicto), принадлежат к высказываниям *метаязыка права*. Иными словами, выявление в ходе исследования взаимной определмости «перехода» разрешения из норм de re в нормы de dicto (в описание норм, точнее – в описание их отсутствия) фактически обнаруживает принадлежность разрешения в данном контексте *к объектам метаязыка права, а не объектного языка, которым и является язык права*.

Рассмотрение определмости запретов и обязанностей через разрешение в несколько ином аспекте позволяет выявить и несколько иную проблему.

Проанализируем первое следствие, касающееся взаимной определенности разрешения с иными нормативными операторами.

Выражение «*обязательно А*» соответствует выражению «*не разрешено не А*».

Выражение «*запрещено А*» соответствует выражению «*не разрешено А*». Однако заметим, что это соответствие верно не для любого случая. Дело в том, что существуют ситуации, когда выражение «не разрешено А» может толковаться *диаметрально противоположным* образом! Иными словами, выражение «*не разрешено А*» в одном случае можно интерпретировать как «*запрещено А*», но в другом – толковать равно противоположным образом – как «*не запрещено А*». В силу этого Г. Кельзен подчеркивал, что некорректно полагать выражения «не запрещено» и «разрешено» эквивалентными<sup>1</sup>.

Добротную методологическую основу для решения данной проблемы «раз и навсегда» предложил Г. Х. фон Вригт. Прежде всего, ученый отметил, что нам следует ясно понимать, какой задан контекст рассуждения: имеем ли мы дело с нормами-предписаниями либо с нормами-высказываниями, точнее, с «*дескриптивно интерпретируемыми нормами-формулировками*»<sup>2</sup>.

Если это нормы-высказывания, то «не запрещено» толкуется как описание. Это описание отсутствия запрещения, т. е. «утверждать, что отсутствие запрещения равносильно разрешению, – значит высказывать утверждение на уровне норм-высказываний...»<sup>3</sup>, поскольку «„отсутствие“ есть описательное понятие»<sup>4</sup>.

Если же говоря «это не запрещено», мы даем *предписание*, то мы разрешаем что-либо сделать<sup>5</sup>. Эту же мысль выражал Г. Кельзен, когда говорил о разрешении как о функции дерогационных норм<sup>6</sup> (правовых норм, отменяющих или ограничивающих действие иных правовых норм).

---

<sup>1</sup> См.: Kelsen H. General Theory of Norms. P. 98–101.

<sup>2</sup> Вригт Г. Х. фон. Указ. соч. С. 301.

<sup>3</sup> Там же. С. 300.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> См.: Kelsen H. General Theory of Norms. P. 106.

Соответственно, выражение «не разрешено» понимается не как *описание* отсутствия разрешения, а как *предписание* – запрет поведения. В этом случае формула «запрещено все, что не разрешено» выражает регулятивные, предписывающие свойства, т. е. репрезентирует именно правовой режим.

Вригт фактически подчеркивает различие норм *de re* и норм *de dicto*, о котором говорилось ранее, и это весьма важное, но довольно тонкое различие нечасто учитывается в юридических науках. Однако при сложных, многоэтапных теоретических построениях это может вести к не вполне корректным выводам и даже к противоречиям. Например, к противопоставлениям тех типов правового регулирования, которые по своей сути логически тождественны. И *в основе* данной ошибки лежит именно допустимость различного понимания природы разрешений.

Вместе с тем представляется важным уточнить указанные идеи Вригта, но применительно как минимум к юридической науке. Это позволит отразить те свойства юридических разрешений (дозволений), которые особенно важны именно *в контексте юридической науки и практики*.

Суть уточнений юридического характера сводится к тому, что некорректность отождествления разрешений и субъективных прав даже на уровне формального анализа нормативных операторов может быть обусловлена проблемой ограничения предмета правового регулирования. Данная некорректность основана на ограничении применительно к праву некоторых интерпретаций принципа деонтической полноты. В частности, в одной из интерпретаций этот принцип звучит так: «Относительно любого действия верно, что разрешено или выполнять его, или воздержаться от него». Проблемность такой формулировки заключена в порождении ею ряда следствий.

Во-первых, это затрудняет различие разрешения и неурегулированности.

Во-вторых, это порождает представление о различии тех правовых режимов, между которыми в реальности различий нет.

### 2.3. Проблема нормативности прав человека: юридическое разрешение и юридическая непредписанность

Итак, из признания описательного характера высказывания «*не запрещено А*» и «*не обязательно А*» следует то, что в контексте классической концепции истины это – не более чем нормы *de dicto*, т. е. мы фактически получили формулировку «ложно, что запрещено А» и «ложно, что обязательно А». Более точно – «нет обязанности совершить А» и одновременно «нет запрета совершить А». Еще точнее – ложно, что «обязательно А», и одновременно ложно, что «не запрещено А».

По сути дела, если речь вести о юридических обязанностях / запретах, то это описание того, что некое поведение «А» вообще находится *вне пределов правового регулирования* через (правовые) запрет и обьявление.

Но это предполагает иную формулировку принципа деонтической полноты: всякое поведение является или обязательным, или запрещенным, или безразличным. Тем не менее в этом случае следует четко понимать, что формулировка «всякое поведение является или обязательным, или запрещенным, или разрешенным» могла бы быть признана аналогичной формулировке «всякое поведение является или обязательным, или запрещенным, или безразличным». Однако, если и только если будет четкое понимание того, что при нормативной безразличности, т. е. при отсутствии правовой предписанности, мы видим вариативность интенциональной характеристики одного и того же объекта. Иными словами, называть некое поведение *разрешенным* можно с таким же успехом, как и *не разрешенным* (т. е. мы будем описывать то, что отсутствует правовое регулирование в виде разрешения). И допустимость такой вариативности в интенциональной характеристике одного и того же поведения будет обусловлена лишь тем, что то исключительно в том смысле, что разрешение не признается нормативным оператором.

В противном случае такая формулировка принципа деонтической полноты, как «всякое поведение является или обязательным, или запрещенным, или безразличным» является некорректной. Дело в том, что если уж в юриспруденции чаще принято считать, что юридически разрешенное, дозволенное поведение является правомерным, т. е. разрешение предполагается имеющим нормативный характер, то это подразумевает истолкование принципа деонтической полноты именно

абсолютным образом – вообще любое поведение мы будем вынуждены считать юридически значимым. Но, в свою очередь, такой вывод, будучи вполне приемлемым в семантическом аспекте анализа, будет очень проблематичен в прагматическом аспекте. Суть проблемы в том, что это не согласовывается с политико-идеологическими обоснованиями широты предмета правового регулирования – мы получаем теоретическую возможность расширения предмета правового регулирования практически до бесконечности. А это особенно проблематично в контексте рассуждений о гражданском обществе.

Таким образом, для понимания реального значения разрешения наиболее уместным представляется следующее толкование принципа деонтической полноты: «всякое поведение или запрещено, или обязательно, или (нормативно) безразлично», но без отождествления его с формулировкой «всякое поведение является или обязательным, или запрещенным, или разрешенным», т. е. без признания разрешения нормативным оператором.

В этом смысле более корректным будет утверждение о том, что нормативно безразличное поведение *не разрешено* в том смысле, что *отсутствует его предписанность, причем как* в форме разрешения, так и в форме запрета и обязывания, т. е. такое поведение не разрешено, не обязательно и не запрещено. Такое поведение является юридически безразличным (в более общем контексте – нормативно безразличным).

Подобное толкование разрешения вслед за Г. Кельзенем можно было бы назвать негативным разрешением. Но правильно ли, используя модель правовых норм *de dicto* и *de re*, говорить о негативном разрешении *de dicto* (говорить о запрете *de dicto* с ложным значением, т. е. фактически о выражении «ложно, что запрещено А»)? Мотивом для использования конструкции с нормой (хотя и с нормой *de dicto*) здесь может быть лишь стремление придать (негативному) правовому разрешению схожесть с предписанием. Это, в свою очередь, может быть обусловлено стремлением к теоретическому обоснованию наличия так называемого либерального правового режима (разрешено все, что не запрещено).

Итак, отрицание разрешения требует специальной оговорки относительно варианта его толкования – дескриптивной или же прескриптивной. Именно в этом смысле мы и приходим к парадоксальному выводу, что выражение «*не разрешено А*» можно понимать совершенно

различно – как «*запрещено А*» (при дескриптивной интерпретации, т. е. при предписании) и как «*не запрещено А*» (при описании отсутствия предписания).

Думается, что приведенное различие можно было бы также выразить следующими языковыми формами: в повелительном наклонении – «*не разрешаю*» («не разрешено А» de re) и в описательном наклонении – «*нет разрешения*» («не разрешено А» de dicto).

Но дополнительно уточним, что высказывание «нет разрешения» может *описывать* как *наличие* нормы de re (описание того, что деонтический авторитет «не разрешает нечто / запрещает нечто»), так и *отсутствие* нормы de re – отсутствие нормативного предписания, т. е. такое выражение будет элементом следующего полного высказывания: «нет ни разрешения, ни обязывания, ни запрета».

Кроме того, если говорить о норме de re применительно к высказыванию «не разрешаю» как минимум в правовом контексте, то его можно понимать как схематическое выражение предписания общего характера (норму права), а также в буквальном смысле – как индивидуальное правовое предписание («Разрешите обратиться / идти / войти и т. д.?» – «Не разрешаю»).

В данном случае речь идет о ситуациях, когда взаимодействующие субъекты состоят в отношениях субординационного типа. Простейшим из примеров является обращение к прямому или непосредственному начальнику: «Разрешите обратиться / войти и т. д.?»

Что здесь означает обращение за разрешением? Это, по сути, просьба ввести ограничение на запрет, т. е. просьба ввести дерогационное разрешение. Однако подчеркнем, что подобное ограничение иногда интерпретируют в несколько ином ракурсе, говоря о том, что буквальное разрешение – это условное обязывание («водителю *разрешено* останавливать машину лишь справа по ходу движения» на самом деле есть выражение «если водитель решил остановиться, то он *обязан* сделать это лишь справа по ходу движения») или же (что то же самое) имплицитный запрет («водителю *запрещено* останавливаться иначе, чем справа по ходу движения») <sup>1</sup>.

В данном случае это некий общий запрет <sup>2</sup> – «входить запрещено». Но при этом есть нормы, наделяющие некоторого субъекта полномо-

---

<sup>1</sup> См.: Герлох А., Кнапп В. Указ. соч. С. 196.

<sup>2</sup> Термин «общий запрет» используется в юридической литературе, например, С. С. Алексеевым, но для описания несколько иной ситуации, о чем будет сказано далее.

чиями ограничивать общий запрет. Поэтому более точно норма звучит как «(без разрешения) входить запрещено (не входить)». Но что значит обращение «разрешите»? Это можно понимать как просьбу о разрешении. Но в какой сфере? Здесь и проявляется двойственность. Это либо сфера, которая урегулирована нормой права в данной ситуации или же им не урегулирована.

Да, в рассматриваемом нами случае предпосылка для однозначного ответа уже задана: эта сфера урегулирована правом. Это общий запрет – «(без разрешения) не входить». Но подобная предпосылка может быть и неочевидной, т. е. явно не заданной. А поэтому и ответ «не разрешаю» также допускает двойственное толкование.

Первый вариант толкования фразы «не разрешаю» означает, что нет разрешения, нет запрета, нет обязывания. Иными словами, этот вариант означает, что поведение «входить» («не входить») вообще *не урегулировано*. А надпись «без разрешения не входить» не репрезентирует правовое предписание, но репрезентирует нечто иное, не относящееся в данной ситуации к сфере правового регулирования. Например, взгляд на собственную значимость автора надписи.

Второе толкование фразы «не разрешаю» означает, что уполномоченный субъект (адресат обращения) не ограничил действие общего запрета относительно спрашивающего субъекта (в данное время и т. п.). Иначе говоря, фразой «не разрешаю» никакого запрета не вводится, но эти слова означают *продолжение действия общего запрета*.

Вместе с тем некоторые дополнительные сложности в анализ различения разрешенности и непредписанности вносит различие между сильными и слабыми разрешениями, притом что теоретическая проработка в юридической науке данной проблематики (в отличие от логико-философских исследований) практически отсутствует.

К слабому («молчаливому»<sup>1</sup>) разрешению (некоего поведения А) принято относить то разрешение, *о котором делается вывод* на основании отсутствия запретов (поведения А) и обязанностей (поведения А). Слабое разрешение явным образом (т. е. непосредственно в форме разрешающей, позволяющей нормы) *не* формулируется<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Герлох А., Кнапп В. Указ. соч. С. 202.

<sup>2</sup> См.: например, Ковалевич О. С., Лисанюк Е. Н. К вопросу о роли позволений в логике норм и философии права // Логико-философские штудии. 2012. Вып. 10. С. 135–145.

В отличие же от слабого, сильное разрешение – это формально определенное, текстуально выраженное дозволение, дозволение *expressis verbis* в некой системе норм. Иногда такое разрешение также называют буквальным<sup>1</sup>.

Как легко заметить, так называемое слабое разрешение – это фактически описание отсутствия запрета. Заметим также, что дихотомия (как логическая операция) позволяет разделить любое поведение на запрещенное (запрет делать, запрет воздерживаться делать) и незапрещенное.

Незапрещенное поведение в рамках данной модели как раз и относят к слабому разрешению. Из этого следует, что к слабо разрешенному поведению будет относиться любое поведение, не являющееся запрещенным. Иными словами, признание наличия слабого разрешения позволяет вместо термина «нормативно безразлично» употреблять термин «молчаливо разрешено»<sup>2</sup>. Таким образом, признание слабого разрешения ведет нас к выводу о том, что любое поведение будет правовым. Исключительно редкое для юридической литературы указание на такую корреляцию между толкованием разрешения (когда мы признаем так называемое слабое / молчаливое разрешение) и принципом деонтической полноты (нормативного безразличия) применительно к праву дали, например, В. Кнапп и А. Герлох, когда подчеркнули, что признание в (социалистическом) праве принципа «разрешено все, что не запрещено или не урегулировано правом» неизбежно ведет нас к выводу о том, что в праве нет нормативной безразличности<sup>3</sup>, а это в настоящее время не согласуется с существующими представлениями о масштабах государственного вмешательства в социальное управление.

Еще одна проблема, порождаемая неизбежным (при принятии идеи о слабом разрешении) выводом об отсутствии нормативной безразличности, – это представление о различии тех правовых режимов, между которыми в реальности различий нет. При этом вопрос о правовых режимах (о типах правового регулирования) особенно важен в силу его исключительной политизированности. Достаточно вспомнить тот факт, что еще до радикальных преобразований государственно-правовой действительности, связанных с разрушением СССР

---

<sup>1</sup> См.: Герлох А., Кнапп В. Указ. соч. С. 195.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 202–203.

и формированием новых государств, в советской юридической науке появились научные работы, в которых присутствовали взаимоисключающие идеи. С одной стороны, в данных работах явно просматривались идеи апологетики советского типа права как неизбежно высокого достижения в линии социального прогресса, как достижения, неизменно превосходящего достижения в государственно-правовой действительности капиталистического мира.

И одновременно, с другой стороны, общий ход рассуждения многих ученых не только подводил «теоретический фундамент» под грядущий распад страны, но и, по сути, фактически оправдывал его.

Между тем игнорирование теоретических изъянов, ведущих к логико-структурным деформациям юридической науки, является прекрасной основой не только для утраты юридической наукой предмета своего исследования, но и подрыва авторитета и без того скептически воспринимаемой политико-прагматической функции общей теории государства и права.

Поскольку различие типов правового регулирования фактически ставится в зависимость от количества и соотношения запретов и дозволений, причем особенно в зависимости от включения в подобные дозволения прав человека, то рассмотрим данные феномены в большей степени через призму логического анализа их природы, нежели в русле аргументации с помощью догматических идеологем.

Как было уже показано, существуют интерпретации, которые позволяют считать выражение «*разрешено* А» эквивалентным выражению «*не запрещено* А» и выражение «*запрещено* А» эквивалентным выражению «*не разрешено* А».

Видно, что последнее выражение явно указывает на созвучие данного преобразования (взаимоопределимости) с правовым режимом, имеющим такие названия, как «запретительный», «разрешительный», «деспотический». Суть этого режима (тип правового регулирования) принято выражать формулой – «запрещено все, что не разрешено».

Совершенно очевидно, что приведенная абстрактная схема взаимоопределимости («запрещено» означает «не разрешено») показывает, что выделение некоего типа правового регулирования, некоего нормативно-правового режима, основанного на данной схеме, просто неправильно. И некорректно, в силу того что речь идет о дихотомии! О дихотомическом противопоставлении этих режимов – «все право-

вые режимы или запретительные, или дозволительные». И подобное противопоставление весьма симптоматично явно выражено в их названии, чаще используемом в философской литературе – либеральный и деспотический режим. Это противопоставление «режима свободы» и «режима диктатуры».

И парадокс заключается в том, что *любой* из выделяемых режимов допустимо характеризовать посредством *любой* из приведенных формул (т. е. и формулой «запрещено то, что не разрешено», и формулой «разрешено то, что не запрещено»). Иными словами, данные режимы выглядят даже не схожими, но идентичными, если отождествлять характеристику правового режима со схемой взаимоотноимости. Но из этого следует некий парадокс очевидного и невероятного. Того, что считается очевидным в силу своей исключительной важности в идеологическом аспекте, по сути, не существует. Иначе говоря, не существует оснований, позволяющих давать традиционно позитивные оценки одним государствам и негативные оценки – другим. Не существует и столь высоко чтимого режима свободы, так называемого общедозволительного, либерального режима, если идентифицировать его через принцип «разрешено все, что не запрещено».

В попытке обойти подобные трудности С. С. Алексеев отмечает, что для введения режима общего запрета («запрещено все...») или общего дозволения («разрешено все...») необходимо установить исключения<sup>1</sup>. Другими словами, С. С. Алексеев полагает, что общедозволительному регулированию присуща следующая связь правовых дозволений и запретов: необходимо определить закрытый перечень правовых запретов, вводящих исключения из общего правового дозволения.

Разрешительному регулированию присуща аналогичная связь запретов и дозволений: необходимо (с точки зрения С. С. Алексеева) установить закрытый перечень правовых разрешений, вводящих исключения из общего правового запрета.

Следует четко понимать, что С. С. Алексеев, описывая эти режимы (называемые им типами правового регулирования), не описывает каких-либо неизбежных логико-структурных связей в системе право-

---

<sup>1</sup> См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 93.

вых предписаний, поскольку никаких исключений из запретов или разрешений в логико-структурном контексте не требуется. Но С. С. Алексеев говорит скорее о процессах правообразования, о том, как обосновано соображениями внутренней и внешней политики государства то или иное содержание правовых предписаний, т. е. об определении того, что именно следует допускать и запрещать, где уместны исключения, а где нет.

Вместе с тем С. С. Алексеев делает это весьма неудачно, поскольку смешивает нормы *de re* и нормы *de dicto*. В частности, он отмечает, что юридическим запретам и дозволениям в «зонах интенсивного правового регулирования» противостоят их «юридические противоположности» (также соответствующие запреты или дозволения). В так называемых же зонах слабого правового регулирования юридическим запретам и дозволениям именно *противостоит* непредусмотренность (незапрещенность)<sup>1</sup>.

Причем, с одной стороны, С. С. Алексеев различает выражения «не вправе» (что функционально аналогично, например, норме *de re* – «не разрешено», т. е. запрещено) и «нет права» (что функционально аналогично, например, норме *de dicto* – «нет разрешения», т. е. вообще не предписано). А с другой стороны, говорит об этом различии норм *de re* и норм *de dicto* (хотя он и не употребляет такую терминологию) неопределенно, указывая на «четкие, но не абсолютные различия» между непредусмотренным и запрещенным. Но данный подход совершенно не допустим, поскольку если развивать такой ход мысли С. С. Алексеева, то мы будем вынуждены признать отсутствие пусть и абсолютных различий, но все же именно отсутствие различий между урегулированным и неурегулированным, между наказуемым и ненаказуемым поведением.

В силу этого думается, что в ситуациях с описаниями и предписаниями, урегулированным и неурегулированным, правомерным и противоправным границы четкие, ступенчатые (дискретные). Различие между «непредусмотренным» и запрещенным может быть только четким, бескомпромиссным. Компромисса в виде обращений к тому, что различия не абсолютны, не только не требуется, но подобный «компромисс» вреден, поскольку вводя его, С. С. Алек-

---

<sup>1</sup> Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 72.

сеев вполне закономерно приходит к утверждению, что существует «нечто среднее» между юридическим дозволением и юридическим запретом – «нечто просто незапрещенное»<sup>1</sup>.

Если все же допустить уравнивание непредусмотренности и незапрещенности, не нарушая законов логики, то мы пойдем по пути описательной интерпретации формулы «разрешено все, что не запрещено». Но данный подход порождает другую серьезную проблему. Подобная *описательная* интерпретация означает то, что правовой режим (тип правового регулирования), который мы называем общедозволительным, вообще лишается предписывающих свойств. Однако этот неизбежный вывод неминуемо приобретает свойства абсурдного в контексте не только правового, но и вообще нормативного регулирования, поскольку, лишая с помощью подобной интерпретации либеральный правовой режим предписывающих свойств, мы уже не можем называть такой режим ни правовым, ни вообще нормативным, что совершенно неприемлемо.

В связи с этим вполне работоспособным остается утверждение о том, что в формулировках прав человека в той их части, которую принято называть правомочием положительной деятельности, мы видим не предписание, но указание на юридически непредписанное пользование определенным благом.

Таким образом, думается, что в поисках нормативного (в прескриптивной интерпретации) характера субъективных прав следует рассмотреть иные аспекты связи правовых разрешений (дозволений) с другими нормативными высказываниями.

#### **2.4. Проблема нормативности прав человека: правовое разрешение-полномочие**

Показанная теоретическая уязвимость слабых разрешений побуждает признавать разрешение «чем-то „сверх и более“ простого отсутствия запрещения»<sup>2</sup>. Описанные теоретические проблемы взаимной определенности нормативных операторов также побуждают ученых выделять несколько разновидностей дозволений, но именно как позво-

---

<sup>1</sup> См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 68.

<sup>2</sup> Вригт Г. Х. фон. Указ. соч. С. 250.

лений<sup>1</sup>, а кроме того, различать несколько отличных друг от друга функций дозволения: (а) собственно позволение; (б) наделение властью, предполагающее издание новых норм; (в) иерархизация нормативных систем<sup>2</sup>. Иными словами, в таких случаях некоторые ученые различают разрешение-позволение, разрешение-полномочие и разрешение-метанорму.

Предпосылки нахождения подобных различий можно увидеть еще в античной политико-правовой мысли. В частности, на такую идею наводит само отражение в соответствующей терминологии различий между властью-кратос (указание на данное слово содержится, например, в понятии «демократия») и властью-архэ (указание на это слово содержится, например, в понятии «монархия»). В древнегреческих философско-онтологических представлениях идеи об ἀρχή (архэ) как о некоем древнем первоначале мира отчасти пришли на смену идеям о хаосе (как о таком же начале).

В настоящее время, например, этимологический словарь Х. Фриска дает следующие варианты смыслов термина «архэ»:

- 1) начало, источник, происхождение;
- 2) господство, власть, правительство, правление.

Производными этих двух значений, соответственно, становятся слова ἀρχαῖος – «изначальный, первоначальный, старинный, древний, старый» и ἀρχικός – «к власти принадлежащий, к власти пригодный»<sup>3</sup>. Из этой же корневой группы греческого языка произведен и термин ἄρχω, который можно перевести как «быть первым», причем как в смысле «начинать, приступать» (аспект генезиса и времени), так и в смысле «господствовать, править» (аспект власти). То есть значения «начало» и «власть» сочетаются и в этом слове. Тот же корень в греческом языке порождает название как «деятеля» ἀρχός – «вождь, предводитель», так и должности ἄρχων, ἄρχοντος – «архонт»,

---

<sup>1</sup> См.: например, Кислов А. Г. Динамический подход к деонтической логике: семантика деонтических операторов // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2013. Т. 13. Вып. 3. С. 20–36; Кислов А. Г. Интенциональная семантика действий, норм и санкций // Мир человека: нормативное измерение – 3. Рациональность и легитимность: сб. тр. междунар. науч. конф., Саратов, 13–15 июня 2013 г. Саратов: КУБиК, 2013. 358 с.

<sup>2</sup> См.: Ковалевич О. С., Лисанюк Е. Н. Указ. соч.

<sup>3</sup> Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band I. Heidelberg: Carl Winter-Universitätsverlag, 1960. S. 158.

«начальник, правитель, глава»<sup>1</sup>. Впрочем, иногда утверждается, что связь первоначала и власти столь тесна, что древнегреческая философия, по сути, «санкционировала власть как онтологическую необходимость»<sup>2</sup>. Заметим, что схожая связь проявляется в русских терминах «начало» и «начальник», т. е. начальник изначально имеет право-власть повелевать.

Далее теоретизирование по поводу этих же различий можно увидеть, например, у И. Бентама, который говорил об уполномочивании как не только о привилегии (выбора между поведением и воздержанием от поведения), но и наделении властью<sup>3</sup>.

В отечественной юридической науке эта же мысль довольно явно поддерживалась, когда речь шла о властно-императивных дозволениях, с переводом интерпретации субъективных прав в «плоскость политической власти»<sup>4</sup>, где они выражают (говоря марксистской лексикой) экономическое и политическое господство<sup>5</sup>.

Думается, что на сегодняшний день наиболее обстоятельно о проблематике разрешений-полномочий и разрешений-метанорм высказался аргентинский ученый (российского происхождения) Е. В. Булыгин. В статье «Разрешающие нормы и нормативные системы»<sup>6</sup> ученым воспроизводятся и уточняются некоторые положения работы К. Э. Альчуррона и Е. В. Булыгина «Нормативные системы», опубликованной в 1971 г.<sup>7</sup> и переведенной на русский язык лишь в 2011 г.<sup>8</sup> Следует отметить, что «Нормативные системы» признаются (главным образом в зарубежной юридической и философской академической

---

<sup>1</sup> Beekes R. *Etymological Dictionary of Greek*. Vol. I. Leiden-Boston: Brill, 2010. P. 145.

<sup>2</sup> Петрова Г. И. *Метафизика власти* // *Вестник Томского государственного университета*. Серия «Культурология и искусствоведение». 2015. № 4. С. 60.

<sup>3</sup> См.: Бентам И. *Введение в основания нравственности и законодательства* / пер. с англ., предисл., примеч. Б. Г. Капустина. Серия «История политической мысли». М.: РОССПЭН, 1998. С. 279.

<sup>4</sup> Алексеев С. С. *Общие дозволения и общие запреты в советском праве*. С. 30.

<sup>5</sup> Там же. С. 34.

<sup>6</sup> См.: Булыгин Е. В. *Разрешающие нормы и нормативные системы* // *Российский ежегодник теории права*. 2010. № 3. СПб.: Юрид. книга. С. 437–449.

<sup>7</sup> См.: Alchourron C. E., Bulygin E. *Normative Systems*. Springer Springer-Verlag, 1971. 208 p.

<sup>8</sup> См.: Альчуррон К. Э., Булыгин Е. В. *Нормативные системы* / пер. с англ. М. В. Антонова; под ред. Е. В. Булыгина, Е. Н. Лисанюк // *Российский ежегодник теории права*. 2010. № 3. СПб.: Юрид. книга. С. 307–470.

среде) одним из самых влиятельных трудов в области теории права и логики норм.

В частности, Е. В. Булыгин считает, что неверно рассматривать разрешение исключительно как нечто вторичное по отношению к обязанностям. Ученый полагает, что разрешения (позволения) выполняют, кроме того, функции первичного полномочия по изданию норм, авторизации (своеобразное делегирование правотворчества, наделение властью издавать нормы), а также функции иерархизации нормативных систем, т. е. установление иерархии между несколькими нормативными системами, когда разрешение выступает в роли некоей метанормы. Однако думается, что в модели, предлагаемой Е. В. Булыгиным, присутствуют определенные теоретические изъяны. Рассмотрим их.

Для демонстрации дополнительных (кроме собственно дозволения) функций разрешения Е. В. Булыгин приводит модель, где существуют три субъекта: «Король», «Министр», «Подданный». «Король» в данной модели имеет неограниченную власть управлять действиями «Подданного» при помощи норм. В этом случае речь идет о разрешении-полномочии (полномочие на первичное правотворчество). «Король» делегирует правотворческие полномочия «Министру», наделяя его властью издавать нормы в отношении «Подданного». Это разрешение-авторизация. Вместе с тем подобное разрешение-авторизация ограничено тем, что «Министр» не уполномочен издавать нормы, противоречащие нормам «Короля». При таких условиях, по мысли Е. В. Булыгина, разрешение выполняет функции иерархизации, т. е. устанавливает приоритетность норм, изданных «Королем», перед нормами, изданными министром. Проанализируем данные разрешения.

Характеризуя первичное (начальное) полномочие (издавать нормы), следует определиться: ведем ли мы речь о слабом (молчаливом) типе разрешения или же о сильном, эксплицитном.

Если мы допустим, что полномочие суверена («Короля») издавать нормативно-правовые предписания относится к разрешению слабого типа (отчасти выражаемый формулировкой «все, что не запрещено – разрешено»), то мы неизбежно сталкиваемся с двумя проблемами.

Первая неоднократно отмечалась ранее и заключается в том, что если мы говорим о слабом разрешении в юридическом контексте,

то мы необоснованно расширяем предмет правового регулирования (теоретически – до бесконечности). Если мы исходим из того, что это проблема скорее идеологическая, а потому она нас в семантическом аспекте анализа не останавливает, и потому мы продолжаем говорить о слабом разрешении, то, тем не менее, опять столкнемся с проблемой.

Если начать рассуждение о характере первичного полномочия с некой условной отправной точки, образно говоря, с «нулевого уровня нормативности», когда еще не издано каких-либо предписаний (хотя мы и говорим о наличии слабого разрешения), то, характеризуя статус всех трех рассматриваемых субъектов в смысловом поле нормативных предписаний, мы можем говорить, что и у *всех* подданных «Короля» есть точно такое же право (в форме слабого разрешения) издавать нормы.

Можно увидеть, что подобное состояние вполне точно описывается в контексте идей, например, Томаса Гоббса. Это фактически естественное состояние, в котором все «люди равны от природы»<sup>1</sup>. Данное состояние было названо естественным, поскольку оно характеризовалось отсутствием именно неприродных, т. е. искусственных ограничений, в виде, например, норм права. И как раз отсутствие нормативных правовых ограничений характеризуется формулой «все имеют право на все»<sup>2</sup>. Е. В. Булыгин говорит об этом естественном состоянии так: «В начале игры Подданному разрешены все действия... в пределах его (физических) возможностей»<sup>3</sup>. Как несложно понять, это право именно в форме слабого разрешения. Фактически это произвол каждого (произвол – в нейтральном аксиологическом смысле).

Но для целей нашего анализа (в контексте модели Е. В. Булыгина) нам достаточно из данного множества всех (слаборазрешенных) деяний выбрать лишь такое поведение, которое касается издания норм. Это означает, что и каждый «Подданный» имеет слабое разрешение издавать нормы (обязанности, запреты) в отношении «Короля». Это действительно так, поскольку запретов и обязанностей в отношении

---

<sup>1</sup> Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и сущность государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 2 / сост., ред., автор прим. В. В. Соколов; пер. с лат. и англ. Н. Федоров, А. Гутерман. М.: Мысль, 1991. С. 93.

<sup>2</sup> Там же. С. 110.

<sup>3</sup> Булыгин Е. В. Разрешающие нормы и нормативные системы. С. 437–449.

иных персонажей в модели Булыгина («Подданных» и «Министра») еще нет, т. е. еще нет запретов «Подданному» употреблять алкоголь (в примере Е. В. Булыгина), нет запретов посягать на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество суверена и т. д. Но самое главное – еще нет запрета *издавать нормы* права в отношении суверена. Подобного же запрета нет и в отношении «Министра».

Но в таком случае в контексте слабого разрешения-полномочия на издание норм права нет никаких различий между «Королем» и остальными субъектами. В этом и есть суть противоречия. Если мы желаем подчеркнуть различие между данными субъектами в модели Булыгина, то мы говорим о различии между субъектами, указывая на «наиболее высокий авторитет», «неограниченный характер власти» и т. д. одного субъекта («Короля») и отсутствие указанных признаков у всех иных субъектов. Далее, Булыгин совершенно корректно уточняет эти отличительные признаки («неограниченный характер власти», «наиболее высокий авторитет»), используя своеобразный «общий знаменатель» – «разрешение», т. е. он выражает данные признаки в смысловом поле нормативного регулирования (посредством нормативных предложений). А именно, «неограниченный характер власти» («Короля») описан в терминах полномочий по изменению *нормативного статуса поведения* «Подданного».

Что это означает? «Неограниченный характер власти», авторитетность (суверенитет, власть) «Короля» проявляются в том, что «Подданным» запрещено издавать нормы, регулирующие поведение вообще кого бы то ни было: «Короля», «Министра» либо иных «Подданных». В таком случае у «Подданного» действительно нет (ни сильного ни слабого) разрешения издавать нормы, так как есть соответствующий запрет. Иными словами, поскольку слабое разрешение распространяется *на всех*, то в приведенном контексте эта модель не работоспособна.

В таком случае рассмотрим работоспособность модели с использованием сильного разрешения. В отношении всех иных, нежели «Король», субъектов ситуация с сильным разрешением относительно проста. У данных субъектов нет разрешения и в сильном смысле, т. е. нет эксплицитного, явно выраженного разрешения издавать нормы в отношении «Короля». Однако если мы условимся говорить в рассматриваемой модели именно о сильном разрешении и только

о сильном разрешении (для всех участников игры), то возникнет проблема: а как быть теперь с таким ее персонажем, как «Король»? Мы ведь не можем говорить о наличии у «Короля» сильного, эксплицитного разрешения (издавать нормы). В противном случае мы нарушаем контекст рассуждения, нарушаем «условие игры» как теоретической модели, которую Е. В. Булыгин использует для объяснения. Дело в том, что сильное разрешение неизбежно поднимает вопрос о деонтическом авторитете, т. е. об источнике этого предписания (если считать разрешение предписанием). Но введение (неизбежного в случае с сильным разрешением) деонтического авторитета нарушает условие игры – *неограниченность власти* «Короля», поскольку мы фактически признаем существование власти более высокой (как минимум в аспекте нормотворчества), нежели власть короля. Это недопустимо, так как власть его неограниченна.

Избежать противоречия по вопросу о суверенности власти «Короля» можно лишь в одном случае. Это некий комбинированный вариант, когда применительно к «Королю» мы будем вести речь о разрешении в слабом смысле, а по отношению к остальным – в сильном. Только тогда (а) устраняется вопрос о деонтическом авторитете (субъекте, наделяющем «Короля» полномочием издавать правовые предписания) и (б) «Король» обособляется от «Подданных».

Между тем следует помнить о проблеме, упоминавшейся ранее. Если мы допускаем так называемое слабое разрешение (наделяя им лишь «Короля») и при этом считаем слабое разрешение нормативным предписанием (нормой – как предписанием общего характера), то подобный путь с неизбежностью позволяет нам расширять предмет правового регулирования до сколь угодно дальних границ. Расширяя так (через введение слабого разрешения) предмет правового регулирования, мы фактически убираем смысловые препятствия в том, чтобы ввести в предмет правового регулирования поведение не только людей. Это вообще может быть поведение не только любых живых существ, но и иные любые феномены. Если же мы не хотим лишать нормативно-правовое регулирование рациональных оснований, то целесообразнее использовать возможность бескрайнего расширения круга (слабо) разрешенного поведения несколько иначе.

В частности, то, что принято называть (как минимум слабым) разрешением, является вовсе не разрешением-предписанием (норма-

тивного характера). Но является своеобразным указателем выхода поведения соответствующего субъекта за пределы соответствующих нормативных предписаний, т. е. выражением (например, описанием) того, что «разрешенное» поведение *находится за пределами предмета нормативного правового регулирования*. Подобный выход за пределы соответствующих нормативных предписаний и позволяет расширять круг (теперь уже) неурегулированного поведения без смысловых дефектов.

Это же можно описать несколько иначе и называть слабое разрешение способом указания на нахождение соответствующего поведения в некоей «сфере произвола». В данном случае становится достаточно очевидной связь между таким пониманием слабого разрешения и неограниченной (нормативными предписаниями) властью. И это дает нам достаточно адекватное описание модели, предложенной Е. В. Булыгиным, а именно, поведение самого короля, суверена (в части полномочий издавать нормы) выходит за пределы поля правового регулирования. «Король» (суверен) свободен от нормативных ограничений и действует в режиме произвола (как минимум в нейтральном аксиологическом смысле).

Но и в этом подходе есть теоретический изъян. В частности, мы характеризуем статус субъекта верховной власти («Короля») не через нормативные регуляторы (обязанности и запреты), а через их отсутствие. Иными словами, статус «Короля» характеризуется не предписаниями, а лишь описанием отсутствия предписаний, т. е. формулируется через такие выражения, как «нет запрета» (точнее, «ложно, что есть запрет»), «нет обязанности» (точнее, «ложно, что есть обязанность»). Как видно, здесь говорится, по сути, именно о статусе лица, свободного от каких бы то ни было правовых предписаний. Можно сказать и так, что речь идет *не* о позитивно-правовом статусе. В таком случае мы выходим на необходимость описания положения суверена в ином смысловом поле, нежели *de dicto* норм позитивного права. Это важное замечание, поскольку проблематичность использования смыслового поля *de dicto* норм позитивного права побуждает нас использовать иное смысловое поле, например поле социологической, психологической или иной характеристики власти суверена. И здесь следует отметить особое методологическое значение перехода в иное смысловое поле при выборе средств описания

и объяснения моделируемой ситуации. Подобный переход весьма наглядно демонстрирует, что, с одной стороны, слабое разрешение в виде *полномочия издавать первичные нормы права вообще не относится к предписаниям* и не позволяет выявить некий новый аспект для возможности относить юридическое разрешение к правовым предписаниям в целях характеристики прав человека именно в таком свете.

Но, с другой стороны, это позволяет увидеть довольно любопытный аспект характеристики именно прав человека при попытке поставить их над позитивным правом. Как можно заметить, внесение именно властного контекста в так называемые слабые разрешения позволяет увидеть не только неограниченность, но и своеобразную автократичность власти «Короля». Впрочем, сделаем оговорку о том, что такой термин (*автократичность*) может быть оправдан в силу того, что именованная власть и связанных с ней явлений посредством термина «кратос» распространены гораздо шире, нежели рассмотренный ранее термин «архэ». При этом видно, что описываемая особенность власти суверена («Короля») тяготеет к смысловому полю такого понятия власти, как «архэ», чем такого понятия власти, как «кратос», хотя бы потому, что родовым термином для обозначения должностного статуса «Короля» является термин «монарх».

Итак, представляется вполне корректным вести речь не столько о слабом разрешении, сколько именно о проявлении автократичности власти субъекта. К сожалению, конструктивный познавательный потенциал термина «автократичность» можно считать жертвой, принесенной политико-идеологическим манипуляциям с терминами «свобода» и «демократия». Например, «эксперты» рейтинговых агентств выставляют «оценки» различным странам по шкале с такими полюсами, как «демократия» и «автократизм». Кроме того, подобную шкалу для ранжирования стран используют «эксперты» проекта «Свобода в мире» («Freedom in the World», FW) как наиболее известного проекта «Freedom House», когда оценивают различные аспекты реализации в соответствующей стране политических прав и гражданских свобод.

Иными словами, зачастую (преимущественно в научных работах западных авторов) автократичность понимается как синоним авторитаризма, фактически толкуемый как неприверженность некоторым

либеральным принципам<sup>1</sup>, как характеристика «традиционных обществ»<sup>2</sup> либо автократичность понимается как «недемократичность» вообще.

В нашем случае автократичность означает лишь самовластность как особый механизм обретения власти<sup>3</sup>, при котором не требуется ни проведения выборных процедур, ни использования иных способов замещения должностей в публичной иерархии структурной власти. При этом как минимум в контексте данной работы не будет устанавливаться каких-либо прямых или косвенных зависимостей механизма обретения власти с приверженностью / отвержением каких-либо либеральных принципов или ценностей. Под автократичностью не будет также подразумеваться и связываемая с этим термином в психологической науке приверженность преимущественно таким формам воздействия на людей, как отдание приказов, указаний, наказаний и пр.

В модели Е. В. Булыгина автократичным субъектом является «Король», *(само)уполномочившийся издавать первичные нормы права*, но эту идею вполне можно распространить и на носителя прав человека. В этом контексте мы будем рассматривать власть как реализуемую на практике способность управлять, а управление как изменение интересующих управленца параметров протекания соответствующих процессов в соответствующем объекте управления, притом что все сущее в социальном мире есть процессы и их сочетания. Вместе с тем управление как деятельность сознательно-волевая неизбежно предполагает постановку целей и выработку концепций их достижения. Данные концепции могут включать в себя самые различные способы, схемы и средства управления, в силу чего далеко не всегда люди, образующие как объект управления, так и социальную среду (в которой пребывает объект и субъект управления), идентифицируют субъект управления в качестве такового.

---

<sup>1</sup> См.: Локшин И. М. Политические режимы и качество функционирования государства // Полития. 2011. № 4. С. 87.

<sup>2</sup> См.: Спенсер Г. Основания социологии // Западноевропейская социология XIX века / под ред. В. И. Добренкова. М., 1996. С. 300–303.

<sup>3</sup> См.: Солонько И. В. Бесструктурный способ управления концептуальной власти: технология контекстного управления общественными связями // Вестник СПбУ МВД России. 2013. № 2. С. 213.

Кроме того, эти люди (объект и среда) далеко не всегда различают субъекта управления и инструмент управления в руках этого субъекта, поскольку для такого различения требуется распознавание иерархии контуров циркуляции и преобразования информации в процессе осуществления управляющего воздействия.

В самом общем виде в основании разделения управленца и его исполнительного модуля (инструмента управления, в том числе к инструменту управления вполне можно отнести человека / группы людей, занимающих должности в органах публичной власти как инструмента) лежит иерархия контуров циркуляции и преобразования информации в процессе осуществления целевых функций управления. Именно поэтому определить, кто перед нами (управленец или исполнительный модуль, инструмент), можно как раз исходя из анализа иерархии контуров информационного обмена о целеполагании и, соответственно, эффективности достижения целей управления, т. е. эффективности деятельности, релевантной целеполаганию. В самом общем виде схема выявления управленца выглядит так: тот, кто ставит цели, а затем их достигает, и есть управленец, даже если этот субъект управлял, образно говоря, не своими руками, но используя чужие руки. Причем, принимая во внимание взаимосвязь социальных процессов, можно заметить, что субъект управления всегда ситуативно контекстуален.

Из этого следует, что субъект управления всегда контекстуален, т. е. обретение статуса управленца всегда привязано к конкретному социальному контексту («ты правишь, и тобой правят»). Иными словами, управление может осуществляться и без образования на юридической основе неких управленческих структур (выражающих публичную иерархию власти), когда объект управления четко видит, «кто отдает ему команды». Более того, созданные на юридической основе управленческие структуры в системе публичной иерархии власти могут быть использованы как инструменты управления в непубличной иерархии власти (например, в руках промышленно-финансовой олигархии и иных групп влияния). Такая непубличность и является одним из проявлений автократичности (например) неструктурного управления (неявной, имплицитной власти). Но для того чтобы разделить субъекта и инструмент управления, следует понимать, что автократичность включает в себя эффективность деятельности субъекта управления по целеполаганию (исключающему

различные его дефекты типа инверсии приоритетов и т. п.), а также по выбору наиболее уместных способов, схем, средств управления, что в целом можно охарактеризовать как управленческую состоятельность. Образно говоря, в основе автократичности лежит эффективность, а не нормативность.

И именно в этом было бы правильно характеризовать различие статусов «Короля» и иных субъектов в модели Е. В. Булыгина. Причем подобную схему вполне допустимо использовать и для описания прав человека.

В этом случае, если носитель прав человека управленчески состоятелен, то права человека можно охарактеризовать как обусловленное автократичностью власти человека как носителя прав человека притязание на юридически обеспеченное удовлетворение потребностей носителя права (человека) в контексте признаваемой данным носителем модели социального взаимодействия, как элементе определенной политико-правовой доктрины (концепции).

Таким образом, сам человек как носитель неких прав является автократичным субъектом управления, субъектом неявной, имплицитной власти, неструктурного управления.

Притязание можно рассматривать как:

а) элемент информационного модуля, характеризующего цель данного субъекта управления («удовлетворение потребностей»);

б) элемент информационного модуля, характеризующего неструктурное управленческое воздействие как информацию, направленную на стимулирование соответствующей деятельности соответствующих органов, например государственной власти, как *инструмента* (а не субъекта) управления в механизме юридического обеспечения удовлетворения потребностей субъекта управления (выраженных в соответствующем целеполагании). Более подробно особенности данного информационного модуля будут рассмотрены далее.

Модель социального взаимодействия (субъекта со средой и объектом управления) как элемент определенной политико-правовой доктрины (концепции) создается субъектом управления или же выбирается из имеющихся<sup>1</sup> по своему произволу. И именно этот выбор

---

<sup>1</sup> Важно заметить, что в этом случае можно вести речь о существенном уменьшении реальной автократичности субъекта управления, поскольку «идеи правят миром», т. е. *чужие* идеи правят *его* миром, т. е. он управляет в русле созданной кем-то концепции социального взаимодействия, т. е. действует в русле созданных кем-то алгоритмов взаимодействия при более или менее явном осознании этого факта.

субъекта управления (носителя прав человека) предопределяет следующий этап выбора – выбор способов, схем и средств управления, что, в свою очередь, и предопределяет особенности названных притязаний.

Если же носитель прав человека управленчески несостоятелен, а потому неавтократичен, то права человека следует интерпретировать как указание на притязание на юридически обеспеченное удовлетворение потребностей в контексте модели социального взаимодействия, описанной определенной политико-правовой доктриной (концепцией).

Указание на притязание будет осуществляться иным субъектом управления, который в данном контексте и будет автократичным. В частности, такое указание будет исходить от какой-либо общественной организации либо же от спонсоров или «кураторов» подобной организации. Например, от ордена *Le Droit Humain* («Право человека»), который был основан во Франции в середине 19 века. Важно понимать, что в рамках так называемого контекстуального управления формируется именно тот контекст, который позволяет любому субъекту воспринимать чужие решения как собственный выбор. И к составным элементам такого контекста относится, в частности, модель мира (соответствующего контексту масштаба), которая формируется не столько как эмпирический опыт, как отражение реальной жизни, сколько как отражение искусственной жизни, как отражение мировоззрения и миропонимания иных субъектов. Например, (реальных) хозяев СМИ.

Соответственно, сформированная картина мира будет являться фундаментом, методологической основой для формирования потребностей. Говорить о формировании потребностей, т. е. говорить об ограниченности их естественной природы допустимо, поскольку весь исторический опыт развития человечества наглядно демонстрирует нам, что далеко не все и далеко не всегда потребности имеют лишь независимую от социального контекста биологическую природу.

Далее, сформированная модель мира (миропонимание и мировоззрение) будет также являться методологической основой для формирования соответствующего потребностям целеполагания (вариантом интерпретации целеполагания как раз и выступают притязания – «список желаний»). Кроме того, эта же модель мира будет являться

основой представлений об этапах достижения поставленных целей-притязаний. Элементами этих представлений будут идеи (в форме любых информационных модулей) о том, какова роль соответствующих органов, например государственной власти<sup>1</sup>, в механизме юридического обеспечения удовлетворения потребностей субъекта управления (выраженных в соответствующем целеполагании) в контексте соответствующей модели социального взаимодействия.

Следует еще раз подчеркнуть, что сутью того, что названо неявной (имплицитной) властью, неструктурным управлением, является неидентифицируемость объектом управления этой власти, этого субъекта управления, что в нашем случае означает, например, то, что так называемый носитель прав человека воспринимает соответствующие *чужие* идеи как *свои*.

Иными словами, если носитель прав человека управленчески несостоятелен, то он не субъект управления в отношении тех притязаний, которые выражены в соответствующих правах. А потому носитель данных прав не выбирает притязания, не выбирает схемы, средства, способы управления, не выбирает и модели социального взаимодействия. Он их не выбирает в том смысле, что все указанные информационные модули «уже выбраны», т. е. вписаны в метаконтекст, сформированный реальным субъектом управления. И даже если есть некая вариативность содержания соответствующей информации, то в данный метаконтекст вписаны все управленчески значимые варианты данного содержания. Заметим, речь идет не вообще обо всех теоретически возможных вариантах, а именно о тех вариантах, которые вероятностно предопределенно будут избраны тем количеством субъектов, которое будет действовать в соответствии с вектором целей субъекта управления («волей субъекта управления») в допустимых пределах отклонений (т. е. без срыва управления).

Что же касается *разрешения-авторизации* (делегирования полномочий издавать нормы права) в контексте рассматриваемой модели Е. В. Булыгина, то нам потребуются уточнения.

---

<sup>1</sup> В данном случае нецелесообразно вести речь о том, различает ли носитель прав человека субъекта управления и инструмент управления.

Можно выделить два режима авторизации, толкуемой как наделение кого-либо полномочиями издавать нормы права. Первый режим сходен с моделью, описанной Гоббсом в его органической теории государства, где суверен (как носитель верховной власти) обладает неделимой и непередаваемой кому-либо властью<sup>1</sup>. И хотя суверен вполне может наделить своих министров полномочиями издавать нормы права, эти министры в гоббсовой модели авторизации остаются такими же слугами суверена, как и остальные подданные. При аналогии государства с человеческим организмом роль «должностных лиц и иных представителей судебной и исполнительной власти» подобна роли рук и ног («суставов») в организме искусственного человека (Левиафана), которые лишь выполняют указания суверена («души») и полностью подчинены ему<sup>2</sup>. Толкование данной авторизации в смысловом поле нормативных предписаний позволяет рассматривать ее не как (делегированное) *разрешение* издать норму права, т. е. не как (сильное) разрешение-авторизацию, но как *обязанность* издать такую норму, т. е. обязанность командовать (точнее, транслировать команды суверена). В этом случае подобную авторизацию нельзя рассматривать как права человека, хотя вполне допустимо рассматривать в механизме их реализации.

У такого режима могут быть различные вариации, обусловленные особенностями формулирования обязанности командовать. Данные особенности определяются особенностями набора управленческих средств. В нормативном смысловом контексте речь идет лишь об *обязанностях выбора альтернатив*, т. е. об обязанностях выбора вариантов поведения (для определения наиболее эффективного пути достижения поставленной сувереном цели). В определенном смысле это имеет сходство, например, с правоприменительным усмотрением, хотя зачастую такое усмотрение ошибочно определяют через *право / свободу* выбора<sup>3</sup>, но не об обязанности выбора из нормативно опре-

---

<sup>1</sup> См.: Гоббс Т. Указ. соч. С. 135, 141.

<sup>2</sup> Там же. С. 6.

<sup>3</sup> См., например, Подмосковный В. Д. Правовая основа судебного усмотрения по российскому законодательству (вопросы теории и практики): автореф. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 10; Степин А. Б. Судебное усмотрение в частном праве (вопросы теории и практики): автореф. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. С. 8.

деленных альтернатив. Однако толкование дозволений в контексте такого режима авторизации не позволяет определять права человека через подобное дозволение, так как это, по сути дела, не дозволение, но обязанность.

Вместе с тем вполне допустим и другой режим авторизации, когда «Король», используя свой произвол (ошибочно называемый разрешением-полномочием), вводит в режим произвола «Министра», т. е. в некотором аспекте «Король» уравнивает с собой «Министра». Уточним, что термин «вводит» (в режим произвола) нет возможности интерпретировать в смысловом поле нормативных предписаний, хотя подобное действие Г. Кельзен пытался характеризовать именно через специфически понимаемое разрешение – как дерогационную норму, т. е. отменяющую (например, запрет) норму. Как видно, это в большей мере походит на разрешение-полномочие.

И данную модель полномочия вполне допустимо использовать для описания прав человека, хотя и с оговоркой на отсутствие автократичности субъекта-носителя полномочий. Однако при этом можно легко заметить идеологическое препятствие на подобную трактовку прав человека. Суть препятствия в том, что поскольку автократичный субъект-носитель полномочий авторизует неавтократичного субъекта, постольку это весьма походит на так называемую откороированность прав человека, что, в свою очередь, предполагает отрицание естественного характера данных прав. Между тем следует понимать, что никакие громкие слова о естественности и неотъемлемости прав человека не смогут наделить автократичностью того, у кого ее нет. А без автократичности власти можно говорить как максимум об одном из описанных вариантов авторизации, т. е. фактически лишь об откороированности полномочий / притязаний / прав. Если рассматривать данную откороированность в информационном аспекте, т. е. выявлять информационный статус откороированных полномочий / притязаний / прав, то это будет уже описанный выше вариант с **указанием на притязания** (указание на притязание на юридически обеспеченное удовлетворение потребностей в контексте модели социального взаимодействия, описанной определенной политико-правовой доктриной (концепцией)).

## 2.5. Проблема нормативности прав человека: взаимная связь прав и обязанностей

Ряд ученых высказывает мысль о существовании довольно специфического варианта связи прав и обязанностей. Например, Л. Д. Воеводин утверждает, что нераздельность свободы и ответственности обуславливает единство прав и обязанностей<sup>1</sup>. Рациональная связь свободы, толкуемой как возможность, с нормативными предписаниями проявляется лишь в том, что невозможное не может вменяться в обязанность. Иными словами, в данном случае свобода будет являться не более чем условием разумности нормативных систем, и именно в этом смысле она будет связана и с обязанностями, и с запретами, и с ответственностью. Но она не будет являться содержанием прав и обязанностей. Разрешение вести себя неким конкретным образом (П) аналитически предполагает разрешение воздержаться от поведения (П), т. е. юридическая ответственность за поведение «П» не предусматривается.

Таким образом, видно, что «нераздельность свободы и ответственности, обуславливающая единство прав и обязанностей»<sup>2</sup>, – это высказывание, сделанное в сугубо идеологическом контексте, в контексте государственно-правовой пропаганды. Данное высказывание есть некий призыв, обращенный к, например, субъектам права. Это призыв не забывать, что если кто-то готов к некой сознательно-волевой и социально значимой деятельности («к свободе»), то ему следует также быть готовым и к тому, что такая деятельность может быть оценена не только как правомерная, но и как противоправная, т. е. это напоминание о юридической ответственности. Но связь между подобной деятельностью и юридической ответственностью задается искусственно, посредством нормы права, т. е. эта связь задается субъективно и не выражает причинно-следственные отношения в строгом смысле слова. И неслучайно на этот важный методологический вопрос об отличиях такой искусственной связи от естественной, природной связи совершенно правильно обращал внимание Г. Кельзен, когда указывал на различия между науками каузальными и нормативными<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М.: Из-во МГУ; ИНФРА-М – НОРМА, 1997. С. 43.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> См.: Kelsen H. General theory of State and Law. 3d ed. Cambridge: Harvard University Press, 1949. P. 46–47.

Другим весьма важным аспектом связи прав и обязанностей считается корреспондирующая связь разрешений с запретами / обязанностями, описание которой основано на наблюдениях за алгоритмами взаимодействия людей в социальной сфере. Подобную связь зачастую считают имеющей давние исторические корни. В частности, С. С. Алексеев, соглашаясь с мнением историков, описывает содержание первых нормативных социальных регуляторов так, что, например, запрет препятствовать доступу к добыче являлся выражением права на доступ к добыче<sup>1</sup>.

За данной связью признают не только глубокие исторические корни, но и особую значимость. В частности, Г. Д. Гурвич пишет, что «право есть позитивный порядок, представляющий собой попытку реализации справедливости... в определенной социальной среде посредством системы... правил, которые устанавливают строго определенную взаимозависимость между коррелирующими обязанностями и притязаниями...»<sup>2</sup>.

Помимо этого, наличие именно такой связи иногда считается признаком отнесения предписаний к правовым. Например, Н. Н. Алексеев рассматривал в качестве основного критерия отграничения права от неправовых явлений именно наличие или отсутствие взаимных прав и обязанностей<sup>3</sup>.

Однако различными учеными наличие подобной связи прав и обязанностей также издавна ставится и под сомнение, когда в рассматриваемой связке («права – обязанности») более или менее явно отрицаются либо юридические обязанности, либо субъективные права.

В частности, такая позиция, когда отрицается юридическая обязанность, представлена западноевропейской политико-правовой мыслью нового и новейшего времени, пронизанной идеологией либерального индивидуализма. Выражением данной позиции можно считать, например, идеи Алоиза фон Бринца, заменяющего понятие правоотношения понятием субъективного права-притязания<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Алексеев С. С. Общие дозволения и запреты в советском праве. С. 25.

<sup>2</sup> Гурвич Г. Д. Философия и социология права // Избр. соч. СПб., 2004. С. 139–140.

<sup>3</sup> См.: Алексеев Н. Н. Основы философии права / сост.: А. П. Альбов, А. М. Величко, Д. В. Масленников, М. Б. Ревнова; отв. ред.: Д. В. Масленников, В. П. Сальников. СПб.: С.-Петербург. юрид. ин-т, 1998. 216 с.

<sup>4</sup> Цит. По: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. С. 204.

Противоположная позиция, когда из указанной связи фактически «удаляется» субъективное право, имеет даже более давние корни. В частности, еще античный мыслитель Цицерон признавал, что существуют только повелительные и запретительные законы: «*Legem esse aeternum quiddam, quod Universum mundum regeret, imperandi prohibendique sapientia – aut cogentis aut vetantis ad jubendum et ad deterrendum idonea*»<sup>1</sup>.

Весьма оригинально об отсутствии субъективных прав высказывался Леон Дюги. По мнению Дюги, «старое», «метафизическое представление о субъективном праве» должно быть устранено из юридической науки, поскольку оно теснейшим образом связано с индивидуалистическим учением о праве<sup>2</sup>. При этом видно, что подход Дюги основан на явно выраженной симпатии ученого к социалистической доктрине и антипатии к идеям либерального индивидуализма. Поэтому понятно, что Дюги в большей степени апеллирует к идеологическому, прагматическому, но не к логико-семантическому аспекту анализа при обосновании отрицания субъективных прав.

Более точным представляется направление мысли Г. Кельзена, отмечавшего, что субъективное право есть не самостоятельное предписание, но лишь отражение юридической обязанности (*reflected right*), и если ее убрать, то в режиме правового регулирования ничего не изменится<sup>3</sup>.

Анализируя данную проблематику, следует понимать, что вопрос о связи субъективных прав и юридических обязанностей теснейшим образом переплетается с представлениями о соотношении права и правоотношений. Причем независимо от того, что признается первичным – право или же правоотношения, считается, что в правоотношениях в качестве их юридического содержания отражены субъективные права и юридические обязанности, составляющие в то же самое время и содержание общих правовых предписаний. Анализируя эту мысль, рассмотрим связь прав и обязанностей подробнее. В наиболее общем виде данная (корреспондирующая) связь прослеживается по двум направлениям.

---

<sup>1</sup> Цит. По: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. С. 180.

<sup>2</sup> Цит. По: Дурденевский В. Н. Субъективное право и его основное разделение. // Правоведение. 1994. № 3. С. 78–95.

<sup>3</sup> См.: Kelsen H. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967. P. 14.

Первое направление (*схема 1*) выглядит как некая минимально необходимая связь. Дозволение «разрешено А» корреспондирует запрету «запрещено препятствовать А» («обязательно воздержаться от препятствования А»). Если рассматривать подобную связь через призму не норм права, но правоотношений, то легко заметить, что она в значительной мере отражает (юридическое) содержание так называемых абсолютных правоотношений. При этом если говорить о препятствовании некоему разрешенному поведению, то это препятствование может и не быть элементом поведенческой модели в отношении, т. е. вполне может и не сопутствовать данному поведению как «обязательный спутник». Например, получение денег за товар не обязательно сопровождается препятствованием в получении этих денег. Из этого следует, что здесь, по сути дела, речь идет *не о корреспондирующей связи, но об отраженной обязанности (запрете), т. е. правовым предписанием является лишь обязанность (запрет), а дозволение есть лишь специфический способ указания на данное предписание.*

Другое возможное направление связи (*схема 2*) имеет совершенно иной характер, а именно: (субъективному праву) «разрешено А» корреспондирует обязанность «вести себя так, чтобы это соответствовало А». В таком случае содержание обязательного / запрещенного поведения обусловлено социально-конкретным анализом разрешенного поведения, причем анализом в рамках модели социального взаимодействия, избранной (как минимум) субъектом правотворчества.

В отличие от простого воздержания препятствовать дозволенному поведению (*схема 1*), во второй схеме («обязан вести себя образом, соответствующим поведению А») корреспондирующее поведение должно непременно сопутствовать дозволенному, т. е. в этом случае обязательное поведение представляет собой один из неотъемлемых элементов содержания бинарных отношений. Без этого элемента (т. е. без обязательного поведения) разрешенное поведение неосуществимо. Например, получение денег за товар неосуществимо без их уплаты, т. е. без исполнения обязанности уплатить деньги. В этом смысле уплата и получение денег являются неотъемлемыми элементами бинарных отношений.

Как видно, во второй схеме («обязан осуществить поведение, соответствующее А») указание на обязательное / запрещенное поведение

существенно отличается по степени детализации от указания на поведение при взаимной определимости нормативных операторов в узком системном контексте. Данное различие обусловлено тем, что указание на запрещенное (обязательное) поведение происходит не за счет его простого отрицания («обязан не-А»), но несколько иначе. Это детализированное указание на поведение основано на социально-конкретном содержательном анализе взаимно соответствующего поведения в рамках определенной модели социального взаимодействия. К тому же в указанном взаимодействии мы будем видеть различную степень выражения взаимности поведения.

Само это социальное взаимодействие проистекает из ограниченности потенциала деятельности у отдельно взятого человека в условиях преодоления многочисленных факторов давления со стороны окружающей среды. Еще Аристотель указывал, что человек – животное общественное, причем высшую ступень развития это общество получает в государстве, как форме политического общения. По меньшей мере объединение в государство было присуще людям, достигшим определенной ступени развития – «общение подобных друг другу людей в целях возможно лучшего существования»<sup>1</sup>.

Подчеркнем еще раз, что речь не идет *об онтологическом аспекте* как о необходимой предпосылке бытия права человека. Не идет речь и о необходимой предпосылке некой конкретики содержания каких-либо прав человека. Дело в том, что взаимное, корреспондирующее поведение далеко не всегда вероятностно однозначно (безальтернативно) предопределено, причем в силу как объективных, так и субъективных предпосылок. Однако содержание взаимного, корреспондирующего поведения может варьировать в определенном диапазоне (хотя границы этого диапазона обусловлены именно объективно). Эта альтернативность (неоднозначность) вероятностного предопределения обусловлена тем, что общие рамки моделей социального взаимодействия задаются потребностями людей, но эти потребности далеко не всегда являются общими для людей, несмотря на общность биологической природы людей.

Достаточно широко признаваемым является тот факт, что данные потребности преломляются через, образно говоря, мировоззренче-

---

<sup>1</sup> Аристотель. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 603.

скую призму. Через мировоззрение же подобные потребности могут быть и существенно модифицированы. В этом случае потребности, модифицированные мировоззрением, называют, например, интересами (С. С. Алексеев). Таким образом, вполне допустимо вести речь о том, что различие в мировоззрении людей с одинаковой биологической природой порождает и различные модели социального взаимодействия в схожих ситуациях. Разумеется, что в таких ситуациях речь можно вести и о мировоззрении законодателя, законодательского лобби и иных субъектов, чьи представления о моделях социального взаимодействия фактически распространяются на все субъекты (в соответствующих ситуациях), в том числе и посредством их отражения в правовых предписаниях. Причем, если вести речь о процессе правообразования, который завершается правотворчеством, то в качестве его мировоззренческой основы вполне можно говорить и о некой общей мировоззренческой доктрине, либо ее отдельных фрагментах.

Частным случаем мировоззренческой доктрины (либо ее фрагмента), сформулированной в эмоционально-привлекательной форме, можно назвать идеологическую доктрину. Ту часть идеологической доктрины, которая пересекается с предметной областью политологических и юридических наук и, соответственно, формулируется в смысловом поле специальной терминологии политологии и юриспруденции, допустимо считать политико-правовой доктриной. Следовательно, корреспондирующее поведение может быть различным, поскольку оно будет соответствовать поведенческим моделям, основанным на различных политико-правовых доктринах.

Вместе с тем мы говорим о правах человека именно в юридическом аспекте, т. е. в том числе и об их конкретных формулировках, закрепленных в различных официальных документах. Данное обстоятельство предполагает (пусть и оставшийся в умолчаниях) факт выбора соответствующим субъектом вполне определенной модели социального взаимодействия в контексте определенной политико-правовой (а значит, и идеологической, и мировоззренческой) доктрины. По меньшей мере речь идет о выборе субъектов, внесших соответствующие формулировки в документы, а также о субъектах, официально признавших такие формулировки (присоединившихся к подписанию этих документов). Таким образом, в качестве результирующего

можно сделать вывод о том, что вполне корректно говорить об одной вполне определенной модели социального взаимодействия.

Именно отсюда проистекают различия между разнообразными доктринами прав человека. Кроме того, этим обусловлена постоянная битва на поле духовной брани, информационные войны, которые фактически есть столкновение доктрин, столкновение идей и концепций. Ибо как раз эти идеи фактически и являются той мягкой управленческой силой, тем выражением неструктурного управления, той властью непубличной управленческой иерархии, которая и создает основу для долговременного стратегического согласия управляемых (объекта управления) с действиями структурных управленцев публичной, официальной, государственной властной иерархии.

Вместе с тем возникает вопрос о том, в любом ли случае существует подобная связь «права – обязанности», отражающая взаимность поведения двух субъектов? Думается, что ответ не совсем прост.

В одних случаях мы видим четкие взаимные действия. Так, праву обратиться с критикой органов власти<sup>1</sup> корреспондирует обязанность данных органов принять подобное обращение, рассмотреть его и дать ответ в рамках установленной процедуры<sup>2</sup>. В других случаях такой четкости нет. Например, к случаю с отсутствием этой четкости можно отнести обязанность родителей обеспечивать интересы детей<sup>3</sup>, обязанность совершеннолетних детей заботиться о нетрудноспособных родителях<sup>4</sup>. Какова связь прав и обязанностей в таких случаях? Если исходить из приведенной общей схемы взаимного соответствия, то обязанности заботиться будет соответствовать право на заботу<sup>5</sup>. Но какое поведение в рамках права на заботу будет *разрешено*? Мысль о том, что речь идет о дозволении принять (претерпеть?) заботу, представляется неудачной в контексте правового регулирования.

---

<sup>1</sup> См.: ст. 2, 5 и др. федер. закона от 21 апреля 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Там же. Ст. 9, 10, 11, 12 и др.

<sup>3</sup> Ст. 65 федер. закона от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>4</sup> Ч. 1 ст. 87 федер. закона от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>5</sup> Ч. 2 ст. 54 федер. закона от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В рассуждении о недееспособных лицах («претерпевающих» заботу) еще можно попытаться возразить, указывая на то, что такое лицо лишь и является «претерпевающим». Но это неудачное возражение, так как подобное «претерпевающее» лицо будет представлять собой не субъект, но, например, объект правоотношения, т. е. не он является носителем интереса, выражаемого субъективным правом. Но в нашем примере нам следует найти то, что со стороны именно недееспособных лиц корреспондирует обязанности заботиться.

Предположим, что обойти подобную сложность позволяет такая конструкция, как «притязание» (корреспондирующее соответствующей юридической обязанности / запрету). Но допущение наличия притязания, например, как правомочия в структуре субъективного права порождает как минимум два вопроса.

Первый проблемный вопрос можно сформулировать так: какова необходимость введения и в теоретическое рассуждение, и в нормативно-правовое регулирование такой конструкции, как «притязание», именно в контексте широкой системной связи нормативных операторов? Думается, что ни функциональной, ни структурной необходимости здесь нет, поскольку нет ни функциональной, ни структурной связи прав и обязанностей в широком системном контексте связи.

Достаточно ярко отсутствие такого широкого системного контекста связи нормативных операторов просматривается, если мы возьмем обязанность, например, служить в армии. В частности, перед нами возникает вопрос: о каком притязании или дозволении (разрешении) мы будем вести речь? Это будет притязание государства на получение службы в армии? Это будет претерпевание того, что кто-то служит в ваших интересах? Думается, что такие формулировки выглядят не очень удачными. Если же вести речь о разрешении / дозволении государству призывать на военную службу, то это аналитически предполагает вопрос о деонтическом авторитете: а кто этот субъект, кто разрешает, дозволяет государству? Быть может, государство разрешает это само себе? Но такой ход мысли поднимает другой вопрос: а какова практическая потребность в разрешении самому себе?

Можно попытаться обойти неудобный вопрос о деонтическом авторитете через использование упоминавшейся ранее теоретической конструкции слабого разрешения. В таком случае речь пойдет о модели со слабым разрешением (государству призывать на военную службу).

Но это разрешение лишь подчеркнет автократичность подобного «разрешения», которое, строго говоря, не будет являться разрешением.

Иными словами, нет структурной, функциональной детерминированности издания субъективного права государством, разрешающего ему же (государству) призывать граждан (подданных) на военную службу. Именно это наглядно и демонстрирует отсутствие нормативно-предписывающих свойств подобного разрешения (дозволения). Государству *достаточно* сформулировать обязанность проходить военную службу соответствующей категорией лиц. Отсюда следует вывод, что ни алгоритмы взаимного поведения, ни «логика правового регулирования» в реальном, т. е. по-настоящему логическо-семантическом аспекте совершенно не требуют введения таких решений, корреспондирующих вводимым обязанностям / запретам.

***Но не наоборот!***

Отчасти подобный «разрыв прав и обязанностей» рассматривается при исследованиях так называемых законных интересов. Однако следует заметить, что ход исследования законных интересов имеет характерную особенность.

С одной стороны, в законодательных текстах такая формулировка встречается довольно часто. Например, по подсчетам В. В. Субочева в российских нормативно-правовых актах данный термин встречается более 700 раз<sup>1</sup>.

С другой стороны, несмотря на то что проблемы законного интереса привлекали внимание не только ученых советского периода<sup>2</sup>, но и дореволюционных ученых<sup>3</sup>, можно увидеть диаметрально противоположные суждения об идентифицирующих признаках законных интересов.

Так, законный интерес понимается как некое «усеченное субъективное право», которому не корреспондирует соответствующая юридическая обязанность<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Цит. по: Малько А. В., Терехин В. А. Субъективные права, свободы и законные интересы личности как самостоятельные объекты судебной защиты // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 4. С. 7–18.

<sup>2</sup> С. С. Алексеев, Н. В. Витрук, Р. Е. Гукасян, Н. С. Маленин, А. В. Малько, Г. В. Мальцев, Н. И. Матузов, В. В. Степанян, Н. А. Шайкенов, А. И. Экимов и др.

<sup>3</sup> Например, это прослеживается в трудах Ю. С. Гамбарова, Н. М. Коркунова, А. А. Рождественского, Е. Н. Трубецкого и др. ученых.

<sup>4</sup> См.: например, Малько А. В., Субочев В. В. Законные интересы как правовая категория. СПб., 2004. С. 90–99.

Либо же законный интерес понимается как такой интерес, которому как раз и корреспондирует, соответствует определенная юридическая обязанность, но не субъективное право (понимаемое, например, как правомочие, возможность, дозволение)<sup>1</sup>.

Иными словами, «в основном исследования законного интереса сводятся к тому, что ничего не ясно, нет никакой определенности, подождем, что скажет законодатель...»<sup>2</sup>.

Думается, что подобной «неясности» во многом как раз и способствуют отмеченные дефекты теоретической реконструкции субъективных прав и, соответственно, дефекты теоретической реконструкции их связи с юридическими обязанностями.

Вторым проблемным вопросом в связи с идеей описания прав человека через притязания является вопрос о том, насколько данное притязание следует относить именно к разрешениям, насколько такая связь реальна? Не искусственна ли связь притязаний с разрешением, т. е. не происходит ли в этом случае подмена дозволения притязанием, когда посредством термина «притязания» фактически формулируется синоним терминов «дозволение», «разрешение»? Представляется, что если подобная подмена происходит, то она вовсе не помогает установить структурно-функциональный характер связи прав и обязанностей.

Если же притязаниями называть автократичные властно-императивные дозволения, то, как упоминалось ранее, это довольно конструктивный ход мысли. Однако это предмет рассуждений совершенно иного рода, поскольку здесь мы выходим из семантического поля понятия «предписание» (содержащего характеристические особенности нормативного предписания) и используем понятие «власть».

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии не только узкого, но и широкого системного контекста связи прав человека, понимаемых как дозволения / разрешения, и юридических обязанностей.

---

<sup>1</sup> См.: например, Регельсбергер Ф. *Общее учение о праве*. М.: Изд-во И. Д. Сытина, 1897. С. 35; Германов А. В. *От пользования к владению и вещному праву*. М.: Статут, 2009. С. 335.

<sup>2</sup> Мызников А. А. *Правовые категории «субъективное право» и «законные интересы» в современной теории государства и права // Общество и право*. 2006. № 3 (13). С. 28.

Из сказанного следует, что в аспекте семантического анализа правовая обязанность (запрет) будет полноценным и **самостоятельным** предписанием общего характера без структурной, функциональной (а уж тем более – причинной) необходимости наличия какого-либо корреспондирующего ему разрешения / дозволения. Иными словами, в аспекте семантического анализа именно правовые обязанности (запреты) и, что особенно важно, только обязанности (запреты) – это в рассматриваемом аспекте самостоятельные правовые нормы-(предписания).

Вместе с тем столь категоричный вывод явно указывает на отсутствие адекватной корреляции метаязыка и объектного языка права, на возможное наличие проблемы существенного рассогласования теории и практики, т. е. рассогласование тех теоретических положений, которые приводятся в настоящей работе, и той юридической практики, с которой мы знакомы на сегодняшний день. А именно.

С одной стороны, мы пришли к предварительному выводу о недопустимости признания прав человека относительно самостоятельным нормативно-правовым регулятором. Так называемая связь прав (человека) и обязанностей / запретов – это (в рассмотренном контексте) лишь отражение, лишь некий способ выражения правовых обязанностей и запретов, которые и являются относительно самостоятельными нормативно-правовыми регуляторами.

Кроме того, можно предположить большую непопулярность такого вывода. Во-первых, юридическая наука, научная и околонучная публицистика изобилуют весьма пафосными эпитетами в адрес прав человека. Если же говорить о политической риторике, то сложно найти пример войны / военного конфликта (особенно в период после Второй мировой войны), в котором бы военные действия не оправдывались «высокой идеей» защиты прав человека.

Во-вторых, как многочисленные международно-правовые документы, так и внутреннее, национальное законодательство отдельных государств дают нам множество примеров, **как будто бы** опровергающих тезис о том, что лишь правовые обязанности (запреты), но никак не права человека, обладают самодостаточностью. Достаточно посмотреть на ст. Конституции России, указывающие на прямое действие прав человека.

К подобным многочисленным примерам принято относить явное, эсхеплициное закрепление прав человека, без закрепления корреспон-

дирующих обязанностей. Иными словами, это весьма походит на своеобразное признание практикой *наличия* именно дозволений / разрешений, например, в форме прав человека, но не юридических обязанностей и запретов.

Думается, что первым, предварительным и наиболее общим направлением решения такой проблемы согласования теории и практики будет выдвижение тезисов о том, что:

1) поскольку вне идеи об автократичности носителя прав человека данные права прескриптивно могут рассматриваться лишь как отражение обязанностей / запретов, то, несмотря на весь пафос теории естественного права, права человека в таком аспекте представляют собой не правовой, но законодательный феномен;

2) в число правовых средств регулирования социально значимого поведения входят не только правовые предписания. К числу таких средств и относятся права человека, т. е. данные права – это регуляторы поведения, но непредписывающие регуляторы.

## **Глава 3. Проблема объективности прав человека: право и законодательство**

### **3.1. Теоретико-практические дефекты интерпретации идеи объективности права**

Развивая идею о проявлении регулятивного предписывающего потенциала прав человека в том, что они являются лишь неким особым отражением реальных правовых предписаний (обязанностей / запретов), выдвинем гипотезу о правах человека как о законодательном, а не правовом феномене.

Такой подход может показаться довольно противоречивым, парадоксальным по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о том, что идею о естественности прав человека невозможно отделить от естественно-правовых идей. А основой правопонимания в контексте естественно-правового подхода является то, что данное право противопоставляется праву позитивному, причем противопоставляется в ценностно-критериальном контексте, с изначальной установкой и на первичность, и на приоритетность именно естественного права.

Вместе с тем следует учесть, что так называемая проблема противопоставления права и закона была особым образом актуализирована в ходе разрушения СССР и, соответственно, радикальным «реформированием» советского права. Эта новая актуализация проявилась именно в противопоставлении права и закона. Причем в ходе такого противопоставления мы наблюдали и оправдание беззакония правомерностью, например, в ходе «конституционного кризиса» октября 1993 г., связанного с превышением президентом своих должностных полномочий и изданием Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и его Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 г.<sup>1</sup> В данной связи уместно вспомнить заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г., в котором данный Указ Президента РФ и его обращение

---

<sup>1</sup> См.: О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400; Обращение Президента к гражданам России 21 сентября 1993 г. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026144&intelsearch=4> (дата обращения: 18.12.2022).

к гражданам России были признаны не соответствующими Конституции России и рассматривались как основание для отрешения Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке ст. 121-10 или 121-6 действовавшей Конституции Российской Федерации<sup>1</sup>.

Новую актуализацию противопоставления права и закона мы наблюдали и в ходе обоснования декриминализации многих деяний, например, гомосексуализма, спекуляции, невозвращения из-за границы и т. д.

Именно поэтому в рассмотренных алгоритмах рассуждения права человека было бы уместно рассматривать не как законодательное («закон»), но именно как правовое явление. Однако автор настоящей работы не считает указанную актуализацию противопоставления права и закона правильной ни в семантическом, ни в прагматическом аспектах анализа, поскольку полагает, что указанная актуализация была продиктована, например, отнюдь не собственно научными, но конъюнктурными соображениями, как средство, используемое отдельными деятелями науки, чтобы «добиться милости монархов сервильностью и ортодоксией»<sup>2</sup>.

В силу этого автор настоящей работы полагает уместным рассмотреть права человека как законодательный феномен, основываясь на иных соображениях относительно соотношения права и законодательства. Да, следует признать, что проблема такого соотношения многогранна и многоаспектна, что предопределяет существенное разнообразие научно-методологических подходов к исследованию данной проблематики. Одной из предпосылок подобного многообразия является различие типов правопонимания. Именно поэтому представляется целесообразным выбрать некий общий знаменатель, объединяющий различное правопонимание, что в дальнейшем

---

<sup>1</sup> О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года: заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. № 3-2. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026146&intelsearch> (дата обращения: 17.12.2022).

<sup>2</sup> Цит. по: Гулыгин А. В. Гегель. 2-е изд., перераб. и доп. (Оригинальное изд. 1970 г.). М.: Молодая гвардия, 2008. С. 19.

обеспечит возможность применить полученные выводы к различным типам правопонимания. Автор настоящей работы полагает, что таким знаменателем является нормативность права, причем нормативность понимаемая прескриптивно. И допустимость подобного подхода обуславливается тем, что в любом типе правопонимания нормы права фактически признаются одним из элементов права. Соответственно, данный подход допускает сужение вопроса о соотношении права и законодательства до вопроса о соотношении системы права и системы законодательства.

Однако даже в таком «зауженном» аспекте рассмотрения проблема соотношения права и законодательства имеет ярко выраженную идеологическую подоплеку, поскольку данная проблема фактически редуцируется к вопросу о политизированной характеристике права. Эта политизированность четко просматривается в отечественной юриспруденции еще советского периода, когда исключительно широко распространена была идея о том, что структура права имеет объективный характер<sup>1</sup>. Фактически подобная идея воспринималась как аксиома. В частности, С. С. Алексеев указывал, что система права «имеет объективный характер», а система законодательства имеет еще и «субъективные элементы»<sup>2</sup>. Однако, представляется, что именно в таком политико-идеологическом подходе и кроется весьма существенная теоретическая ошибка, препятствующая научно корректному решению вопроса о реальном соотношении системы права и системы законодательства.

В основе политико-идеологической трактовки права лежит подход к оценке соотношения воли законодателя и «исторической необходимости», что производно от вопроса о том, формирует или формулирует законодатель (позитивное) право. Если законодатель лишь формулирует право, то неизбежны выводы о том, что «система права как следствие исторического развития – объективный феномен, от воли людей не зависящий»<sup>3</sup>, что «система права – явление объективное...»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Алексеев С. С. Структура советского права // Собр. соч. в 11 т. Т. 2. Специальные вопросы правопонимания. М.: Статут, 2010. С. 51.

<sup>2</sup> Там же. С. 58.

<sup>3</sup> Спиридонов Л. И. Теория государства и права: учебник. М., 2001. С. 177.

<sup>4</sup> Теория государства и права: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. С. 363.

Актуальность проблематики исторического развития в алгоритмически-смысловом аспекте предопределяется вопросом о «подлинных движущих силах истории». В частности, речь идет о соотношении роли некоей особо выдающейся личности и народных масс в осуществлении социальных изменений. При этом автору настоящей работы представляется достаточно очевидным тот факт, что алгоритм рассуждения «историческая необходимость объективно обуславливает (социальную) деятельность народных масс, что отражается в праве, т. е. в правовом опосредовании (необходимого) социального результата» базируется на специфическом политико-юридическом контексте толкования динамики сопряжения свободы и необходимости. В частности, Г. В. Плеханов, достаточно далеко уходя от идей Б. Спинозы, Г. Гегеля, Ф. Энгельса, В. И. Ленина о сочетании свободы, необходимости и их осознания, указывал что «свобода как познанная необходимость» является одним из «...гениальнейших открытий, когда-либо сделанных философской мыслью»<sup>1</sup>.

Иными словами, общий смысловой алгоритм показанного сопряжения свободы и необходимости изображается таким: (1) народные массы, хотя и действуют в четко определенном русле, но при этом свободны в своем поведении, поскольку осознают «историческую необходимость». А далее, (2) те общественные отношения, что уже сложились (отношения, «имеющие юридическую природу»), лишь получают юридическую форму (опосредуются (позитивным) правом), т. е. законодатель в таком случае не формирует право, а лишь формулирует его. Важно подчеркнуть, что подобный ход мысли было бы несправедливо относить только лишь к марксистской политико-юридической доктрине и потому следует согласиться с Г. В. Мальцевым в том, что такое рассуждение фактически воспроизводит естественно-правовой ход мысли<sup>2</sup>, т. е. во многом отражает и теоретические построения в области прав человека.

Идеологический выигрыш данного рассуждения о формулировании, а не формировании права состоит в том, что законодателя также можно называть свободным, хотя и равно в той мере, в какой этот законодатель осознает, что он лишь формулирует, но не формирует

---

<sup>1</sup> Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории // Избранные философские произведения: в 5 т. Т. 2. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1956. 845 с.

<sup>2</sup> См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 58.

право. Такой ход мысли позволит уже не просто отделить законотворческую деятельность от негативных ассоциаций, которые иногда вызывает политика («грязное дело»), но связать правотворчество с позитивным, явно выраженным позитивным идеологическим коннотационным оттенком термина «свобода», являющегося идеологеммой.

Кроме того, правотворческая деятельность, соответствующая пониманию свободы как осознанной необходимости, выставляется еще и как необходимая. В данной связи также отметим, что термин «необходимая» также несет позитивный коннотационный оттенок и позволяет выстроить некое оправдание полезности деятельности законодателя.

Да, для оправдания применимости прагматического подхода в юридической науке можно апеллировать к теснейшей связи социальной науки и социального взаимодействия. Однако не следует забывать, что добрых намерений значительно больше, чем добрых дел, в силу чего некое научное лукавство даже во спасение не оправдываемо. Поясним эту мысль.

В приведенном алгоритме рассуждения довольно очевидной представляется связь объективности, необходимости и причинности. В контексте классической парадигмы рациональности причинность представляет собой необходимую связь между явлениями. А что необходимо, то и объективно. Это можно было назвать онтологическим аспектом объективности. Однако, несмотря на свою популярность, применимость такого сочетания причинности, объективности и необходимости к юридической науке весьма проблематична.

В естественных науках мы имеем дело с причинностью, а соответственно, и с необходимостью в строгом смысле слова. Причем существует особая связь предмета исследования с методом – это связь причинности с объяснением. Подчеркивая именно эту связь естественных наук с причинностью и с необходимостью, глава баденской школы неокантианства В. Виндельбанд называл их «номотетическими».<sup>1</sup>

В «науках о природе» мы имеем возможность относительно четко проследить использование гносеологической схемы «субъект (позна-

---

<sup>1</sup> Виндельбанд В. Избранное: дух и история / пер. с нем. М. И. Левиной, Г. Сониной. М.: Юрист, 1995. С. 43.

ния) – объект (познания)», что позволяет использовать классическую парадигму рациональности и говорить об объективности.

В гуманитарных же науках возможность использования модели «субъект (познания) – объект (познания)» более проблематична. Сам предмет познания, например человеческая деятельность в различных формах, также является плодом сознания, т. е. этот предмет в некотором смысле производится сознанием субъекта. При этом социальный объективизм марксистского толка, внося причинность и необходимость в теоретическую реконструкцию социальных процессов, основан на идеях экономического детерминизма, когда объективной, т. е. неизбежной считается смена типов экономического производства, формаций, типов государства и права.

Вместе с тем даже у некоторых марксистов появлялись основания сомневаться в том, что в гуманитарных и номотетических контекстах интерпретация причинности, необходимости и объективности тождественна. В силу этого возникали довольно глубоко модернизированные теоретические модели объективизма, необходимости и причинности: «марксист последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту необходимость»<sup>1</sup>.

В данной связи отметим, что термины необходимости, объективности, причинности вводили некую методологическую непогрешимость оправдания (как минимум) юридической наукой советской государственно-правовой действительности. Однако делалось это, к сожалению, не столько в ходе непредвзятого научного поиска, сколько в ходе цитатно-догматического метода описания и объяснения правовых явлений.

Истоки проблемы состоят в том, что такие понятия, как «объективность», «необходимость», «причинность», существовали задолго до появления не только советской юриспруденции, но и марксизма. В силу этого думается, что следует воздержаться от наполнения имен новым содержанием, если это содержание может восприниматься не просто как иное, но как *противоположное* старому, если при этом не делаются уточняющие оговорки.

---

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 1. М., 1960. С. 418.

В частности, говоря об объективности в онтологическом аспекте, подчеркнем, что термин «необходимость» (физическая или логическая) используется для характеристики весьма специфических связей между явлениями. А поэтому никакой класс, никакая иная социальная группа не может определять ее, т. е. не может влиять на логическую либо номотетическую (физическую) необходимость. Введение любых иных видов необходимости (политической и т. п.) требует их отграничения от политических и тому подобных видов обязательности, полезности, целесообразности и т. п.

Таким образом, назвать право объективным явлением в гносеологическом (и отчасти – в онтологическом) аспекте можно в следующих контекстах.

В субъектно-абстрактном контексте. В этом контексте мы говорим о независимости онтологического статуса некоего явления от (сознания) абстрактного субъекта, т. е. фактически от сознания любого субъекта. Это можно условно считать *абсолютной* объективностью.

Но верно ли говорить в контексте подобной «абсолютной объективности» о том, что система права имеет объективный характер? Да, но только если вести речь, например, о естественном праве в интерпретации Ф. Аквинского («Кто иной, как не Бог, вписал в сердца людей естественное право?»). Одновременно допуская при этом, что «вписанное в сердца» людей естественное право может так и остаться неподвластным сознанию. А также допуская и то, что зов сердца и акт волеизъявления объективно отличаются, и мы можем это выявить. В данном случае мы действительно сможем говорить об объективном характере такой непознанной и неподвластной воле системы естественного права в абсолютном смысле. Однако подобный подход вряд ли целесообразен, поскольку такое «вписанное в сердца людей» естественное право останется вне пределов как нашего научного исследования, так и практического использования.

Второй контекст можно условно назвать субъектно-конкретным. В этом случае мы фактически ведем речь о независимости онтологического статуса некоего явления от сознания не любого, но лишь конкретного субъекта. При конкретно-ситуационной детализации практически всегда существует тот субъект, который не знал бы о некоем явлении, объекте, явлении и т. п. В данном случае онтологический статус некоего явления всегда может быть независимым от (сознания

и воли) каких-либо конкретных субъектов. Таковую объективность можно считать *относительной*, т. е. нечто объективно лишь по отношению к сознанию и воле лишь определенных субъектов. В связи с этим объективным будет являться, например, и любой обман, и заведомо ложные показания, и незаконные действия органов государственной власти, и представления Л. Троцкого о «пожаре мировой революции», и представления З. Бжезинского о величии Рах Америгана, и представления А. Гитлера о величии Третьего Рейха и т. д. и т. п.

Как видно, в данном контексте одно и то же явление, например правовую норму, право в целом, вполне можно рассматривать и как явление (относительно) объективное, и как явление (относительно) субъективное. Неслучайно в советской юриспруденции были возможны парадоксальные, на первый взгляд, высказывания, например: «Подавляющее большинство участников дискуссии о соотношении объективного и субъективного в праве (см. статьи в журнале «Правоведение» в 1970–1973 гг.) пришли к обоснованному выводу о том, что право имеет объективный характер и, следовательно, может быть обозначено словами... „субъективная реальность“»<sup>1</sup>.

В связи с этим важно понимать, что субъектно-конкретный контекст интерпретации объективности лишает нас оснований разграничивать систему права и систему законодательства (право и законодательство), исходя из того, что система права «имеет объективный характер», а система законодательства имеет еще и «субъективные элементы»<sup>2</sup>, либо из того, что система законодательства в гораздо большей степени, нежели система права, подвержена субъективному фактору<sup>3</sup>. Соответственно, это снимает препятствия на пути признания прав человека не правовым, но законодательным феноменом.

Однако в юридической науке встречаются и иные, существенно отличающиеся от традиционной для отечественной юридической науки подходы к интерпретации объективности права. В частности, А. Мармор указывает на четыре сферы проблем, в которых может

---

<sup>1</sup> Алексеев С. С. Структура советского права. С. 52.

<sup>2</sup> Там же. С. 58.

<sup>3</sup> См.: Павлисова Т. Е., Ломакина Е. Н. Влияние английского колониального права на правовую систему Индии // Очерки новейшей камералистики. 2017. № 1. С. 39–41.

быть затронут вопрос об объективности права: 1) идентификация права («Можем ли мы иметь объективно правильные или неправильные ответы на вопрос, что есть право в частном случае?»); 2) оценка права («Является ли право объективно правильным или неправильным, хорошим либо плохим?»); 3) функция права для решения конфликта интересов в споре о праве; 4) объективность правовой науки<sup>1</sup>.

В связи с вопросом об объективности правовой науки можно обратить внимание на попытку сближения гуманитарных и естественных наук Э. Дюркгейма, чьи идеи в данном контексте во многом методологически перекликаются с воззрениями О. Конта и Г. Спенсера. В частности, в работе 1895 г. «Правила социологического метода» французский социолог формулирует требования к социологии с тем, чтобы ее вообще можно было бы причислить к наукам. К таким требованиям относятся, например, рассмотрение социальных фактов как чего-то внешнего по отношению к индивидам, т. е. как к явлениям объективным, которые могут быть описаны довольно строго как количественные безличные феномены.

Важно понимать, что любой социальный факт представляет собой, по сути, сознательно-волевое поведение субъекта либо генерируется им, т. е. это объективный факт неотделим от субъекта, его порождающего. Но объективность в таком случае будет заключаться в том, что ученый при исследовании этих социальных фактов должен оставаться свободным от субъективных впечатлений. Иными словами, он должен объективно *описывать* социальную действительность, независимо от своего отношения к ней, будучи свободным от всех предрассудков и врожденных идей, от ценностных суждений и идеологических установок. Подобная методология призвана вести к объективной картине мира, в которой источник социальных фактов будет пониматься как находящийся в обществе, но не в мышлении и поведении индивидов.

Таким образом, Дюркгейм достаточно обстоятельно описывает свое понимание объективности социального явления в контексте деидеологизации научного знания, освобождении его от ценностной

---

<sup>1</sup> Marmor A. Positive Law and Objective Values, Oxford: Clarendon Press, 2001. P. 112–134.

интерпретации. Но это рассуждение об объективности не столько в онтологическом и гносеологическом аспекте (поскольку невозможно отделить продукт сознательно-волевой деятельности от сознания и воли), сколько в аксиологическом, ценностном аспекте, т. е. речь идет об освобождении исследователя от всех предрассудков и врожденных идей, от ценностных суждений и идеологических установок.

Конечно, разделяя с Дюркгеймом идеи о пользе непредвзятого научного исследования, нельзя, тем не менее, не заметить, что вряд ли исследователь может быть свободным от всех предрассудков и врожденных идей, от ценностных суждений и идеологических установок. Однако здесь гораздо важнее иной аспект проблемы. А именно то, что из объективности научного исследования (т. е. объективности в аксиологическом контексте как освобождении от ценностей, произвола и т. п.) никак не проистекает отрицание субъективного начала в управляемости общества, т. е. никак не следует, что общество должно пониматься как некая автономная система, управляемая своими собственными законами, а не сознанием или действием каждого члена общества. В таком, заранее оговоренном контексте, можно понимать, например, следующее выражение О. С. Иоффе: «Не следует смешивать волевое происхождение того или иного явления и его объективные качества»<sup>1</sup>.

Иными словами, если применять схему рассуждения Э. Дюркгейма к системе права и системе законодательства как к *объектам познания*, то можно сказать и так: речь скорее идет об объективности (в аксиологическом контексте как освобождении от ценностей, произвола и т. п.) не объектного языка (языка права как социального факта), но метаязыка (языка социальной науки, например, юриспруденции). Но из этого следует очень важный для контекста нашего рассуждения вывод: в рамках метаязыка мера объективности системы права ничуть не больше, нежели у системы законодательства. Иначе говоря, даже если соглашаться с тем, что, например, «уголовная норма, включенная в кодифицированный акт гражданского права, так и останется нормой уголовного права»<sup>2</sup>, мы все же не имеем оснований

---

<sup>1</sup> Систематизация хозяйственного законодательства / А. В. Мишкевич, О. С. Иоффе, В. С. Пронина [и др.]; отв. ред. С. Н. Братусь. М.: Юрид. лит., 1971. С. 49.

<sup>2</sup> Теория государства и права: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. С. 59.

разграничивать систему права и систему законодательства (право и законодательство) на том основании, что система законодательства имеет (если такая терминология вообще приемлема) «меньшую меру объективности».

В социологии М. Вебера право признается инструментом социального управления, а потому относится к сфере волевого и человеческого, т. е. субъективного. Объективность же права, согласно Веберу, выражалась в рационализации практического действия юридических норм и институтов как результата замещения сознания иррационального, магического, метафизического сознанием рациональным<sup>1</sup>.

В данной связи хотелось бы отметить, что непредвзятое наблюдение за социальными процессами вполне позволяет признать вслед за такими социальными психологами, как Г. Лебон, С. Московичи, Д. Гард, вслед за такими философами и историками, как Л. П. Карсавин, Х. Ортега-и-Гассет, К. Поппер, С. Л. Франк, Ф. Хайек и др., что есть существенные проблемы с признанием поведения человека и человечества рациональным<sup>2</sup>. Высказываются даже суждения о том, что определенная иррациональность коренится в самом существе и структуре права, в правовой норме, в реализации права<sup>3</sup>, в силу чего «банальная ситуация юридических разногласий – не плод недопониманий, но форма бытия юриспруденции»<sup>4</sup>.

Однако, даже соглашаясь с (а) такой характеристикой объективности и (б) с возрастанием рационализации (национальных) систем права, нельзя не отметить, что равно такое же свойство объективности вполне применимо к законодательству. Как видно, и этого достаточно для того, чтобы (соглашаясь с веберовским толкованием объективности права) признать, что мера объективности системы права ничуть не больше, нежели у системы законодательства.

Существует точка зрения, согласно которой «понятие права может быть понято объективно настолько, насколько оно представлено в дей-

---

<sup>1</sup> См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 60.

<sup>2</sup> Там же. С. 53.

<sup>3</sup> См.: Исаев И. А. Теневая сторона закона. Иррациональное в праве: монография. М.: Проспект, 2012. С. 3–6.

<sup>4</sup> Склоковский К. И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд., перераб., доп. М.: Статут. 2008. С. 46.

ствительном либо гипотетическом споре *как обуславливающее единственно верный исход*»<sup>1</sup>. Высказывая критические замечания по данной позиции, Е. В. Булыгин отмечает, что понимание *верности* ответа, которое в подобном споре дает право, основывается на различии между *истинным* и *правильным* ответом. Проблему же различия же истинности и правильности ответа довольно подробно исследовал Р. Дворкин, опираясь на идею связи права и морали<sup>2</sup>. Автор настоящей работы солидаризуется с позицией Е. В. Булыгина в критике идей Р. Дворкина и его последователей по указанной проблематике, поскольку фактически здесь под *правильным* ответом понимается «хороший ответ»<sup>3</sup>.

Соглашаясь с тем, что «это очень странная идея объективности»<sup>4</sup>, хочется добавить следующее. В данном случае Р. Дворкин совершает тот же методологически неприемлемый шаг, что и марксисты в своей интерпретации объективности. Действительно, руководствуясь идеей контекстуальной конвенциональности смысла тех или иных понятий, исследователь волен избрать довольно специфическую трактовку объективности при условии, что он делает специальную оговорку относительно специфики введенной им трактовки объективности. Однако вряд ли в таких случаях допустимо менять относительно устойчивый смысл довольно широко используемых понятий на противоположный. Но именно так и поступает Р. Дворкин, поскольку под объективностью он фактически понимает позитивную аксиологическую оценку некоего предмета, а любая оценка субъективна по определению. Иными словами, объективность фактически толкуется им и его последователями в аксиологическом аспекте, причем так, что традиционный аксиологический смысл объективности (ценностная нейтральность) меняется именно на противоположный смысл – объективен именно хороший («правильный») ответ.

Однако здесь более важен иной момент. Если уж и находить объективность права как, фактически, единственно верный (с точки

---

<sup>1</sup> Brink D. O. Legal Interpretation, Objectivity, and Morality // Objectivity in Law and Morals, edited by Brian Leiter. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 12.

<sup>2</sup> См.: Dworkin R. Law's Empire. Cambridge, Massachusetts / London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986. XIV. 471 p.; Dworkin R. Taking rights seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. P. XV, 293.

<sup>3</sup> Булыгин Е. В. К проблеме объективности права. С. 209.

<sup>4</sup> Там же. С. 210.

зрения морали) вариант толкования законодательства, то в таком ракурсе вполне можно говорить и об объективности законодательства, причем ничуть не меньшей, нежели объективность права, поскольку всегда имеет место лишь единственный текст законодательства, который допускает множество вариантов толкования.

Сам же Е. В. Булыгин наделяет право свойством объективности, но ведет речь не столько об объективности права как *объектного языка* (языка норм права), сколько об объективности *метаязыка* права (например, языка науки о праве). В частности, ученый вслед за Г. Х. фон Вригтом совершенно четко различает нормы и их описания (нормативные формулировки), иначе, нормы *de re* и нормы *de dicto*, т. е. высказывания об этих нормах. При этом Е. В. Булыгин подчеркивает, что если понимать систему права как совокупность норм *de re*, то нет оснований считать ее ни истинной (согласно классической, корреспондентской теории истины Аристотеля-Тарского), ни объективной (соглашаясь с метафизической, истинностной концепцией объективности)<sup>1</sup>. Вместе с тем он указывает, что «проблема объективности права может быть затронута как вопрос об условиях истинности нормативных предложений»<sup>2</sup>. И те правовые предложения, которые могут быть названы *дескриптивными*, могут быть охарактеризованы как объективные<sup>3</sup>. Условием признания их объективности будет позитивность правового ответа на соответствующую ситуацию: «Ответ позитивен тогда и только тогда, когда право определяет нормативный статус интересующего нас деяния, и негативен, когда оно не определяет его»<sup>4</sup>. При этом из общего смысла теории нормативных правовых систем Е. В. Булыгина (и К. Э. Алчуррона) следует, что объективной является скорее система законодательства (как совокупность нормативных предложений), нежели система права.

Помимо этого, говоря об истинностном («метафизическом») понимании объективности, Е. В. Булыгин различает высказывания *о праве* и высказывания о деонтическом статусе деяния, *соразмерного праву*<sup>5</sup>, что позволяет говорить об объективности даже при негативном

---

<sup>1</sup> См.: Булыгин Е. В. К проблеме объективности права. С. 205–206.

<sup>2</sup> Там же. С. 207.

<sup>3</sup> Там же. С. 206.

<sup>4</sup> Там же. С. 208.

<sup>5</sup> Там же. С. 211.

правовом ответе (т. е. при *необъективном* ответе в аспекте высказывания о деонтическом статусе деяния, *соразмерного праву*): «Система норм, которая не обуславливает деонтического статуса определенного деяния, может быть объективной, в том смысле, что о ней можно сформулировать объективно истинное высказывание»<sup>1</sup>. Но из этого также следует, что система законодательства может рассматриваться как ничуть не менее объективное явление, нежели система права.

Таким образом, ни один из приведенных вариантов толкования объективности как свойства права не позволяет считать право (по меньшей мере, право как систему норм, систему права) чем-то более объективным, нежели законодательство (система законодательства). Из этого следует, что если считать права человека явлением объективным, то данное обстоятельство не будет являться препятствием для построения теоретической модели, которая описывала бы права человека как некий законодательный феномен.

### **3.2. Права человека как законодательный феномен: предпосылки рассмотрения через модель семиотического треугольника**

Тот факт, что различие права и законодательства не зиждется на присущей им мере объективности, с одной стороны, не препятствует отнесению прав человека к законодательным феноменам, а с другой – вовсе не означает того, что система права и система законодательства – это одно и то же. Вместе с тем заметим, что анализ отечественной юридической литературы по проблематике соотношения системы права и системы законодательства позволяет сделать весьма очевидный вывод о еще одной трудности, выявляемой в ходе использования прагматического аспекта при анализе проблематики сферы бытия прав человека.

В частности, высказывание о том, что «законодатель не может, произвольно издавая правовые нормы, изменять исторический тип права»<sup>2</sup>, довольно явно перекликается с идеей о том, что позитивное

---

<sup>1</sup> Булыгин Е. В. К проблеме объективности права. С. 211.

<sup>2</sup> Воппенко Н. Н. Понятие системы права. С. 11.

право не меняет содержания права естественного. Кроме того, можно встретить и несколько иной ход рассуждения, приближающийся к социологической концепции живого права, правового реализма. В частности, Н. Н. Вопленко высказывает довольно любопытную мысль о том, что «система права – явление объективного порядка. Она складывается как результат адаптации созданного отраслевого законодательства к объективно существующей системе общественных отношений и определяется в своем существовании закономерностями их развития»<sup>1</sup>. Видно, что в такой интерпретации система права выступает неким аналогом «книжного» (Law in books), «мертвого» права. При этом, хотя оно и противопоставлено «живому» праву (праву в жизни), но связано с ним, производно от него.

Вместе с тем приведенную идею Н. Н. Вопленко раскрывает не вполне последовательно, когда он соглашается, например, с И. Н. Сенякиным в том, что в некоторых случаях существуют отрасли права, но отрасли соответствующего законодательства еще не сложились<sup>2</sup>. Думается, что при названном алгоритме формирования системы права (она есть адаптация законодательства, производна от него) никак не может быть такой ситуации, когда отрасль права (результат) уже существует, а отрасль законодательства (детерминанта) еще не сложилась.

Иногда идеи о соотношении права и законодательства выражаются более корректно, и речь ведется о двух выражениях сущности права<sup>3</sup>, аспектах права<sup>4</sup>. При этом подчеркивается та конструктивная мысль, что право и законодательство неразрывны, т. е. «право не существует вне законодательства, а законодательство в широком его понимании и есть право»<sup>5</sup>. В силу этого довольно продуктивной кажется мысль о том, что в качестве базовой философско-методологической предпосылки в решении вопроса о соотношении системы права и системы законодательства является подход, приобретший

---

<sup>1</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 14.

<sup>2</sup> Сенякин И. Н. Система права и система законодательства // Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. Т. 2 / под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, 2001. С. 339.

<sup>3</sup> См.: Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 12.

<sup>4</sup> См.: Бастрыкина О. А. Системообразующие связи внутреннего содержания права: дис. ... канд. юрид. наук. Коломна, 2005. С. 111.

<sup>5</sup> Сенякин И. Н. Система права и система законодательства. С. 339.

популярность после третьей волны масштабной дискуссии в отечественной науке о соотношении системы права и системы законодательства (1982 г.). Согласно этому подходу право и законодательство соотносятся как форма и содержание<sup>1</sup>. В настоящее время эта идея весьма широко признается по меньшей мере в отечественной юриспруденции, хотя выражается как явно, непосредственно<sup>2</sup>, так и опосредованно, через, например, такой признак права, как его формальная определенность.

Однако стоит особо указать, что, следуя гегелевской идее, отдельные ученые ведут речь не столько о форме и содержании, сколько о внутренней форме (система права) и внешней форме (система законодательства). Но проблема состоит в том, что понятие «внутренняя форма» является внутренне противоречивым, т. е. абсурдным. Понятие же «внешняя форма» является плеоназмичным, т. е. избыточным. Таким образом, предпочтительным представляется использование категорий «форма» (т. е. не внутренняя и не внешняя) и «содержание».

Кроме того, говоря о соотношении в контексте различий формы и содержания, можно увидеть еще одну существенную теоретическую проблему, поскольку еще в ходе второй волны дискуссии о системе права и системе законодательства (1956–1958 гг.) была высказана идея несовпадения системы права и системы законодательства<sup>3</sup>. При этом важно обратить внимание на важный нюанс, подводящий нас к корректному разрешению поставленной проблемы. Речь следует вести не столько о **выявлении** проблемы<sup>4</sup>, т. е. не о том, что система права и система законодательства реально не совпадают, сколько именно о **постановке** проблемы, реальность которой лишь декларируется.

Эту мысль наглядно демонстрирует, в частности, следующее высказывание: «Юридическая наука, например, констатирует, что финансовое право, сельскохозяйственное право, право социального обеспечения существует на уровне отраслей права, отрасли же соответ-

---

<sup>1</sup> См.: Шебанов А. Ф. Форма советского права. М.: Юрид. лит., 1968. 216 с.

<sup>2</sup> См.: например, Шебанов А. Ф. Указ. соч.; Бастрыкина О. А. Указ. соч. и др.

<sup>3</sup> См.: Байтин М. И., Петров Д. Е. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства // Правоведение. 2004. № 4. С. 30.

<sup>4</sup> Там же.

ствующего законодательства в этих сферах не вполне сложились»<sup>1</sup>. Анализ данного высказывания вызывает вопрос: идет ли речь только лишь об отечественной науке или это идеи, поддерживаемые мировой научной юридической мыслью (раз уж речь идет об общей теории права)? Думается, что вряд ли о мировой, если учесть хотя бы особенности формирования правовой семьи общего права (Common Law). Кроме того, даже в рамках российской юридической науки не сформулирован исчерпывающий реестр ни отраслей права, ни отраслей законодательства (хотя бы на некоторый конкретный момент времени), с которым согласились бы все российские ученые-юристы.

Поскольку все действительное разумно, т. е. противоречивой бывает не действительность, но ее отражение в сознании, постольку думается, что поставленная проблема присуща метаязыку права. Варианты решения данной проблемы в метаязыке (языке науки) фактически были представлены посредством исчисления объемов понятий «система права» и «система законодательства» с помощью булевой алгебры и наглядно продемонстрированы в виде кругов Эйлера<sup>2</sup>. Но этот подход является глубоко ошибочным во всех вариантах решения проблемы относительно «несовпадения права и законодательства». Поясним эту мысль.

Итак, на сегодняшний момент, различными учеными предлагаются следующие варианты исчисления объемов понятий «система права» и «система законодательства» в ходе их сопоставления:

1. Отношение подчинения. Это родо-видовое деление понятий, когда (а) объем понятия «система права» включает в себя в качестве подмножества объем понятия «система законодательства»<sup>3</sup>, либо же, наоборот, (б) объем понятия «система законодательства» включает в себя в качестве подмножества объем понятия «система права»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Сенякин И. Н. Система права и система законодательства. С. 339.

<sup>2</sup> Именно такой является методология соотношения понятий, даже если не все ученые-юристы в полной мере осознают данный факт.

<sup>3</sup> Например, Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: учеб. пособие. В 2 т. Т. I / В. Н. Карташов. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2005. С. 170 (Серия «Ярославская юридическая школа начала XXI века»); Поленина С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М.: Наука, 1979. С. 30–33; Морозова Л. А. Теория государства и права. М.: Юрист, 2002. С. 234–235 и др.

<sup>4</sup> Например, Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 12; Мицкевич А. В. Соотношение системы советского права с системой советского законодательства // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1967. Вып. 11. С. 5 и др.

2. Отношение тождества. В этом случае объем понятия «система права» тождествен объему понятия «система законодательства»<sup>1</sup>.

3. Отношение пересечения. При этом объем понятия «система права» частично включает в себя объем понятия «система законодательства» (что принято называть несовпадением отраслей права с отраслями законодательства), т. е. признается наличие отраслей права, не являющихся отраслями законодательства, и одновременно отраслей права, не являющихся отраслями законодательства<sup>2</sup>.

Именно поэтому все указанные варианты соотношения системы права (понимаемой как содержание) и системы законодательства (понимаемой как форма) через исчисление объемов соответствующих понятий с помощью булевой алгебры и наглядно представленные в виде кругов Эйлера являются **неприемлемыми**.

В частности, в варианте с отношением подчинения мы имеем дело с родовым понятием «система права». Но из этого неизбежно следует, что мы вынуждены рассматривать систему законодательства в качестве одного из **видов системы права**, что неправильно. Либо наоборот, мы в качестве родового понятия рассмотрим систему законодательства, то в качестве одного из **видов системы законодательства** перед нами предстанет система права, что также неверно. Во всех этих случаях проблема даже не в том, что (как минимум) в отечественной юридической науке не принято говорить, что система законодательства является одним из видов системы права, поскольку это как минимум порождает вопрос: а какие еще есть разновидности систем права, кроме системы законодательств? Или же вопрос: а какие еще есть разновидности систем законодательства, кроме системы права? Но более серьезной проблемой является то, что неверно говорить о такой форме, которая была бы **видом содержания**.

Если же речь вести об отношении частичного пересечения, то мы получаем три столь же неприемлемых элемента: (1) бессодержательную форму; (2) бесформенное содержание; (3) форму, совпадающую с содержанием. Также неприемлемый элемент мы получаем

---

<sup>1</sup> Например, Лившиц Р. З. Теория права. М.: БЕК, 1994. С. 118.

<sup>2</sup> Например, Сенякин И. Н. Система права и система законодательства. С. 339; Общая теория и права: учебник / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев [и др.]; под общ. ред. А. С. Пиголкина. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 1996. 384 с.

и в случае совпадения системы права и системы законодательства – форму, тождественную с содержанием.

Иными словами, во всех указанных случаях мы видим неудачную попытку совместить несовместимое, т. е. понятия «форма» и «содержание» являются несовместимыми для проведения логической операции исчисления объемов этих понятий. Но это представляется необоснованным пренебрежением к конструктивному потенциалу категорий «форма» и «содержание».

Но если все же пойти по пути использования методологического потенциала указанных категорий, то соотношение системы права и законодательства видится следующим. Итак, все типы правопонимания в той или иной мере признают в природе права его информационный аспект. Подобный подход описания и объяснения объективной реальности представляется совершенно правильным.

Одним из видов употребления языка является нормативное. Нормативное употребление языка осуществляется посредством прескриптивных (предписывающих) высказываний<sup>1</sup>. Из этого следует, что как минимум в языковом аспекте право вполне допустимо рассматривать как совокупность предписывающих высказываний, а потому вслед за А. А. Шмелевым можно вести речь о нормативной правовой информации<sup>2</sup>.

Важнейшим средством бытия и функционирования правовой информации можно считать язык как определенную семиотическую (знаковую) систему. В силу этого представление о языке как об одной из форм бытия права было бы большим преувеличением считать положением именно постмодернистской либо же иной постклассической теории права, притом что «первым положением постмодернистской картины правовой реальности можно считать ее знаково-символический характер»<sup>3</sup>.

Как раз поэтому, решая вопрос о соотношении формы и содержания применительно к праву и законодательству, следует обратить более пристальное внимание как минимум на объектный язык права. Да, это очень многогранная и непростая проблематика, заслуживаю-

---

<sup>1</sup> См.: Ивин А. А. Логика: учеб. пособие. С. 23.

<sup>2</sup> См.: Шмелев А. А. О правовой информации. URL: <http://www.scli.ru> (дата обращения: 10.07.2023).

<sup>3</sup> Честнов И. Л. Постклассическая теория права. С. 79.

шая отдельного пристального изучения. Но, ограничиваясь заданным нами контекстом исследования, рассмотрим лишь первичные элементы подобного языка.

В силу того, что языковые выражения складываются посредством особых логических связей из понятий<sup>1</sup>, стоит рассмотреть именно понятие в поиске ответа на вопрос о том, как соотносятся формы и содержания применительно к праву и законодательству.

Вместе с тем любое понятие необходимо рассматривать через призму трех ипостасей бытия: «...мира действительности, мира понятий и мира значений. Эти величины следующим образом соотносятся друг с другом: ...мир действительности есть исходная величина; мир понятий обуславливается процессом познания действительности и стремится быть адекватным ему...; мир значений есть тот конкретный способ, которым фиксируется в языке мир понятий...»<sup>2</sup>. Эта верная мысль основана на модели семантического треугольника Г. Фреге, которая была усовершенствована Ч. К. Огденом и А. А. Ричардсом (треугольник отнесенности) в их работе с показательным названием «Значение значения», опубликованной в 1923 г.

Согласно модели семантического (семиотического) треугольника Ч. К. Огдена и А. А. Ричардса в понятии следует различать знак, значение и смысл. Сразу оговоримся, что схема семантического треугольника весьма широко используется в различных научных исследованиях, однако в различных отраслях знания названия вершин данного треугольника лексическом плане не совпадают<sup>3</sup>.

Уточним, что для социально-юридического контекста более приемлемым представляется не столько семантический, сколько семиотический подход к подобной модели, поскольку семиотический аспект в большей степени отражает такой социальной контекст, как формирование смысла.

Первой вершиной семиотического треугольника является знак права, экспонент права. Да, сам термин «знак» в лингвистических словарях не понимается безальтернативно, но имеет свыше двух

---

<sup>1</sup> См.: Ивин А. А. Логика: учеб. пособие. С. 32.

<sup>2</sup> Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. С. 3.

<sup>3</sup> Яшина Т. В. Вариативность семантического треугольника в аспекте изучения терминологических единиц // Огарев-online. 2013. № 4. URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/variativnost-semanticheskogo-treugolnika-v-aspekte-izucheniya-terminologicheskikh-edinic> (дата обращения: 20.12.2023).

десятков определений<sup>1</sup>. Вместе с тем в целом под знаком мы будем понимать собственно слово, как языковую единицу, представленную соответствующими знаками конкретного языка (например, буквами алфавита естественного языка). Если говорить точнее, то в реальности речь идет о совокупности знаков как подмножества знаковой системы – определенного естественного языка (русского, болгарского, немецкого, испанского и т. д.). Иными словами, своего рода система кодирования информации, формализующая определенный понятийный аппарат, конституирующий (в данном контексте рассмотрения) объектный язык права, а также (в других контекстах) метаязык права, например, язык юридической науки.

В рассматриваемой модели знаком объектного языка права будет законодательство. Конечно, существуют различные точки зрения на то, что есть законодательство. Однако можно заметить, что в наиболее узком определении законодательство понимается как совокупность законов. И хотя такое определение вполне соответствует приведенной модели, все же важно отметить, что расширение предметной области понятия законодательства точно так же в полной мере соответствует приведенной модели, т. е. к знаку права можно отнести и совокупность нормативно-правовых актов.

Более того, приведенная модель правового семиотического треугольника достаточно четко показывает, что рассматриваемая вершина (знак / экспонент права) права отражает такой фактически общепризнанный признак (позитивного) права, как формальная определенность. Но, как несложно заметить, знаковую форму, например письменную форму, имеют не только нормативно-правовые акты. Даже если речь идет о прецедентном праве, то заметим, что в семье общего права условием действия системы прецедентов является наличие источников информации о прецедентах, т. е. (имеющих письменную форму) судебных отчетов (law reports). С определенными оговорками письменную форму (рождаемую, например, в ходе правоприменительной деятельности) в настоящее время можно считать и атрибутом правовых обычаев.

Но в этом случае несложно заметить, что такой признак, как формальная определенность, непосредственно отражен в том, что принято именовать «форма права». В силу этого в семантическом аспекте

---

<sup>1</sup> См.: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцикл., 1966. С. 158–160.

нет никаких сложностей для того, чтобы объединить совокупность всех форм права в предметную область понятия «законодательство» («система законодательства»), т. е. понимать законодательство как совокупность всех форм права, **как совокупность правовых текстов, как совокупность текстов правовых норм**. Это замечание является очень важным в контексте нашего исследования, поскольку речь идет об отнесении прав человека именно к феноменам законодательства, т. е. к специфическому знаку / экспоненту / тексту права, **нежели к нормативному предписанию**.

Отметим, однако, что в отечественной юриспруденции имеет хождение идея о том, что законодательный **текст** (то, что в данной работе названо «экспонент права») – это и есть правовое **предписание** (как форма выражения нормы права<sup>1</sup>, как минимальная смысловая часть текста нормативно-правового акта<sup>2</sup>). Думается, что такая точка зрения проистекает из необоснованного расширения понятия «норма права», когда в число правовых норм включаются «декларативные нормы», «дефинитивные нормы» и т. д. В контексте же данной работы подобная точка зрения признается неприемлемой в силу очевидного смешения функций языка, не позволяющего дать определение понятию нормы права с такими идентифицирующими признаками, которое позволило бы корректно объединить реальные нормы права и квазинормы. Попытка же наделять каждый фрагмент текста, например, нормативно-правового акта статусом «нормативно-правовое предписание» представляется неудачной попыткой «ревизии» разделения описательных и оценочных высказываний (в число которых и входят предписания). Именно поэтому в контексте данной работы предписание общего характера и отождествляется с нормой права, представляющей из себя единство знака, значения и смысла права, а не только знак / экспонент права.

Конечно, в данной связи можно предвидеть возражение, основанное на методологии естественно-правовой школы права. Речь идет об особенностях сочетания так называемого естественного и позитивного права. Поскольку естественное право принято считать мерилom

---

<sup>1</sup> См.: например, Сырых В. М. Логические основания общей теории права: в 2 т. Т. 1: Элементный состав. М.: Юстицинформ, 2000. С. 204; Давыдова М. Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: проблема соотношения // Вестник ВолГУ. Сер. 5: Юриспруденция. 2006. № 3. С 52–57.

<sup>2</sup> См.: Давыдова М. Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: проблема соотношения. С. 52.

правильности позитивного права, то принято фактически презюмировать ряд свойств права естественного, отличающих его от позитивного. В частности, если уж признавать естественное право неоткрытым, отсеченным от воли государства, то исчезает потребность характеризовать его генезис через «издание или санкционированность государством». Соответственно, в таком случае исчезает потребность характеризовать естественное право как имеющее формальную определенность. А поскольку права человека при таком подходе принято считать как минимум основой естественного права, поскольку заведено выделять так называемые правовые и законные права человека<sup>1</sup> / естественные и позитивные, наделять права человека характером наднациональным и экстерриториальным<sup>2</sup>, то вроде как и нет особой нужды характеризовать и эти права через формальную определенность. Как несложно понять, целью такого алгоритма рассуждения является теоретическое обоснование ограничения притязаний государства на то, чтобы определять номенклатуру прав человека по своему усмотрению. Собственно говоря, это цель всей естественно-правовой доктрины<sup>3</sup>.

Однако вполне верным представляется и утверждение о том, что без законодательного закрепления данных прав они становятся «размытыми», что затрудняет осуществление государством их обеспечения и защиты<sup>4</sup>, т. е. так называемые естественные права «безоружны»<sup>5</sup>, а потому «практика идет по пути позитивного закрепления естественных прав»<sup>6</sup>, что довольно ярко выражено в понятии «позитивное естественное право» (Р. Паунд) в том смысле, что естественное право может приобретать форму позитивного<sup>7</sup>, т. е. права человека включают в себя правовые тексты<sup>8</sup>, т. е. знак права.

---

<sup>1</sup> См., например, Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно-правовое регулирование). М.: Юрист, 2003. С. 19.

<sup>2</sup> Там же. С. 24.

<sup>3</sup> См.: Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. С. 23.

<sup>4</sup> Там же. С. 24.

<sup>5</sup> Глухарева Л. И. Права человека в современном мире. С. 41.

<sup>6</sup> Права человека: учеб. для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. С. 27.

<sup>7</sup> См.: Рассказов Л. П., Упоров И. В. Естественные права человека. СПб.: Лексикон, 2001. С. 78.

<sup>8</sup> См.: Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека (тезисы доклада) // Права человека: вопросы истории и теории: материалы межвуз. науч.-теоретич. конф. 24 апреля 2004 г. / под ред. Д. И. Луковской. СПб., 2004. С. 32.

Знак права непосредственно связан с двумя другими вершинами семантического треугольника. Знак права репрезентирует значение и смысл права. Заметим, однако, что значение и смысл долгое время в логико-философской и лингвистической литературе отчетливо не разделялись, пока Г. Фреге в своей логической теории знаков не разделил понятия смысла и значения знака. Эта мысль была в дальнейшем широко поддержана в логико-философской и лингвистической литературе, поскольку несла существенный конструктивный потенциал. И как мы увидим далее, этот потенциал вполне может быть задействован и в юридической науке.

Итак, второй вершиной семантического треугольника является (предметное) значение. Для обозначения этой вершины применяются различные имена. В логико-семиотических исследованиях значение часто называется «денотат», а в лингвистике вместо термина «денотат» часто употребляется термин «экспонент». В учебной литературе денотат нередко именуют «объем понятия». Под объемом в данном случае понимается «совокупность, или класс, тех предметов, которые обладают признаками, входящими в содержание понятия»<sup>1</sup>. В рамках настоящей работы назовем эту вершину денотатом / значением (объектного) языка права.

Третьей вершиной треугольника был определен смысл понятия. Его часто называют также его содержанием: «Содержание понятия – совокупность тех свойств, которые присущи всем предметам, обозначаемым данным понятием, и только им»<sup>2</sup>. В математике это содержание принято называть «концепт денотата», а в лингвистике – «десигнат». Подчеркнем то, что сама концепция смысла в нашем юридическом контексте не будет опираться на так называемые классические (аристотелевские) идеи, связывающие смысл с целью (деятельности), но будет иметь феноменологические корни, хотя и без феноменологической гиперболизации субъективизма.

Однако еще раз обратимся именно к семиотической, а не семантической идее смысла. В формально-логических исследованиях допустимо абстрагирование высоких уровней, позволяющее говорить вообще о знаке и означиваемом. Это позволяет обойти проблему смыслообразования в социальной среде и вести речь о семантической

---

<sup>1</sup> Ивин А. А. Логика: учеб. пособие. С. 34.

<sup>2</sup> Там же.

концепции смысла. Семиотическая же концепция обоснована особенностями исследования именно права, поскольку проблема адекватного описания и понимания права неразрывно связана с проблемой реального смыслообразования, привязанного к конкретным субъектам относительно не только языка науки о праве, но и самого права. Иными словами, речь идет о наполнении права и науки о праве «человекоразмерностью и практической ориентированностью»<sup>1</sup>.

С одной стороны, на придание праву «человекоразмерности» можно возразить идеями Г. Фреге как основоположника объективистской, антипсихологической концепции смысла, трактующей смысл как феномен интерсубъективный, по сути, не связанный с фактором пользующегося языком и интерпретирующего язык человека<sup>2</sup>. Но, несмотря на намерения самого Фреге, именно его семантическая модель весьма удобна для ухода от проблемы объективного понимания смысла, что и будет показано далее.

В качестве другого (потенциального) возражения можно привести, например, слова Р. И. Павилениса, дающего не жизненно-реальное лингвистическое, но скорее социально-абстрактное, логическое толкование семантического треугольника: «Понятие смысла Фреге имеет познавательную функцию: оно вводится, прежде всего, для решения проблемы познавательной ценности или информативности истинных утверждений тождества»<sup>3</sup>.

В качестве контраргумента приведем идеи Дж. Л. Остина (Austin), который верно указал, что философия языка во многом пострадала от так называемого дескриптивного заблуждения (*descriptive fallacy*), поскольку язык анализировался так, как если бы он был исключительно дескриптивным<sup>4</sup>. Соответственно, Остин полагал, что для преодоления данного заблуждения следует уходить от абстрактного анализа понятий к конкретному анализу языка, к анализу, учитывающему такую объективную реальность, как социальный контекст формирования и приписывания смысла. Рассуждая таким образом

---

<sup>1</sup> Ивин А. А. Логика: учеб. пособие. С. 166.

<sup>2</sup> См.: Структура и смысл. Киев: Наук. думка, 1989. С. 96.

<sup>3</sup> Павиленис Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка. М.: Мысль, 1983. С. 48–49.

<sup>4</sup> См.: Остин Дж. Л. Истина // Остин Дж. Л. Три способа пролить чернила: философские работы. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 153.

и снимая примат дескриптивной интерпретации языковых выражений, Дж. Остин вводит понятие перформатива. Важность этого обусловлена тем, что Дж. Л. Остин обосновывает допустимость нахождения смысла именно перформативов.

Конструктивный потенциал развития идей Остина о смысле недескриптивных высказываний нашел понимание у многих исследователей, предложивших различные варианты классификации перформативов. Вместе с тем важно отметить, что практически все эти исследователи выделяли в числе перформативов предписания, говоря, например, о регулятивных перфективах (Ю. Хабермас), директивах (Д. Вундерлих, Дж. Серль), актах власти (Б. Фрейзер). При этом следует подчеркнуть, что один из известнейших специалистов в области философско-правовых исследований экс-ректор Оксфордского университета Г. Л. А. Харт отмечал, что именно Дж. Л. Остин оказал наибольшее влияние на формирование его правопонимания<sup>1</sup>, хотя Харт говорил о перформативах несколько иначе, противопоставляя дескриптивизму аскриптивизм<sup>2</sup>.

Автор настоящей работы вполне разделяет выводы, полученные Дж. Л. Остином, а потому полагает допустимым говорить о нахождении смысла предписывающих высказываний в целом, а не только отдельных понятий, формирующих данное высказывание. Однако о смысле / десигнате и значении права стоит сказать особо.

### **3.3. Права человека как законодательный феномен: репрезентация значения и смысла права**

Следующая вершина семиотического треугольника (адаптированного к нашему пониманию соотношения права и законодательства) имеет самые разнообразные наименования: «смысл», «образ», «понятие», «концепт» «сигнификат», «десигнат». Заметим при этом, что лишь термины «сигнификат» и «десигнат» однозначны и относятся к отражению в сознании предмета, качества или процесса (реальной действительности) как содержания знака права (языковой единицы).

---

<sup>1</sup> См.: Харт Г. Л. А. Понятие права. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 273.

<sup>2</sup> См.: Харт Г. Л. А. Приписывание ответственности и прав // Изв. высш. учеб. зав. Правоведение. 2010. № 5 (292). С. 119.

Смыслом знака (экспонента) права, т. е. его сигнификатом, десигнатом, является предписание. Можно сказать и так: смыслом законодательства является (правовое) предписание. Своеобразным вместилищем, территорией подобных смыслов можно считать правосознание. Неслучайно Е. В. Булыгин отмечает, что интерпретация может быть разъяснена как переход от нормативной формулировки к норме<sup>1</sup>, что имеет место в правосознании.

Некое подобие рассматриваемой модели соотношения права и законодательства можно увидеть в идеях А. А. Кононова<sup>2</sup>, который считает, что законодательство выступает описанием формы системы права посредством нормативно-правовых предписаний. Если говорить точнее, то система права рассматривается автором как юридическая модель совокупности общественных отношений, а законодательство он полагает описанием данной модели.

Такой подход, однако, вызывает возражение. Поскольку необходимо различать нормы права *de re* и нормы *de dicto*, то видно, что А. А. Кононов говорит о законодательстве скорее как о текстовом выражении норм *de dicto*, т. е. как об экспоненте *метаязыка* (норм) права. Иными словами, описание права (понимаемого, например, как юридическая модель совокупности общественных отношений) – это не законодательство, т. е. не экспонент (*объектного* языка (норм) права), а, например, язык юридической науки. Текстовое выражение языка юриспруденции – это и есть экспонент *метаязыка* права.

Вместе с тем, выстраивая подобную модель соотношения права и законодательства, нельзя обойти вниманием довольно серьезную проблему – это вопрос о количестве смыслов права, т. е. проблема однозначности понимания текстов правовых норм. Заметим, что хотя Э. Моршер отмечал: «Если утверждается „право на что-то“, то операции логики позволяют устанавливать многозначность или неясность в тексте, т. е. искать определенный смысл»<sup>3</sup>, все же думается, что проблема количества смыслов не является препятствием общей постановки вопроса о смысле права. Сама же проблема с коли-

---

<sup>1</sup> См.: Булыгин Е. В. К проблеме объективности права. С. 211.

<sup>2</sup> См.: Кононов А. А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. 2003. № 3 (248). С. 12–21.

<sup>3</sup> Байтеева М. В. Проблемы понимания права с позиций феноменологической герменевтики // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 159.

чеством смыслов текстов правовых норм решается различным образом и в юридической теории, и на практике.

Давая общую характеристику указанным подходам, Г. Кельзен отметил, что в одном из подходов толкование права описано как функция познания, которое может быть истинным или ложным. Это, в свою очередь, предполагает то, что смысл законодательных текстов будет единственным. Второй же подход основан на идее о том, что толкование права является функцией воли, что вполне предполагает наличие множественности смыслов законодательных текстов<sup>1</sup>.

Довольно ярким законодательным примером, в котором отражены идеи единственности смысла текстов правовых норм является ч. 1 ст. 9 закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», где установлено, что Верховный Суд Российской Федерации изучает, обобщает судебную практику и в целях обеспечения ее единства дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации<sup>2</sup>.

В целом ряде постановлений Конституционного Суда Российской Федерации говорится, что равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразности понимания и применения нормы права всеми правоприменителями; неопределенность правовой нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к возможности ее произвольного применения, а значит, к нарушению указанного принципа<sup>3</sup>. Можно привести много иных подобных примеров.

Если говорить о теории, то отметим, что в научной литературе единственность смысла, т. е. однообразное толкование правовых норм, достаточно давно признается одним из важнейших направлений реализации принципа социальной справедливости<sup>4</sup> и даже императивом

---

<sup>1</sup> Цит. по: Тропер М. Свобода толкования у конституционного судьи. С. 196.

<sup>2</sup> См.: О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конституц. закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> См.: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 11-П, от 11 ноября 2003 г. № 16-П, от 21 января 2010 г. № 1-П и от 13 июля 2010 г. № 16-П.

<sup>4</sup> См.: Hart H. L. A The Concept of Law. Oxford University Press, 1994. P. 156; Dworkin R. Taking rights seriously. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977. P. 86–88; Galligan D. J. Discretionary Powers. A Legal Study of Official Discretion Oxford: Clarendon Press, 1986. P. 160.

либеральной демократии<sup>1</sup>. Широкое обсуждение политических истоков идей единственности смысла права принято относить к первой половине 18 века и связывать с Великой французской революцией, когда в Европе закон был провозглашен выражением общей воли, что фактически отрицало творческое толкование права<sup>2</sup>. Об этом и заявил Монтескье, назвав судей лишь устами, произносящими слова закона<sup>3</sup>. Развитием мыслей Ш. Л. Монтескье об «устах закона» можно считать поиск единственно верного, объективного смысла через, например, волю законодателя<sup>4</sup>, в том числе «подлинную»<sup>5</sup> и т. п. волю законодателя.

Вместе с тем фактически неизбежными признаются как 1) изначальная широта и неопределенность права<sup>6</sup>, неизбежно предполагающая вариативность смысла, так и 2) потребность в изменении смысла в силу изменения социальной обстановки. В частности, как отмечает председатель данного суда В. Д. Зорькин, «изменение жизненных реалий может приводить и к отступлению от ранее сформулированных правовых позиций, поскольку Конституционный Суд, применяя и истолковывая Конституцию, выявляет не только «букву», но и «дух» тех или иных ее положений на каждом новом этапе развития и тем самым приспособливает ее к меняющимся отношениям в обществе («живое право», «живая» Конституция)»<sup>7</sup>.

Кроме того, фактическое допущение множественности смыслов одних и тех же текстов закреплено на нормативно-правовом уровне, в частности в ст. 73 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»<sup>8</sup> и в § 40 Регламента

---

<sup>1</sup> См.: Lustgarten L. The Governance of Police. London: Sweet & Maxwell, 1986. P. 164.

<sup>2</sup> См.: Тропер М. Право и его интерпретации // Российский ежегодник теории права. № 4. 2011. С. 187.

<sup>3</sup> См.: Монтескье Ш. Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 145.

<sup>4</sup> См.: Пиголкин А. С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения // Закон: создание и толкование / под ред. А.С. Пиголкина. М.: Спарк, 1998. 283 с.

<sup>5</sup> Гук П. А. Судебное толкование норм права // Журнал российского права. 2016. № 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>6</sup> См.: Kiel Brennan-Marquez. Extremely broad Laws // Arizona Law Review. 2019. Vol. 61. Issue 3. P. 652.

<sup>7</sup> Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>8</sup> См.: О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конституц. закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Конституционного Суда Российской Федерации<sup>1</sup>. Стоит добавить, что подобный механизм существует не только в российском праве. Аналогичный механизм закреплен, например, в Законе о Федеральном Конституционном Суде Германии и в § 48 его Регламента.

Автор данной работы не желает совершать методологическую ошибку, которую вслед за М. Вебером можно было бы назвать смешением нормативного и казуального подхода в науке, т. е. смешением должного и сущего. В связи с этим автор настоящей работы разделяет идею о том, что большим благом является единственность, безальтернативность смысла текста любой правовой нормы. Это не позволяет согласиться с тем, что единственность смысла реально имеет место в юридической деятельности.

Несколько более сложной такая ситуация выглядит в свете ранее упоминавшейся позиции Р. Дворкина и его последователей, различающих правильные (right) и истинные (true) варианты толкования права. Действительно, можно согласиться с тем, что наилучший (т. е. наиболее правильный) «правовой ответ» на конкретную жизненную ситуацию логически связан с наилучшим толкованием нормы права, соответствующей данной ситуации. Но совершенно очевидно то, что нечто наилучшее (т. е. то, что выражено абсолютной аксиологической оценкой) всегда является единственным. Иначе говоря, правильным (наилучшим) может быть лишь один правовой ответ, а значит, лишь один вариант толкования текста нормы права. Но это автоматически ведет нас к признанию единственности смысла, т. е. речь можно вести о единственности варианта толкования любой правовой нормы, поскольку единственный десигнат / смысл права будет действительно являться наилучшим смыслом.

Однако проблема состоит в том, что любая аксиологическая оценка по самой своей природе исключительно субъективна, и это нашло свое отражение и в логической структуре такой оценки (субъект оценки, объект, содержание, критерии). Но из этого вытекает, что количество оценок, пусть даже и наилучших оценок, вполне может быть равно количеству субъектов, дающих эту оценку, поскольку наилучшая оценка (в превосходной степени) единственна, но лишь в привязке к субъекту, ее давшему.

---

<sup>1</sup> См.: Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Принят Конституционным Судом Российской Федерации в пленарном заседании 1 марта 1995 г. № 2-1/6.

Тем не менее сказанное вовсе не означает, что все эти оценки всегда реально являются разнообразными (актуально разнообразными). Такие оценки могут быть разнообразными, т. е. они вариативны *потенциально* (потенциально разнообразны). Но из этого следует, что и десигнаты (смыслы) права многообразны как минимум потенциально. Иными словами, возможна такая ситуация, когда характер оценки одного и того же предмета окажется одинаковым в силу одинаковости восприятия критериев данной оценки различными субъектами. В подобном случае речь идет об интересубъектности оценок.

Рассуждение же о десигнате (смысле) права вне интересубъектной аксиологической единственности заставляет нас говорить (хотя и с большой долей сожаления) о том, что более сообразной реальности представляется идея фактической множественности правовых смыслов. Причем признание такой множественности вовсе не является исключительным уделом правовых школ, основанных на идеях феноменологической герменевтики.

Вместе с тем к таким идеям «радикальной свободы» толкования применимы два серьезных возражения – теоретического и практического характера.

Теоретическое возражение основано на устранении абсолютной свободы толкования законодательных положений (экспонента права) при использовании приема *reductio ad absurdum*. Эта устранимость основана на том, что согласие с абсолютностью свободы установления любого смысла права для любого знака права (для законодательства) неизбежно устраняет допустимость введения именно юридического контекста рассуждения о смыслообразовании. Дело в том, что слово в прескрипции – это средство воздействия на поведение человека. Соответственно, полная свобода толкования этого слова не позволяет ему целенаправленно воздействовать на поведение адресата предписания (объекта управления). Именно поэтому неограниченная множественность правовых смыслов в социально-конкретном контексте несовместима с правовым предписанием, поскольку абсолютная свобода интерпретации фактически элиминирует объектный язык права.

Возражение практического характера заключается в том, что даже если не принимать во внимание приведенное выше теоретическое

возражение, то можно легко заметить, что юридическая деятельность не дает нам примеров практической реализации (которую можно назвать актуализацией) потенциальной множественности правовых смыслов.

В силу этого разумным представляется использование объективных потенциальных преимуществ применения языка вообще и, соответственно, преимуществ, объективно содержащихся в предписывающей функции языка. Как верно отмечает в данной связи А. Барак, вряд ли разумный субъект юридической деятельности будет утверждать, например, что лошадь относится к моторизованному транспортному средству. И если мы все же допустим столь вольное толкование, то кто будет после этого настолько глуп, чтобы заключать договоры, вести себя правомерно, выполнять какие-либо обязательства<sup>1</sup> и т. д.?

Соответственно, в реальной юридической деятельности мы наблюдаем определенное совмещение смысла, приписываемого референту права (законодательству) субъектом правотворчества со смыслом, придаваемым этому референту права, например, субъектом реализации права. Таким образом, субъекты правового общения, стремясь использовать полезные свойства объектного языка права, формируют смысл правового текста так, что находят «точки соприкосновения» со смыслом, принятым в своего рода «коммуникационном сообществе» (правового общения).

Вместе с тем можно увидеть два варианта реализации такой схемы смыслообразования в контексте правового общения: интерсубъективный и конвенциональный.

Первый вариант предполагает интерсубъективность смысла права в абсолютизированном неопозитивистском понимании данной интерсубъективности. Это можно было бы назвать квазиобъективным смыслом права, который в контексте социальной прагматики будет фактически выполнять ту же самую роль, которую принято отводить объективному смыслу права.

Второй вариант (конвенциональная схема) позволяет вести речь о конвенциональности, которая будет нести как конвергентные, так и доминантные (конформно-доминантные) черты. Баланс между

---

<sup>1</sup> См.: Барак А. Судейское усмотрение / пер. с англ. М.: Норма, 1999. С. 50.

конвергентностью и доминантностью в данном случае будет определяться особенностями социально-юридического контекста и психологии субъектов, участвующих в процессе смыслообразования.

Конвенционально-конвергентное формирование смысла права представляет собой своего рода взаимное движение (субъектов правовой коммуникации) к формированию «среднесемантического» смысла. О «среднесемантическом смысле» речь идет применительно к некой интеллектуальной среде, формируемой определенными социальными группами, интеллектом членов этих социальных групп как определенного сообщества правового общения. И при возможности выбора любого из потенциальных смыслов обычно выбирается только один – общий для всех или, по крайней мере, для большинства субъектов правового коммуникационного сообщества.

Конвенционально-доминантное правовое смыслообразование предполагает правовую коммуникацию монологического, императивного характера с приоритетом прямой связи<sup>1</sup>. Самая общая основа работы этого механизма смыслообразования состоит в том, что, несмотря на *равнозначность* нескольких смыслов права в *семантическом* аспекте, данные смыслы *неравнозначны* в *прагматическом* аспекте.

Дело в следующем. В юридическом контексте объектом правового воздействия является поведение людей. Само же правовое воздействие будет фактически являться управленческой функцией как проявлением власти. Поскольку любая власть включает в себя субординационные, иерархические отношения, то нам следует совместить эту иерархичность, субординационность с возможностью формирования нескольких смыслов законодательства как знака права. Такое совмещение проявляется в том, что Г. Кельзен относил к толкованию права, которое есть функция воли. В подобных случаях имеет место своеобразное поглощение или ассимиляция смыслов. Доминирование смысла, даваемого одним субъектом, и конформизм в принятии такого смысла другим субъектом и являются важной предпосылкой власти как реализуемой на практике способности принуждать (в данном случае – через правовые предписания).

Иначе говоря, смысл законодательных положений, который приписывается данным положениям, например, в толковании права

---

<sup>1</sup> См.: Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание: избранные труды. СПб.: Алеф-Пресс, 2014. С. 26.

высшим органом судебной власти, будет рассматриваться как более важный, нежели смысл, даваемый, например, профессором права. То есть это будут смыслы, неравные в прагматическом аспекте анализа. Это означает, прежде всего, то, что один из конкретных смыслов более важен или менее важен именно для конкретного субъекта в конкретной ситуации. И такая важность обусловлена целеполаганием субъекта, конформно воспринимающего смысл права, предлагаемый «властным интерпретатором», и именно в таком контексте следует понимать, что «закон есть текст, смысл которого навязывается властным интерпретатором»<sup>1</sup>. Это можно считать актуализацией потенциального смысла.

Однако все перечисленные схемы оставляют без ответа важный вопрос. Что актуализирует потенциальный смысл? Думается, что ответ на данный вопрос напрямую связан с реализацией права. Говоря иначе, реализация права является показателем актуализации правового смысла.

Именно это и являет собой третью вершину правового семиотического треугольника – значение, денотат права. Однако необходимо сделать важную оговорку – речь не идет о смешении материального (поведение) и информационного (предписание) аспектов единой реальности. Денотат – это *отражение* внеязыковой действительности, закрепленное словом. В таком аспекте можно говорить о том, что в контексте модели правового семиотического треугольника внеязыковую действительность *отражает* один из возможных смыслов – актуализированный смысл. И правовой денотат было бы точнее характеризовать как реализуемость права, но не как его реализацию.

Таким образом, о наличии права можно говорить лишь при наличии всех трех вершин: знака права (законодательного текста), его смысла и значения, коим является реализуемость права в соответствии с конвенциональным или доминантным смыслом.

Наиболее ярко связь бытия права с его реализуемостью демонстрируется в социологических школах правопонимания (особенно в правовом реализме и неореализме). Фактически неразрывная связь самого бытия права с реализуемостью признается также в психологической школе права, в коммуникативном правопонимании. Для

---

<sup>1</sup> См.: Александров А. С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы юридической техники: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. Нижний Новгород, 2000. С. 107.

юридического позитивизма подобный подход едва ли можно признать характерным, хотя, как отмечалось ранее, например в работах Г. Кельзена, эта линия рассуждения просматривается весьма наглядно.

Представляется, что значимость реализации права как основания его бытия вовсе не обязательно привязывать к конкретному правопониманию, поскольку более важной представляется привязка к гораздо более широкому контексту здравого смысла. Контекст здравого смысла позволяет прочно связать реализуемость права с бытием государства. И хотя подобный подход имел место в юридической науке (Г. Кельзен понимал государственную власть как действительность (реализуемость) действительного права<sup>1</sup>), все же думается, что должного научного внимания он не получил, что подтверждается анализом различных научных направлений формирования смысла понятия «государство».

Именно реализуемость права позволяет проводить реальные юрисдикционные государственные границы, что служит научным фундаментом для решения многих довольно сложных политических проблем нашего времени. В частности, реализуемость права является признаком, свидетельствующим, например, о том, что в пределах одной и той же юрисдикционной территории исчезла одна государственная власть и появилась другая. Это и есть установление посредством реализуемости права юрисдикционных границ государств как во времени (смена власти в пределах одного государства), так и в пространстве (выделение нескольких государств из одного или, напротив, появление одного государства в границах нескольких).

В частности, если ответы на вопросы о государственной принадлежности Лиссабона, Мадрида или Праги представляются вполне очевидными, то подобная очевидность вовсе не является общепризнанной, если речь идет, например, о Луганске, Эль-Ауне, Степанакерте, Сухуми, Северном Кипре, Тирасполе, Донецке, Приштине, секторе Газа и т. д.

Эта проблема имеет актуальность и для России, поскольку без определенности юрисдикционности территории вне контекста реализуемости права мы не сможем получить основания для вывода о том, например, что пункты пограничного контроля России фактически способствуют гражданам Российской Федерации прибывать на тер-

---

<sup>1</sup> См.: Kelsen H. *General theory of State and Law*. 3rd ed. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1949. P. 286–290.

риторию Абхазии так, что согласно законам Грузии такое прибытие в Абхазию образует вполне конкретный состав преступления – «Незаконное пересечение Государственной границы Грузии», предусмотренный ст. 344 Уголовного кодекса Грузии<sup>1</sup>. При этом можно сделать очень четкий вывод о юрисдикционности Абхазии именно на основании ответа на вопрос о том, чье право там реализуется – грузинское или абхазское.

Подчеркнем, что факты неисполнения юридической обязанности / несоблюдения юридического запрета в соответствующей мере указывают на исчезновение правового денотата. И это позволяет вести речь о фактическом исчезновении одной нормы права, но это еще не дает оснований утверждать о возникновении другой нормы права. Реально о появлении другой правовой нормы можно вести речь лишь при наличии не только денотата, но также и экспонента (знака) и, соответственно, десигната права. Лишь наличие *всех* этих трех элементов, наличие всех трех вершин правового семиотического треугольника, и позволяет идентифицировать наличие правовой нормы.

Вместе с тем в науке высказывалось и другое мнение по данному вопросу, хотя и в несколько иной форме изложения. В частности, Л. И. Петражицкий допускал возможность бытия правовой нормы при отсутствии так называемого нормативного факта, под которым он понимал законодательный текст. В данной связи представляется весьма точной критика этой идеи Л. И. Петражицкого Г. Д. Гурвичем: «...Из самой теории Петражицкого о двустороннем, императивно-атрибутивном характере права, в принципе, и вытекала невозможность для права утверждать себя без опоры на „нормативные факты“ (которые гарантируют соответствие притязаний и обязанностей), т. е. невозможность проявляться иначе, как позитивное право. Понимание „интуитивного права“ как чисто автономного права является всего лишь следствием пережитков субъективизма в теории Петражицкого, которые и помешали изобретателю столь удачного и точного термина „нормативные факты“ добраться до истинного смысла этого термина»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. № 2287-вс. URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16426/143/ru/pdf> (дата обращения: 17.12.2022).

<sup>2</sup> Гурвич Г. Д. Философия и социология права: избр. соч. / пер. М. В. Антонова, Л. В. Ворониной. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 350.

Кроме того, верным представляется и высказывание А. В. Полякова по этому вопросу. Ученый полагает необходимым наличие законодательного текста, поскольку относит его к условию правовой коммуникации, к так называемой коммуникативной связке: «Если переживающий императивно-атрибутивную эмоцию субъект не может сослаться на общепризнанное основание своего права или обязанности (нормативный факт или правовой текст), то права нет»<sup>1</sup>.

Таким образом, к норме права можно отнести лишь особое триединство знака, смысла и значения. Причем права человека в данном аспекте можно отнести к знаку права, что фактически является отнесением их к законодательному феномену. Это может показаться парадоксальным, особенно в контексте идей естественного права, которое принято противопоставлять позитивному праву, притом что последнее обычно принято ассоциировать именно с законодательством. Однако, если учесть то, что дозволения, разрешения не являются предписывающим регулированием, то их нельзя относить к праву как к нормативному регулятору. Соответственно, в данном аспекте и права человека никак нельзя относить к праву (в аспекте нормативного регулирования), что и снимает кажущуюся парадоксальность, поскольку права человека лишь особым образом выражают правовые предписания, что более подробно будет рассмотрено далее.

### **3.4. Права человека как дублирующий или косвенный экспонент нормативно-правового предписания**

Если вести речь о тех правах человека, как минимум выраженных в законодательных текстах, то можно с уверенностью заявить, что они не являются самостоятельными правовыми предписаниями общего характера. Иначе говоря, если рассматривать права человека как меру возможного или дозволенного (разрешенного) поведения, как правовое притязание или же как уполномочивающую норму, то видно, что у них нет триединства собственных знака, смысла и значения. Если толковать свободу как некую возможность, разрешение, притязание или же полномочие, то определение прав человека через меру свободы также не дает оснований утверждать, что у них есть триединство собственных знака, смысла и значения.

---

<sup>1</sup> Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание. С. 121–122.

Таким образом, факт текстуального выражения прав человека в законодательстве сам по себе еще не говорит о том, что данный элемент законодательного текста выражает прескриптивный смысл. Другими словами, соответствующий законодательный текст, имеющий форму прав человека, не имеет в качестве своего *собственного* значения и смысла реализуемое правовое предписание, т. е. не вполне верно утверждение, что «получая закрепление в правовых нормах... права человека становятся правилом... обязательным для всех...»<sup>1</sup>.

Однако утверждать, что права человека не имеют никакого отношения к правовым предписаниям, также было бы неверно. Решение подобной проблемы видится в том, что законодательное положение, формализующее право человека, следует относить к тексту, который выражает (реализующееся) правовое предписание. Но только в том случае, если (и только в силу того, что) право человека *выражает (отражает) соответствующую юридическую обязанность*, т. е. в данном контексте вполне можно согласиться, например, с А. В. Поляковым, который совершенно верно говорит о неразрывности прав человека с их обеспеченностью исполнением обязанностей со стороны других субъектов<sup>2</sup>.

Говоря иначе, допустимо утверждать, что права человека обладают свойствами прескриптивной правовой нормативности, но только при условии принятия идеи отраженной нормативности данных прав в контексте интерпретации нормы права через модель правового семиотического треугольника. В этом случае речь будет идти либо о модели с удвоением экспонента объектного языка права (знака права), либо о модели с формулированием косвенного экспонента объектного языка права.

Алгоритм формализации нормативного правового предписания с удвоением знака (экспонента) следующий. Юридическая обязанность (запрет) выражается посредством *не одного, но двух* законодательных текстов. Первый текст – это и есть *прямое* законодательное текстуальное выражение (т. е. экспонент) юридической обязанности (запрета). Иначе говоря, в законодательстве могут содержаться тексты (экспоненты) как собственно юридических обязанностей (запретов),

---

<sup>1</sup> Глухарева Л. И. Права человека в современном мире. С. 25.

<sup>2</sup> См.: Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека С. 32.

так и их «текстовые дубли». И именно эти дубли имеют форму прав человека. Второй текст дублирует первый – это и есть удвоением знака.

Таким образом, у столь различных законодательных экспонентов, как:

- 1) (текстуальная) обязанность / запрет и
- 2) (текстуальное) право человека,

наличествует один – единый (прескриптивный) – смысл, т. е. смысл общий для обоих текстов. Текстовая законодательная формулировка обязанности (запрета) – это прямое (знаковое) выражение именно правовой обязанности (запрета). Экспонент (как текстовая законодательная формулировка) права человека – это не прямое (знаковое) *выражение того же самого* правового запрета (обязанности). То есть в данной ситуации мы видим два знака (объектного языка) права, которые репрезентируют одно и то же (общее для них) содержание.

Иными словами, мы видим единство правового содержания при различии формы. В тех случаях, когда речь идет о так называемой корреспондирующей связи права человека и правовой обязанности (запрета), на самом деле говорится о том, что, несмотря на довольно очевидные текстуальные различия в формулировках этих прав и обязанностей (запретов), они имеют *одно и то же содержание, т. е.* они репрезентируют *одно и то же юридическое предписание*. Подобным образом рассуждал и, например, Дж. Остин, когда вел речь о субъективном праве как об относительной обязанности<sup>1</sup>.

Вместе с тем отметим, что для обычных субъективных прав и для прав человека реализация данного механизма на практике различна. Например, если говорить об удвоении экспонента для субъективного права, то в качестве примера можно привести обязанность рассмотрения обращений граждан. В частности, в ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 21 апреля 2006 г. № 59-ФЗ содержится следующий текст (т. е. экспонент объектного языка права): «Обращение, поступившее в государственный орган... подлежит обязательному рассмот-

---

<sup>1</sup> См.: Lectures on Jurisprudence. Being the sequel to «The Province of Jurisprudence Determined» to which are added notes and fragments». Now first published from the Original Manuscripts. By the late *John Austin*. New York, 1970. Lecture XLV.

рению». Этот текст является первым текстом, т. е. первым экспонентом права, первым знаком (системой знаков объектного языка права) как одной из вершин правового семиотического треугольника, который прямо выражает правовую обязанность принимать (или – запрет не принимать) обращения граждан.

Вторым же законодательным текстом, т. е. знаком, является текст ч. 1 ст. 2 упомянутого закона: «Граждане имеют право обращаться лично... в государственные органы...». При этом содержанием данного знака является именно названная обязанность – принимать обращения граждан. Иначе говоря, законодательный текст «граждане имеют право обращаться» *сам по себе* прямо не выражает правовое предписание (понимаемое, например, как дозволение обратиться) в отношении «носителя права на обращение». Но подобный текст является *дополнительным законодательным выражением* собственно правовой обязанности (принять обращение). Другими словами, право на обращение – это не предписание для «носителя этого права». Это предписание для носителя (адресата) правовой обязанности (запрета). Но такое юридическое предписание просто имеет двойную законодательную формулировку. Именно поэтому в данной связи и можно согласиться с Г. Кельзенем, относящим субъективное право к феноменам законодательной техники<sup>1</sup>.

Однако ситуация с удвоением знака применительно к правам человека выглядит несколько сложнее. Если вести речь о ситуации с обязанностью государства признавать права человека, то соответствующая пара «текст права человека – текст Конституции (России), формализованный в статьях», представляется универсальной, т. е. применимой к любому праву человека. Между тем приведенную обязанность государства вряд ли можно безоговорочно назвать юридической на том лишь основании, что она содержится в особом нормативно-правовом акте, поскольку:

1) нет оснований утверждать, что любой текст, содержащийся в конституции либо ином нормативно-правовом акте, всегда является нормой права либо ее частью;

2) относительно приведенной обязанности (выраженной в ст. Конституции России) отсутствует такой ключевой признак правовой

---

<sup>1</sup> См.: Kelsen H. General theory of State and Law. 3rd ed. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1949. P. 84.

нормы, как предусмотренность государственного принуждения, а суждения о том, что якобы «управомочивающая норма ни прямо, ни косвенно не имеет санкции и не нуждается в ней»<sup>1</sup>, являются следствием неудовлетворительного уровня теоретической разработки юридической наукой проблематики санкций правовых норм, на что автором неоднократно указывалось ранее.

Говоря кратко, санкционная защита всегда является атрибутом нормы права, т. е. «без санкции норма не будет правовой, не будет иметь юридического характера»<sup>2</sup>, поскольку любая (социальная) норма связана с санкциями логическими корнями (хотя совершенно не в том смысле, как это принято трактовать в отечественной юридической науке в контексте «логической»<sup>3</sup> структуры нормы права). Такая связь проявляется в том, что нормы представляют собой частный случай аксиологических оценок<sup>4</sup> и две взаимно связанные оценки порождают нормы. Например, оценка № 1 будет звучать так: «Хорошо, когда берегут природу». Связанная с ней по смыслу оценка № 2 будет звучать так: «Хорошо, когда наказывают того, кто не бережет природу». Семантический симбиоз двух этих оценок и есть норма: «Обязательно беречь природу», т. е. речь идет об аксиологической оценке, стандартизированной с помощью санкции.

Любая норма права является диадической (двухкомпонентной), т. е. не однокомпонентной (абсолютной, монадической), не трехкомпонентной<sup>5</sup>, не четырехкомпонентной<sup>6</sup>. И любая норма является правовой тогда и только тогда, когда существует другая норма права, предписывающая применение определенных видов и мер юридической ответственности за ее нарушение, т. е. санкция является не структурным элементом нормы права, а отдельной нормой права. Иными словами, норма права, которая является *выражением санкции*, будет иметь (как и все нормы права) двучленную структуру (гипотеза

---

<sup>1</sup> Леушин В. И. Логическая норма и нормативное предписание (структурный анализ) // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. С. 609.

<sup>2</sup> Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1962. С. 12.

<sup>3</sup> Взятие термина в кавычки обусловлено тем, что подобная структура не имеет к логике никакого отношения.

<sup>4</sup> См.: Ивин А. А. Логика норм. М.: Изд-во МГУ, 1973. 121 с.

<sup>5</sup> Цит. по: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. С. 102.

<sup>6</sup> См.: Леушин В. И. Логическая норма и нормативное предписание (структурный анализ) // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. С. 605–611.

и диспозиция), т. е. правовая норма-санкция предписывает (например, суду) применить вид и меру юридической ответственности к субъекту, совершившему правонарушение.

Подобная мысль была высказана Г. Кельзенем, когда он вел речь о первичных и вторичных правовых нормах<sup>1</sup>. При этом, например, О. Э. Лейст, совершенно верно отмечает, что не имеет значения факт нахождения санкции даже в другой отрасли права<sup>2</sup>. Однако «принуждение нельзя путать с установлением акта принуждения»<sup>3</sup>, т. е.:

а) право не реализуется только лишь в силу того, что предусмотрена юридическая ответственность за правонарушения;

б) предусмотренность санкции и ее реализуемость – это не одно и то же. Хотя при этом не следует забывать о связи предусмотренности и реализуемости санкции в том аспекте, что сама санкция есть норма права, которая имеет три вершины при рассмотрении ее через призму модели правового семиотического треугольника. Соответственно, о наличии нормы права допустимо говорить лишь при наличии такой вершины данного треугольника, как правовое значение (реализуемость).

Если же, говоря об обязанности государства, выраженной в статьях Конституции России, рассуждать так, что основой появления данной обязанности является определенный международно-правовой договор, обязывающий государство осуществить имплементацию его положений в национальном праве, а потому можно вести речь о международно-правовой ответственности за невыполнение соответствующего договора, то это также вряд ли поможет решить проблему по существу. Дело в том, что отличия международного права от внутригосударственного (национального) права столь серьезны, что они вполне оправдывают вопрос о целесообразности объединения внутригосударственного и международного права под одним термином – «право».

Рассмотрим другой вариант связи между юридическим предписанием и его законодательным оформлением – косвенную связь с экспонентом. В данном случае знаковое (законодательное) оформление

---

<sup>1</sup> См.: Kelsen H. Pure Theory of Law. Berkeley: Univ. of California Press, 1967. P. 231.

<sup>2</sup> См.: Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1962. 238 с.

<sup>3</sup> Кельзен Г. Чистое учение о праве / пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лезова. 2-е изд. СПб.: Алет-Пресс, 2015. С. 51.

правовой обязанности (запрета) происходит только лишь через право человека. То есть юридическая обязанность делать / воздержаться от чего-либо выражена без двойной законодательной формулировки.

В таком случае право человека выступает в качестве формы (экспонента, знака права, законодательного текста). А правовой запрет (юридическая обязанность) является содержанием, которое репрезентируется этим законодательным текстом (текстом с формулировкой права человека). Правовым предписанием является именно это содержание (обязанность / запрет). Такая связь между предписывающим содержанием и законодательным текстом может быть названа косвенной.

Иными словами, в данном случае хорошо демонстрируется, что в предложенном определении прав человека как притязания / указания на притязание на удовлетворение потребностей человека это делается в том числе и через предписание ответного поведения определенного субъекта<sup>1</sup>. Иными словами, право человека можно более точно определить как указание на юридически непредписанное пользование определенным благом, а также (указание) на юридически обязательное поведение либо воздержание от поведения в пользу притязающего субъекта со стороны того субъекта, чье поведение алгоритмически необходимо для пользования данным благом в контексте установленной субъектом правотворчества модели социального взаимодействия как элемента соответствующей политико-правовой доктрины (концепции).

Детализируя «указание на юридически непредписанное пользование определенным благом», отметим, что пользование чем-либо вполне можно относить к поведению, а любое поведение в социальной среде практически всегда – к пользованию чем-либо. И если при этом актуализировать ценностный аспект того, чем пользуются, то вполне можно вести речь о пользовании благом, например благом здоровья, благом чести и достоинства и т. д. Подчеркнем при этом, что подразумевающая описательное толкование формулировка «указание на юридически непредписанное пользование определенным благом» более точна, нежели «претендующая» на предписывающую

---

<sup>1</sup> То есть того субъекта, чье поведение алгоритмически необходимо для пользования данным благом в контексте установленной субъектом правотворчества модели социального взаимодействия.

интерпретацию формулировка «правомочие на пользование благом»<sup>1</sup>, поскольку любое пользование любым благом в пределах, не переходящих юридически установленных границ, *правом не предписано*, т. е. выполнение сети операций (совокупности отдельных действий-операций, связанных сетевым алгоритмом в контексте достижения определенной цели), из которых состоит само пользование благом, для субъекта использования юридически *не предписано* (хотя было бы неверно говорить, что такое пользование правом *не урегулировано*, на что внимание будет обращено далее), поскольку предписывается (например, в форме запрета) лишь выход за установленные субъектом правотворчества границы.

Вместе с тем важно заметить, что в сформулированном определении реально существующий законодательный текст (любое право человека) сам по себе прямо не репрезентирует реально существующее юридическое предписание. Но при этом реально существующее юридическое предписание вполне может оказаться прямо не сформулированным. Это поднимает вопрос о практическом подтверждении правильности теоретической модели прав человека с косвенным или дублирующим экспонентом правового предписания. А верное решение такого вопроса нам предоставляет факт наличия правовых санкций (как самостоятельных норм права).

Мы видим в данном случае предусмотренность санкционной защиты от невыполнения правовых предписаний. Например, вид и меру юридической ответственности для субъектов, совершивших преступления против жизни и здоровья человека.

Да, в реальности мы не видим законодательных текстов с буквальными формулировками «запрещено убивать / причинять вред здоровью другого человека» и т. д.». Но отсутствие подобных формулировок вовсе не является основанием для вывода о том, что данных запретов (обязанностей воздерживаться) не существует. Хотя требуется подчеркнуть, что весьма распространенная в юридической науке точка зрения о том, что в уголовном кодексе есть именно запреты<sup>2</sup>, является ошибочной.

---

<sup>1</sup> См., например: Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. права, 2004. С. 263.

<sup>2</sup> См., например: Lectures on Jurisprudence. Being the sequel to «The Province of Jurisprudence Determined» to which are added notes and fragments». Now first published from the Original Manuscripts. By the late *John Austin*. New York, 1970. Lecture XLV; Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М.: Норма: Инфра-М, 2012. С. 103.

Итак, мы не видим запреты посягать на жизнь и здоровье, но мы видим лишь права человека на жизнь и здоровье. Но. Именно предсудителенность юридической ответственности за правонарушения против жизни и здоровья позволяет безальтернативно интерпретировать соответствующие законодательные положения (формулировки прав человека) именно как текст (экспонент) правового *предписания*. Правовую санкцию в таком аспекте можно рассматривать как индикатор прескриптивной содержательности законодательного текста с формулировками прав человека.

Поэтому правовую санкцию следует рассматривать как определенный указатель на то, что толковать права человека следует не в описательной интерпретации (т. е. *не* как указание на отсутствие запрета / обязанности), но в предписывающей интерпретации, т. е. как отраженную юридическую обязанность / запрет. В этом аспекте правовая санкция выступает как элемент особого механизма юридизации прав человека.

Суть такой юридизации прав человека позволяет ответить на вопрос: а что же будет репрезентировать оставшийся знак (формулировка права человека в любом документе), если убрать предписывающий смысл (и актуализирующее его значение)? В сугубо юридическом аспекте это будет знак (текст) с пустой областью смысла.

Устранить правовой характер предписания таким путем вполне можно посредством устранения санкционной защиты данных обязанностей (запретов) через устранение правовых санкций. Если приблизить данный механизм к реальности, то потребуются изменить его хронологический порядок, однако подобный смысловой алгоритм сохранится неизменным в семантическом аспекте. Речь идет не об устранении уже существующей санкционной защиты, а о не-создании этой защиты, т. е. не-создание санкционной правовой нормы («санкции») лишает право человека юридически предписывающего характера. *Не-создание такой правой санкции (за нарушение норм, предписывающих поведение ответного субъекта), равно как и не-создание самореферентной нормы-санкции, не позволяет включать права человека в структуру (объективного) права, т. е. не-создание подобной правой санкции означает то, что государство не признает право человека.* Однако при этом следует понимать: приведенная схема корректна *только в случае работоспособности принципа права – nulla poena sine lege (нет наказания без закрепления в законе).*

Отсюда видно, что противоречие между теорией (право человека не является юридическим предписанием) и практикой (множество примеров законодательных формулировок прав человека) отсутствует.

Иначе говоря, ошибкой не является формулирование прав человека в законодательных и иных документах субъективного права, т. е. ошибки в объектном языке права нет. Но ошибкой является предпринимаемая в метаязыке права попытка отнести права человека к самостоятельному правовому предписанию.

## Глава 4. Права человека и правовое регулирование

### 4.1. Права человека в правовом регулировании: методологические замечания

Далее, следует подробно рассмотреть вопрос о том, могут ли права человека, не являясь правовым предписанием, все же каким-то образом выступать регулятором поведения, входящим в предмет правового регулирования. Правильный ответ на этот вопрос позволит корректно определить место и роль прав человека и в правовом регулировании, и, соответственно, в социальном управлении.

Создание методологических предпосылок правильного ответа на поставленный вопрос требует обратить внимание на проблемы теоретической модели правового регулирования, существующие в юридической науке.

Проблематика самых различных аспектов правового регулирования привлекала пристальное внимание отечественных ученых как в дореволюционный, так и в советский, а также в постсоветский периоды развития отечественной юридической науки.

В ходе проводимых исследований было сформулировано понятие правового воздействия, которое принято отличать от понятия «правовое регулирование», хотя в данном случае сделаем оговорку о том, что некоторые ученые считают такой подход лишь одной из трех тенденций в характеристике правового регулирования<sup>1</sup>.

О различиях между правовым регулированием и правовым воздействием говорят, указывая на несколько критериев подобных отличий. Например, по критериям разграничения предметов (А. В. Малько и др.), средств (В. В. Лазарев и др.), инструментов, механизмов (С. С. Алексеев и др.) правового регулирования / воздействия, а также управляемости и самоуправляемости определенных процессов в социальных системах (В. К. Бабаев, В. М. Баранов и др.).

Анализ указанных точек зрения позволяет сделать вывод о том, что существенных различий между ними нет, поскольку все эти подходы скорее отражают различие в выборе аспекта исследования,

---

<sup>1</sup> См., например: Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика. М.: Формула права, 2010. 400 с.

обусловленное спецификой постановки исследователями целей и задач, нежели обусловлены различиями в понимании и описании качественного состава элементов правового воздействия и регулирования.

В частности, заметим, что представляется правильной идея А. В. Малько о том, что предмет правового воздействия шире, поскольку включает в себя также общественные отношения, не входящие в предмет правового регулирования. Однако не менее правильным видится и различие в средствах как правового регулирования, так и правового воздействия, т.к. в любом управлении особенности объекта управления предопределяют (в числе иных факторов) особенности применяемых (субъектом управления) средств управления.

Вместе с тем подход не решает надлежащим образом вопрос о средствах правового *воздействия* на те общественные отношения, которые совпадают с предметом правового *регулирования* как объектом социально-управленческого воздействия. При этом именно данный вопрос является предметом рассмотрения в рамках настоящего исследования.

В исследованиях В. К. Бабаева и В. М. Баранова видится подход, имеющий фундаментальный, методологический характер, поскольку он основан на определенном понимании о соотношении меры управления и самоуправления как обществом в целом, так и его отдельными подсистемами.

Представления же о мере управляемости и самоуправления в конкретных социальных системах, т. е. представление о том, насколько субъективный фактор (управляющее влияние) соответствует объективному ходу развития социальных процессов, напрямую связан с политико-идеологической проблематикой легитимности государственной власти в конкретный исторический период в конкретном государстве.

В отечественной юридической науке фактически распространены берущие свое начало в марксистских идеях о развитии социума представления о значительности меры самоуправления в существующих обществах. Не вдаваясь в дискуссию относительно подобной меры, укажем лишь, что данные идеи являются совершенно необоснованными. В контексте целей и задач настоящего исследования важно признавать сам факт наличия в обществе процессов управления

и самоуправления. Причем как управление, так и самоуправление вполне допускают множество инструментов своего осуществления, т. е. множество средств управления / самоуправления.

Между тем практически все ученые, говоря о различии инструментов (средств) правового регулирования / воздействия, в то же время полагают, что правовое воздействие включает в себя гораздо больше таких средств. В частности, С. А. Комаров отмечает, что при рассмотрении механизма правового воздействия в статическом состоянии в его компонентный состав можно включить всю «правовую надстройку», если понимать ее как всю совокупность юридических явлений, вырастающих над экономическим базисом<sup>1</sup>.

В целом такой ход мысли, когда выделяется широкий ряд средств правового регулирования / воздействия, представляется вполне верным. Однако научный потенциал отмеченных идей ослаблен серьезной ошибкой, присущей практически всем рассуждениям о соотношении правового регулирования и правового воздействия. Данная неточность является не просто некой терминологической некорректностью, но логической классификационной ошибкой, возникающей при построении классификационных (видовых и подвидовых) групп.

Как отмечалось ранее, значительная часть ученых рассуждает так, что правовое воздействие понимается как родовый термин, который включает в себя предметную область термина «правовое регулирование». Иногда эту идею выражают так, что речь ведут:

- а) о родовом термине, т. е. о правовом регулировании в «широком смысле»;
- б) о видовом термине, т. е. о правовом регулировании «в узком смысле».

Иногда эту же мысль выражают чуть иначе, говоря о том, что правовое регулирование есть одна из форм правового воздействия.

Но такое рассуждение и обнажает проблему. В указанной теоретической модели используется неполное родо-видовое деление, поскольку мы видим *родовой* термин («правовое воздействие» / «правовое регулирование в широком смысле») и само по себе это вполне допустимо. Однако далее в делении допускается логическая

---

<sup>1</sup> См.: Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 1997. С. 382.

ошибка, когда формулируется другой термин («правовое регулирование в узком смысле» / «правовое регулирование»), но это теперь уже *видовой* термин и это лишь *один термин*. Подобное недопустимо для родо-видового деления, т. к. в этом делении требуется наличие как минимум *двух* видовых терминов, которые будут объединены родовым термином, поскольку предметная область второго видового термина будет расширять (дополнять) предметную область первого видового термина до полноты предметной области термина родового.

Это значит, что во всех рассматриваемых теоретических моделях с выделением (обособлением) правового регулирования и правового воздействия (либо правового регулирования в так называемом широком и узком смысле) было бы правильно использовать *не два*, но по меньшей мере *три термина*. В подобном случае один термин будет родовым. Например, таким термином будет «правовое воздействие» (или же «правовое регулирование в широком смысле»), а *два* других – будут видовыми. Однако в существующих теоретических моделях мы видим лишь один термин – «правовое регулирование» («правовое регулирование в узком смысле»), который является *видовым по отношению к родовому*.

Автор полагает, что эта проблема может быть успешно решена. Предпосылкой же для решения будет то, что во всех сколь-нибудь значимых исследованиях по данной проблематике, по сути, признается факт наличия как предписывающего, так и непредписывающего регулирования (влияния, воздействия) права, поскольку в качестве средств правового регулирования / воздействия признаются, с одной стороны, правовые предписания (общие и индивидуальные), а с другой – все остальные средства регулирования.

Подобное признание дает нам три минимально необходимых для родо-видового деления термина. В частности, если родовым термином будет «(правовое) *воздействие*», то двумя видовыми терминами будут – «предписывающее правовое воздействие» и «непредписывающее правовое воздействие». В случае если же родовой термин – это «правовое *регулирование*», то два видовых – «предписывающее правовое регулирование» и «непредписывающее правовое регулирование».

Особо отметим, что характеристика особенностей различия в правовом регулировании, даваемая посредством терминов «предписывающее регулирование» и «непредписывающее регулирование», основаны

на существенном отличии предписывающих (прескриптивных) от иных видов высказываний и эти отличия вполне достаточны для правильной реконструкции социально-правовой действительности.

Вместе с тем вопрос о выборе *родового* термина («правовое *регулирование*» либо «правовое *воздействие*») представляется вопросом терминологического предпочтения. Поясним.

Сам термин «регулирование» отнюдь не может быть отождествлен с нормативным регулированием. При этом и понятие «норма» не тождественно понятию «регулятор», т. е. термин «нормативное регулирование» не является избыточным словоупотреблением (плеоназмом). Иначе говоря, далеко не всякое социальное регулирование является нормативным.

Латинское существительное *norma* имеет следующий смысл:

- 1) «наугольник» (*anguli ad normam respondentis Vtr*);
- 2) во втором смысле оно определяется через само себя («норма»), а также как «руководящее начало, правило» и «образец»<sup>1</sup>.

Латинское существительное *regula* в русской интерпретации (переводе) определяется как:

- 1) «брусok, планка»;
- 2) «линейка»;
- 3) «норма, критерий, правило, принцип»<sup>2</sup>.

Латинский глагол *regulo* принято переводить так: «направлять, упорядочивать» (*sive dirigere aliquid*). Отметим также связь термина *regulo* с существительными *regulus* – «царь небольшого государства, царек»<sup>3</sup> и *rex, regis* – «царь»<sup>4</sup>.

Видно, что имеющие латинское происхождение термины «норма» и «регулирование» употребляются в схожих смыслах. Вместе с тем в силу различия в смыслообразовании и особенностей употребления этих терминов в среде латинского языка, а также в силу обыкновений словоупотребления, сложившихся в академической, профессиональной и обывденной среде современного русского языка, представляется верным все же различать указанные термины.

---

<sup>1</sup> Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 10-е изд., стер. М.: Рус. яз.: Медиа, 2006. С. 515.

<sup>2</sup> Там же. С. 659.

<sup>3</sup> Там же. С. 659.

<sup>4</sup> Там же. С. 672.

В частности, в юридической науке социальные нормы относят к одному из регуляторов поведения людей. В силу этого понятие «нормативное регулирование» допустимо рассматривать как видовое (более узкое, подчиненное) по отношению к родовому (более широкому, подчиняющему) понятию «регулирование».

Иными словами, в самой общепринятой терминологии отражен тот факт, что регулирование не всегда является нормативным, т. е. вполне правильным можно считать различие нормативного и ненормативного (правового) регулирования. Помимо этого, отметим, что понятие «норма» не тождественно не только понятию (социальный) «регулятор», но также и термину «предписание». Данное утверждение аналитически следует из того, что общепризнанным является деление прескриптивного (предписывающего) регулирования на два подвиды: индивидуальное и нормативное (предписывающее) регулирование. Иначе говоря, понятие «норма» выступает видовым понятием по отношению к родовому (более широкому) понятию «предписание».

Однако отметим, что некоторые ученые о нормативном и ненормативном предписании рассуждают несколько иначе. Например, Ю. В. Блохин выделяет «нетипичные правовые предписания» (формулы, графики, рисунки и т. д.), но при этом отмечает, что ряд этих предписаний не имеет «традиционной обязывающей регламентации установленного поведения и по форме напоминает справочный материал»<sup>1</sup>.

Такой подход представляется ошибочным, поскольку сам Ю. В. Блохин, придерживается традиционной для отечественной юриспруденции точки зрения, в соответствии с которой признаки нормативности принято определять как «направленность на регулирование вида общественных отношений, постоянный характер действия и неперсонифицированность адресата»<sup>2</sup>.

Другими словами, из трех признаков нормативности (обязывающий характер, постоянный характер действия нормы, неперсонифицированность адресата) Ю. В. Блохин лишает так называемое нетипичное предписание именно обязывающего характера. Эти «нетипичные

---

<sup>1</sup> Блохин Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве: на примере нетипичных предписаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991. С. 13–14.

<sup>2</sup> Там же. С. 6.

предписания» (формулы, графики, рисунки и т. п.) являются, по мнению Ю. В. Блохина, *предписаниями* потому, что они, во-первых, обладают постоянным характером действия и, во-вторых, неперсонифицированы. А нетипичность этих предписаний заключается лишь в том, что они лишены третьего признака нормативности – обязательности. И именно в этом хорошо заметно противоречие, так как если лишать «нетипичные правовые предписания» их обязательности (т. е. правовой связывающей силы), то не ясно: а на каком основании Ю. В. Блохин их вообще относит к предписаниям? Таким образом, в данном случае мы видим абсурдное (т. е. внутренне противоречивое) высказывание – «необязательное предписание».

Представляется, что Ю. В. Блохин относит к «нетипичным правовым предписаниям» то, что было бы правильно отнести, например, к элементам текста соответствующих нормативных правовых предписаний, т. е. к элементам экспонента права. Речь может идти не только о буквенно-цифровой, но и о дополнительной, в частности, картографической формализации *норм права*, например, при введении правового режима определенного участка территории государства.

Именно эти идеи являются возражениями на утверждение Н. Н. Вопленко о том, что к правовым предписаниям (наряду с правовыми нормами) якобы относятся также декларации, определения<sup>1</sup>. На самом деле подобные законодательные формулировки (например, правовые дефиниции) являются элементами, т. е. частями законодательных текстов (экспонентов) правовых норм, но никак не самостоятельными нормами права.

В связи с имеющей относительно широкое хождение в современной отечественной юридической науке идеей о том, что правовое предписание – это форма выражения нормы права<sup>2</sup> (минимальная смысловая часть текста нормативного правового акта<sup>3</sup>), отметим, что такие тексты (например, определенные декларации) вообще *не* явля-

---

<sup>1</sup> См.: О понимании советского права: круглый стол «Советского государства и права» // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 51.

<sup>2</sup> См., например: Сырых В. М. Логические основания общей теории права. В 2 т. Т. 1: Элементный состав. М.: Юстицинформ, 2000. 528 с.

<sup>3</sup> Давыдова М. Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: проблема соотношения. С. 52.

ются правовыми предписаниями (частями таких предписаний), даже несмотря на то что такие тексты содержатся в нормативных правовых актах.

Приняв во внимание приведенные уточнения, сделаем дальнейший вывод из утверждения о том, что нормативное регулирование является подвидом предписывающего регулирования. Такой вывод будет состоять в том, что регулирование – это более объемлющее явление, нежели предписание. Следовательно, понятие «регулирование» является родовым по отношению к понятию «предписывающее регулирование». Иными словами, предписание – это вид (социального) регулятора, т. е. видами правового регулирования будут являться *предписывающее* и *непредписывающее* правового регулирования.

Заметим также, что обращение к правовой сфере подчеркивает необходимость выделения не только (как минимум двух) *видовых*, но также и (как минимум двух) *подвидовых* терминов, что отражало бы наличие как нормативных, так и ненормативных (индивидуальных, индивидуализирующих) правовых предписаний. Иначе говоря, было бы верно выделять не только (предписывающее) нормативное правовое регулирование, но и предписывающее ненормативное правовое регулирование.

Таким образом, правильно было бы выделять правовое регулирование (родовой термин), включающее в себя:

- 1) предписывающее правовое регулирование (видовое понятие);
- 2) непредписывающее правовое регулирование (видовое понятие).

В свою очередь, *предписывающее* правовое регулирование включает в себя:

а) «предписывающее нормативное правовое регулирование» (подвидовое понятие);

б) предписывающее индивидуальное правовое регулирование, которое можно также назвать «предписывающее ненормативное правовое регулирование»<sup>1</sup>. Уточняя используемую терминологию, особо отметим, что поскольку «регулирование» является обобщающим понятием для предписывающего регулирования, то данный вид регулирования следует всегда именовать полным именем, т. е. именем,

---

<sup>1</sup> Которое ряд ученых, например В. В. Лазарев, относят к правовому воздействию (см.: Лазарев В. В. Сфера и пределы правового регулирования // Советское государство и право. 1970. № 11. С. 40).

отражающим родо-видовые свойства, и именно это имя будет знаком подвидового понятия.

Таким образом, идея о введении или выведении из научного оборота термина «(правовое) воздействие» вместо термина «(правовое) регулирование» (либо наоборот) является вполне корректной, но выражает скорее *терминологические предпочтения*.

Иными словами, если выбрать лишь один наиболее предпочтительный термин, например «правовое регулирование», мы получаем следующую схему родо-видового деления понятий (схема 1).

#### *Схема 1*

##### *Правовое регулирование:*

- 1) *предписывающее правовое регулирование:*
  - а) предписывающее нормативное правовое регулирование;
  - б) предписывающее индивидуальное правовое регулирование;
- 2) *непредписывающее правовое регулирование.*

Если мы используем только термин «правовое воздействие», то получается аналогичная схема родо-видового деления понятий (схема 2).

#### *Схема 2*

##### *Правовое воздействие:*

- 1) *предписывающее правовое воздействие:*
  - а) предписывающее нормативное правовое воздействие;
  - б) предписывающее индивидуальное правовое воздействие;
- 2) *непредписывающее правовое воздействие.*

Если же отступить от указанных схем использования терминологии, то можно увидеть следующие ошибки, присущие практически всем исследованиям, посвященным проблематике соотношения правового регулирования и правового воздействия.

**Ошибка 1.** Под правовым воздействием во всех этих исследованиях принято понимать как родовой термин (правовое регулирование), так и видовой (непредписывающее правовое регулирование), что логически невозможно.

Если же ученые «имели в виду не это», то здесь возникает другая ошибка (*ошибка 2*) – нарушение научного принципа однозначности именования (принцип Фреге – Рассела), т. е. одним именем названы разные явления.

Если же соответствующие ученые вновь «имеют в виду не это», то и в таком случае возникает ошибка (*ошибка 3*). Без именования остается либо то, что в схемах 1 и 2 представлено в п. 2, либо родовое (начальное) понятие.

Если же допустить, что ученые и в этом случае «имеют в виду не это», но, используя оба термина («воздействие» и «регулирование»), называют правовым воздействием только то, что в обеих схемах представлено в п. 2, то ошибки и проблемы все же остаются. В частности, помимо утраты дидактического и методологического удобства, при отступлении от «сквозной» терминологии (или только «воздействие», или только «регулирование») происходит отступление и от первоначальной идеи, объяснявшей целесообразность введения термина как «правовое воздействие». А такой первоначальной и весьма конструктивной идеей было расширение предметной области общетеоретической юридической науки за счет расширения содержания понятия «правовое регулирование». При подобном его расширении в предметную область этого понятия вошло бы непредписывающее воздействие / регулирование. Однако в данном случае было бы неверно относить запрет и обязывание к методам, исчерпывающим регулирование вообще, так как это были бы методы лишь правового предписывающего регулирования. Но самое главное здесь заключается в том, что именно *разрешение можно было бы отнести к методам непредписывающего правового регулирования (воздействия)*.

#### **4.2. Права человека в непредписывающем правовом регулировании: методологические замечания**

Существенность внимания в отечественной юриспруденции именно к нормативному социальному регулированию вообще и нормативному правовому в частности является следствием недооценки реального регулятивного потенциала непредписывающего правового регулирования. Некое незаслуженное «очарование» предписывающим регулированием просматривается в том, что правовое предписывающее регулирование нередко характеризуется, например, через «власт-

ность», «жесткость» государственного нормирования (Н. И. Матузов), что тяготеет к представлению о государственной власти исключительно в контексте структурного управления силовыми средствами.

Но даже если отталкиваться от подобного узкого понимания государственного управления, то использование такого признака, как «жесткость» (предписывающего правового регулирования), весьма уязвимо перед реальностью целого ряда социально-правовых явлений. Причем это уязвимость далеко не только перед традиционными аргументами сугубо идеологического характера, связанными с дискуссией о том, что норма права – это не столько возведенная в закон воля некой социальной группы, сколько отражение некоего компромисса воле различных социальных групп.

Это также и уязвимость от очевидности более прозаических аргументов, например от рассуждений о правоприменительном усмотрении, существенно смягчающем жесткость и властность государственного волеизъявления (особенно, если это социальный контекст так называемой семьи общего права – Common Law). Это также и уязвимость от аргументов в контексте более общей проблематики усмотрения. Того усмотрения, которое сопровождает реализацию даже императивных норм, и уж тем более – осуществление диспозитивных норм права, причем в любых национальных правовых системах, а не только в Common Law.

Более того, даже в сугубо психологическом контексте термины «властность и жесткость» – это отнюдь не самый лучший методологический выбор, так как подобная терминология далеко не всегда может претендовать на описание субъективного восприятия с приемлемой мерой обобщения. Например, представляется очевидным, что очень частое нарушение чиновниками запрета на хищения и коррупционные правонарушения во многом красноречиво выражает жизненную позицию этих самых чиновников по вопросу о том, что не только сам правовой запрет отнюдь не рассматривается ими как некое категорическое (жесткое), властное (непререкаемое) табу, но и юридическая санкция за нарушение запрета не представляется им слишком уж суровой (жесткой и властной) карой.

Говоря иначе, то самое «жесткое и властное» государственное нормирование очень часто нарушается во многом благодаря именно тому, что не воспринимается ни как жесткое, ни как властное в иерар-

хической системе ценностей, которая является для конкретного субъекта (нарушителя) реальным регулятором его поведения. Гораздо более жестко и властно такого субъекта заставляют нарушать правовые запреты его личные и «семейные» потребности и вожделения. Эти потребности и вожделения и есть тот реально «могучий диктатор», который более жестко и властно побуждает чиновника систематически нарушать «жесткие и властные» законодательные предписания.

Иногда правовое воздействие (которое в данной работе названо непредписывающим правовым регулированием) описывают как неконтролируемое правовое влияние<sup>1</sup>. Из этого следует, что правовое регулирование (которое в данной работе названо предписывающим правовым регулированием) будет относиться к контролируемому правовому влиянию. Представляется, что это очень неудачный ход мыслей, который базируется на идеях Н. Г. Александрова, С. С. Алексеева и других ученых о том, что механизм правового регулирования включает в себя средства результативного воздействия права на общественные отношения<sup>2</sup>.

Допустим, что названные ученые пытаются охарактеризовать различаемые ими реальные проблемы управления. Но, думается, что используемая ими терминология совершенно непригодна для этого. В частности, М. Н. Козюк пишет: «Так, посредством воздействия можно достичь результата, обратного от задуманного»<sup>3</sup>. Причем по мысли М. Н. Козюка, это характеризует различия между правовым регулированием как влиянием контролируемым и правовым воздействием как влиянием неконтролируемым. Но проблема в том, что на эту характеристику различий можно с легкостью возразить словами довольно печально известного управленца В. С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это ярчайший образец некачественного государственного управления, которое имело весьма разрушительные последствия для огромного количества людей

---

<sup>1</sup> См.: Теория государства и права: учебник / отв. ред. Н. И. Грачев. Волгоград: Волгогр. гуманит. ин-т; М.: Зерцало-М, 2018. 876 с.

<sup>2</sup> В частности, С. С. Алексеев характеризовал механизм правового регулирования как взятую в единстве систему правовых средств, с помощью которой обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения (см.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юрид. лит., 1966. 187 с.).

<sup>3</sup> Теория государства и права: учебник / отв. ред. Н. И. Грачев. С. 696.

в нашей стране. Но ведь это и характеристика правового регулирования! То есть это характеристика (говоря словами М. Н. Козюка) именно контролируемого правового влияния, которое, как видно, оказалось неконтролируемым. Иными словами, достичь результата, не соответствующего задуманному, можно как путем правового регулирования, так и путем правового воздействия. Но в таком случае неверно *автоматически* относить предписывающее нормативное правовое регулирование к результативному правовому воздействию. Однако это фактически и делает С. С. Алексеев в предлагаемом им определении правового регулирования.

Допустимо по-разному относиться к научной деятельности С. С. Алексеева. Можно полагать, что разработанная им модель механизма правового регулирования сыграла существенную роль в развитии (как минимум) поздней советской и постсоветской юридической науки<sup>1</sup>. Однако необходимо признать, что юридические (хотя и не только юридические) науки в должной мере оказывали требуемое содействие социальной практике. В этой связи нельзя забывать слова Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андоропова, сказанные им еще на июньском Пленуме ЦК КПСС в 1983 г.: «Между тем, если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок»<sup>2</sup>. Эти слова были сказаны за семь лет до распада СССР. И именно поэтому их следует рассматривать как справедливый упрек всем социальным наукам. Впрочем, на гипотезу о прогрессирующей описывающей, объясняющей и прогностической несостоятельности юридической науки можно возразить, отметив, что имело место не столько недопонимание, сколько злонамеренная ложь.

Как бы то ни было, но в качестве одной из ключевых предпосылок многочисленных дефектов юриспруденции является фактическое изгнание теории управления из юридических и из иных наук. Не имея возможности вернуть теорию управления в теорию государства

---

<sup>1</sup> Теория государства и права: учебник / отв. ред. Н. И. Грачев. С. 696.

<sup>2</sup> Материалы Пленума Центрального комитета КПСС 14–15 июня 1983 г. М.: Изд-во полит. лит., 1983. 79 с.

и права в рамках настоящей работы, попытаемся все же отчасти сделать это в затронутым контексте исследования.

Все сущее в социальном мире следует рассматривать не как состояния, но как процессы и их сочетания (в том числе это и взаимно включенные процессы, именуемые *со-бытия*). В таком случае любая деятельность может быть истолкована как влияние / воздействие на те или иные процессы. «Воздействовать – оказав влияние, добиться необходимого результата»<sup>1</sup>. Иначе говоря, нерезультативного воздействия не бывает, т. е. результат есть всегда. Другое дело – как (а) увидеть и (б) интерпретировать этот результат. В частности, результат допустимо истолковать как достижение цели. В. М. Сырых верно отмечает, что «юридическая практика, как и любая предметно-практическая деятельность людей, их коллективов, носит осознанный характер и осуществляется с определенными целями»<sup>2</sup>. Строго говоря, любая деятельность будет связана с (более или менее явно выраженным) целеполаганием<sup>3</sup>. В таком контексте любую человеческую деятельность допустимо интерпретировать как управление (либо как самоуправление).

Кроме того, необходимо помнить, что в каждой теории управления следует различать субъект и объект управления. Субъект управляет объектом с помощью каких-либо средств, т. е. субъект управляет *посредством* чего-либо. Фундаментальную роль при этом играет информация, так как управление по своей сути есть процесс информационный. Следовательно, управление осуществляется с помощью некой информации, например посредством информации в форме высказываний.

Вместе с тем заметим, что понятия «правовое регулирование», «правовое воздействие» при интерпретации регулирования / воздействия (влияния и т. п.) в управленческом контексте могут подталкивать к не вполне точному восприятию реальности, поскольку эти понятия сконструированы так, как будто право является субъектом управления само по себе, хотя совершенно очевидно, что право таковым не явля-

---

<sup>1</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2006. 944 с.

<sup>2</sup> Сырых В. М. Логические основания общей теории права. В 2 т. Т. 1. С. 120.

<sup>3</sup> Например, даже так называемое бесцельное хождение имеет какую-либо цель («скоротать время», компенсировать гиподинамию и т. п.).

ется. Ни право, ни любое другое средство правового воздействия / регулирования не может являться субъектом управления. Право (в рассматриваемом нами контексте) – это не более чем средство управления в руках соответствующего субъекта управления.

Далее заметим, что некая частная управленческая деятельность может быть включена в некий более общий по отношению к ней управленческий процесс как его составная часть. Это можно интерпретировать как функционирование исполнительного модуля. В этом случае нет ничего удивительного в том, что цель (исполнительного модуля, субъекта-инструмента)<sup>1</sup> расходится с объективно достигнутым результатом<sup>2</sup>. Тогда возникает своего рода иллюзия управления, когда мнящий себя управленцем оказывается совсем не в той ситуации, которую он прогнозировал и к которой стремился, достигая свою цель. В случаях серьезной управленческой некомпетентности такого «управленца» с реальностью конфликтует даже не обоснованный и реальный прогноз наиболее вероятного, а не более чем осознание «управленцем» некоего результата как вероятно достижимого.

Сам термин «управление» предполагает деятельность (умышленно-)сознательную и волевою, т. е. управление – это сознательно-волевая деятельность. Если же учесть ранее сделанное замечание о том, что любая деятельность может быть истолкована как управление, то к сознательно-волевой можно отнести любую деятельность. В этом смысле высказывание о том, что управленческая деятельность является сознательно-волевой, походит на тривиальность. Вместе с тем в управленческом контексте сознательно-волевая характеристика деятельности вовсе не тривиальна, поскольку позволяет отчетливо увидеть довольно важные обстоятельства. Это те обстоятельства, которые и позволяют точно установить – в каком случае деятельность соответствующего субъекта является действительно управленческой (т. е. когда он сам и есть субъект управления), а в каком случае такая деятельность лишь включена в более широкий, в объемлющий процесс. Причем включена реальным управленцем, в руках которого деятельность нижестоящего субъекта будет лишь

---

<sup>1</sup> Например, «хотели как лучше».

<sup>2</sup> Например, «получилось как всегда» (т. е. не так, как хотели, как планировали, прогнозировали).

инструментом в руках управленца более высокого ранга. В данном случае под рангом понимается не высота положения, задаваемая правовым статусом в официальной управленческой структуре, в официально-публичной иерархии власти, определяемой юридически закрепленной широтой властных полномочий. Под рангом здесь понимается статус, производный от модели власти, в которой она понимается как реальная способность управлять. Соответственно, и *реальный* статус (управленец либо инструмент управления) зависит от реальной способности управлять, а не от правового статуса! В свою очередь, эта способность зависит от меры понимания общего хода социальных процессов, входящих в объект управления. Такая мера предопределяется как минимум следующими способностями: выявлять *реальные* проблемы, требующие управленческого вмешательства; осознавать объективно возможные варианты развития общественных процессов в ходе решения выявленных проблем; способность к постановке (соответствующих выявленным проблемам) целей управления, включая формирование корректной иерархии целей; способность осуществить верную целевую функцию управления, т. е. верный алгоритм достижения избранных целей.

Самой общей предпосылкой включения неких субъектов в круг инструментов (формирование исполнительного модуля) является конкуренция управления, когда несколько субъектов претендуют на управление одним объектом (управления). При этом любой субъект управления сталкивается лишь с двумя объективно возможными вариантами развития событий:

- возможность создать свою управляющую структуру;
- возможность использовать имеющуюся, настроив ее как под свое целеполагание, так и под свои требования к качеству управления.

В контексте проблематики правового регулирования сделанное замечание позволяет увидеть, в каком случае любой субъект (*использующий правовое влияние*) сам будет являться управленцем, а в каком он будет лишь использоваться управленцем более высокого ранга как инструмент. Причем этот «инструмент» (исполнительный модуль) будет и сам использовать правовые средства как свой инструмент, т. е. он будет действовать через право, через правовое влияние.

Самой общей предпосылкой различения управленца и его инструмента является то, что управление есть процесс информационный,

а потому всегда можно выделить объективную иерархию информационных контуров, контуров циркуляции и преобразования информации в процессе управления. В силу этого определить, кто перед нами – управленец или его инструмент, можно на основании анализа эффективности достижения целей управления, т. е. из анализа того, насколько управленческая деятельность релевантна целеполаганию.

Таким образом, общая схема выявления управленца выглядит так: тот, кто ставит цели<sup>1</sup>, а затем именно их и достигает, тот и есть управленец, даже если этот субъект управлял, образно говоря, не своими руками, но используя чужие руки. Если же «хотели как лучше, а получилось как всегда», то перед нами в лучшем случае некомпетентный управленец (или «управленец погибели»), а в худшем – инструмент в руках (неидентифицированного) управленца. Принимая во внимание взаимосвязь социальных процессов, заметим, что выявление субъекта управления всегда ситуативно контекстуально.

Кроме того, следует понимать, что социальная жизнь как совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных процессов с неизбежностью предполагает существование не отдельных разрозненных связок событий, а наличие цепочек подобных связей, причем цепочек весьма длинных. В контексте управления это означает наличие этапов достижения цели, «ступенчатость» пути к цели («лестницу к цели»). В таком случае, то, что было следствием по отношению к одному фактору, будет являться причиной по отношению к другому. При этом в управленческом контексте каждый этап, несмотря на свою многогранность, можно охарактеризовать набором двух типов параметров: контрольных и свободных. Контрольные параметры служат индикаторами достижения цели (либо ее этапа). Их также можно назвать целевыми показателями. Свободными являются те параметры, любое значение которых признается допустимым в контексте конкретного управления. Вместе с тем важно обратить особое внимание на то, что и свободные, и контрольные параметры связаны так, что их можно изменять, воздействуя на третий тип параметров – на управляемые параметры.

Требуется также учесть, что социальная жизнь как совокупность взаимно вложенных процессов предполагает наличие субъективно

---

<sup>1</sup> В случае с государственно-правовым управлением такие цели будут являться определенными параметрами функционирования общества (экономические, медико-биологические, психологические, демографические и т. д.).

выстраиваемой иерархии целей – цель первого порядка, цель второго порядка, цель третьего порядка и т. д. Однако необходимо различать субъективно устанавливаемую иерархию целей и объективно существующую информационно-алгоритмическую связь как этапов достижения цели, так и ее характеристических параметров (контрольных, управляемых, свободных).

Таким образом, идентификация субъекта управления (социальным процессом) предполагает:

а) точную идентификацию данным субъектом целей осуществляемой им деятельности (посредством точного выявления контрольных, свободных и управляемых параметров объекта управления);

б) алгоритмически корректную и полную идентификацию данным субъектом этапов достижения целей *во всей их полноте*, что предполагает глубину осознания последствий своей деятельности («длину цепочек» взаимосвязанных процессов, порождаемых его деятельностью)<sup>1</sup>;

в) корректность выстраивания данным субъектом иерархии целей.

Именно эти характеристики целеполагания и различаются у субъекта-управленца и субъекта-инструмента. Используя познавательный потенциал характеристики различных форм вины в интеллектуально-волевом аспекте, можно сказать следующее. По отношению к одним этапам (промежуточным результатам) достижения цели («этап № 1») субъект-инструмент (используемый как исполнительный модуль) будет действовать, например, с прямым умыслом (предвидя наступление определенного результата, т. е. «этапа № 1», и деятельно желая этого). И в этом сегменте целеполагания он не отличался от реального управленца.

Однако по отношению к «этапу № 2» (который был порожден «этапом № 1») он уже мог действовать, например, с косвенным умыслом, т. е. когда он предвидел наступление результата («этапа № 2»), но не желал этого, а лишь сознательно допускал. По отношению же к конечной цели (которая непосредственно порождается «эта-

---

<sup>1</sup> Например, для сокращения населения на некоторой территории (условно – «цель») требуется экономический упадок определенного уровня (условно – «этап № 3»), для чего требуется упадок науки и образования (условно – «этап № 2»), для чего требуется изменение отчетных показателей как критериев оценки науки и образования (условно – «этап № 1») и т. д.

пом № 2») он действовал с неосторожностью, т. е. данный результат не предвидел, а потому и не желал его наступления, хотя мог и должен был его предвидеть. А вот в этом сегменте целеполагания подобный субъект существенно отличается от реального управленца, так как является уже вовсе и не управленцем, но лишь инструментом в руках управленца. Поскольку же такой субъект-инструмент в нужной мере не осознает происходящего, то было бы уместно вспомнить высказывание Плутарха, как относящееся именно к подобной смене статуса: «Ты правишь, но и тобой правят».

Причем в случаях, когда существует конкуренция управления, может также иметь место весьма специфическая ситуация, которую уместно было бы назвать «перехват управления». Это происходит, когда, например, некая цель (как потенциальный результат) пусть бы и осознавалась, но была в целеполагании конкретного субъекта не контрольным, но свободным параметром, т. е. побочным эффектом, которым можно пренебречь, что привело к ошибке идентификации алгоритмических связей между событиями. Так, для субъекта-инструмента, организующего разрушение промышленного потенциала, контрольным параметром был бы карьерный рост (как этап достижения цели – повышение потребительского статуса, ведущее к повышению общего качества жизни). При этом уровень бедности общества, к которому вело разрушение промышленного потенциала, он определял как свободный параметр. Но в этом и заключалась ошибка целеполагания данного субъекта (причем такая ошибка есть результат управленческой несостоятельности), так как критический уровень бедности общества явился одним из факторов, ведущих, например, к государственному перевороту. А в этом перевороте пострадал лично субъект-инструмент, поскольку (иначе говоря, качество его жизни не выросло, а снизилось).

Как видно, деятельность такого горе-управленца объективно вела к достижению целей, которые явились ценностями лишь для «пользователей инструмента», которые и являются реальными управленцами. При этом «выгодоприобретателей» от государственного переворота проблемы инструмента не беспокоят. Образно говоря, проблемы каменщика и мастерка (его инструмента) – это разные проблемы. Такую ошибку в оценке вероятностного развития события, когда

желаемое оказывается гибельным, в западной литературе иногда называют эффектом обезьяньей лапы.

Если толковать данную ситуацию применительно к ситуации с конкурирующими системами управления, что очень характерно для современного мироустройства, то можно заметить, что управленческая *ошибка* одного субъекта управления может являться *целью* управленческой деятельности противоборствующего ему субъекта. Так, в ходе ведения «гибридной войны» субъект управления из атакующей системы (из системы управления «государства-агрессора») подталкивает конкурента (из системы управления «государства-жертвы») к тому, чтобы тот «рыл сам себе яму». Это делается, например, в ходе целенаправленного формирования нужного (субъекту управления) мотивационного контекста у субъекта-инструмента. Таким контекстом является, в частности, нужный набор предсказуемых (для субъекта управления) стереотипов распознавания и оценок ситуаций, а также поведенческих реакций на целенаправленно создаваемые ситуации. Поведенческой реакцией в данном случае будет выступать принятие соответствующего решения. В итоге субъект-инструмент может быть сколь угодно крепко убежден в свободе своего волеизъявления, однако он будет лишь проводником чужой воли, достигая при этом не только чужие цели, но и чуждые себе цели. Нетрудно заметить, что в этом случае и имеет место та самая ситуация: «Мы хотели достичь одних целей, а нашими руками (в том числе и средствами нормативного правового регулирования), т. е. за пределами меры нашего понимания (а потому и не прогнозируемо для нас), была достигнута иная цель, причем цель нежелательная для нас».

Кроме того, требуется учесть, что цели бывают не только объективными (т. е. реально поставленными, объективно достижимыми), но и декларируемыми. Это важное отличие, поскольку декларируемые цели могут не только очень существенно отличаться от реальных, но также может иметь место ситуация, когда реальные цели (как истинные цели) прикрыты целями декларируемыми. А в этом контексте декларируемые цели можно назвать ложными. Например, реальной целью будет являться снижение объема, качества выпускаемой продукции, снижение ресурсной устойчивости предприятия и т. п., а декларируемой – снижение издержек работы через «оптимизацию организационно-штатной структуры».

Таким образом, из двух потенциальных субъектов управления реальным управленцем окажется лишь тот, кто будет ставить управленческие цели, основанные на наибольшей глубине прогноза и идентификации причинно-следственных цепочек событий, порождаемых его деятельностью. Тот же «управленец», который имеет низкую глубину идентификации целей, может фактически являться не более чем инструментом (исполнительным модулем) в ходе управления, организуемого реальным управленцем. Иными словами, деятельность одного субъекта будет включена (как управленчески *целесообразная*) в деятельность другого субъекта.

Из этого следует вывод о том, что нет никаких оснований характеризовать правовое регулирование как «контролируемое» / «результативное» влияние в том контексте, что именно этим оно якобы и отличается от правового воздействия (при котором используются иные инструменты управления, нежели правовые средства), поскольку эти иные средства якобы и делают такое воздействие «неконтролируемым» / «нерезультативным».

Но даже если изменить контекст рассуждения и рассматривать теоретическую модель без конкуренции управления, т. е. и без взаимной деятельности, но рассматривать изолированно лишь деятельность одного субъекта, то мы увидим следующее. Если данный субъект, например, «хотел как лучше», но не осознавал того, что «получится как всегда», то такая ситуация есть лишь следствие низкой управленческой компетентности этого субъекта. То есть такая ситуация не есть результат того, что были использованы иные, *нежели нормы права*, средства правового влияния. Из этого следует, что нерезультативным (в смысле неприемлемой логической разницы между ожидаемым и получаемым результатом в контексте целеполагания конкретного субъекта), «неконтролируемым» (т. е. не контролируемым в контексте результативности вообще никем) может оказаться влияние посредством как правовых предписаний, так и иных средств.

Помимо этого, необходимо помнить, что (целеориентированное) управляющее влияние на объект управления может осуществляться не прямо, а через социальную среду, в которой находится объект управления. И такое опосредованное влияние (воздействие) на объект через среду при этом может оказаться ничуть не менее результативным, нежели непосредственное воздействие, например через правовое предписание (даже если это предписание общего характера).

Из этого следует, что контролируемость / результативность влияния *не* предопределяется тем, что средством влияния избраны правовые предписания. Именно поэтому гораздо точнее называть то, что принято именовать правовым воздействием, – непредписывающим правовым регулированием. Однако было бы неправильным наделять такое регулирование свойствами нерезультативности, неконтролируемости. Причем именно четкое различие в научных исследованиях предписывающего и непредписывающего правового регулирования (как элемента объективной реальности) и является методологической предпосылкой признания за субъективными правами хотя и непредписывающих, но регулятивных свойств.

Учитывая эту методологическую предпосылку, примем также правильную идею о том, что влияние, оказываемое правом, можно охарактеризовать как ценностно-ориентирующее, как культурологическое, как информационное, как превентивно-психологическое. Именно поэтому в заданном контексте рассуждения место и роль субъективных прав в правовом регулировании как раз и могут быть найдены через установление их места и роли в том, что принято именовать «ценностно-ориентирующим», «информационным», «культурологическим», «превентивно-психологическим» и иным влиянием права на поведение людей как элемент социальных процессов, являющихся объектом управления посредством права.

Довольно симптоматичным видится высказывание, например, В. В. Груздева, когда он, определяя границы предметной области понятий «правовое регулирование» и «правовое воздействие», отмечает, что это определить довольно сложно, а в некоторых случаях «просто невозможно»<sup>1</sup>. Думается, что трудности определения указанных понятий как раз и обусловлены теоретическими ошибками, отраженными в ряде неточностей существующих формулировок. В частности, представляется, что посредством таких терминов, как «ценностно-ориентирующее», «культурологическое», «информационное», «превентивно-психологическое» воздействие права, описываются некие не столько сопоставимые, относительно

---

<sup>1</sup> Груздев В. В. Вопросы соотношения правового воздействия и правового регулирования // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2011. № 2. С. 301.

разнокачественные и относительно обособленные<sup>1</sup> элементы<sup>2</sup>, сколько различные этапы алгоритма правового регулирования либо отдельные его аспекты.

Подобную ошибку теоретического реконструирования модели правового регулирования можно устранить посредством систематизации имеющихся теоретических моделей через установление корректной смысловой иерархии и выбора наиболее общих понятий. В частности, если описать любое управление с помощью предельно обобщающих понятий, то его можно истолковать как определенный процесс информационного обмена. Затем следует сузить предметную область общего управления (как информационного влияния) через включение его в социальный контекст, т. е. речь следует вести о социальном управлении. Таким образом, в установленной смысловой иерархии социальное управление будет являться частным случаем управления.

Соответственно, правовое регулирование может быть представлено как частный случай социального управления, т. е. в обобщении, наибольшем для *гуманитарной* науки, правовое регулирование может быть охарактеризовано как информационное влияние на общественные процессы, что и подтверждается фактической аксиоматичностью идеи о том, что в предмет правового регулирования входит определенное сознательно-волевое поведение людей. И потому верно рассуждал, например, Л. С. Явич, когда писал, что «право влияет на деятельность субъектов права, даже не наделяя их в определенные моменты правами и обязанностями. Это общеидейное, информативное влияние»<sup>3</sup>. Вместе с тем важно уточнить, что подобное «информативное» влияние право оказывает и тогда, когда наделяет субъектов права правами и обязанностями.

В случае же если внимание акцентировать не сугубо на однонаправленном аспекте – информационном влиянии права со стороны законодателя, но на процессе двунаправленном, т. е. именно на информационном обмене, то виден конструктивный потенциал идеи, напри-

---

<sup>1</sup> Хотя и однопорядковые настолько, насколько это позволяет их объединить в одну группу.

<sup>2</sup> Направления, средства, способы, формы (и т. п.) правового регулирования (воздействия).

<sup>3</sup> Явич Л. С. Общая теория права. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. С. 204.

мер, А. В. Полякова, рассматривающего право в контексте диалогической модели.

Далее можно уточнить о какой информации идет речь, исключив при этом из социально-информационного влияния ту информацию, которая хотя и может функционировать как на уровне сознания, так и на уровне подсознания, но тем не менее генетически не наследуется. Иными словами, в контексте юридической науки из предмета исследования исключено управление посредством социально значимого информационного влияния на уровне генетических модификаций<sup>1</sup>.

Фактически это означает выход на необходимость включения данной генетически ненаследуемой социально значимой информации в культурный контекст, так как хотя и существует огромное множество определений понятия «культура», но все же их объединяет то, что речь идет о некоем массиве социально значимой информации (по меньшей мере, если вести речь о так называемой духовной культуре)<sup>2</sup>, не передаваемой генетически.

Но в этом случае логика рассуждения не допускает разделения (обще) культурного и информационного влияния права, так как «информативное», «культурное» («культурологическое») – это вовсе не однопорядковые характеристики специфики правового влияния (регулирования, воздействия). Иными словами, это не некие параллельные процессы, но процессы неразрывно связанные. Термин «культурное» влияние права уточняет частный случай процесса социально значимого информационного влияния права. Таким образом, было бы правильнее вести речь об информационно-культурном влиянии (воздействии) права. В противном случае у исследователя будут действительно сложности с различением информативного и культурного влияния (воздействия) права.

---

<sup>1</sup> Подобное отсечение не отрицает перспективности подобных исследований.

<sup>2</sup> Как минимум если речь идет о «духовной культуре». Как максимум мы можем не разделять духовную и материальную культуру в силу крайней неудачности такого словоупотребления, отражающего крайнюю неудачность формулировки так называемого основного вопроса философии. В данном случае можно было бы вести речь об информационном массиве, об информации, *в том числе отраженной (на) и выраженной (в) материальных носителях как на объектах так называемой материально-технической культуры; а также об информации, включающей в себя алгоритмы ее использования в ходе обработки вещества с целью формирования (преимущественно искусственной) среды обитания современного человека.*

Если же учесть, что речь идет о социальной сфере, о *социально значимой* информации, т. е. то, что социальное управление через сознание и волю человека направлено на *социально значимое* поведение (как предмет правового регулирования), то можно понять следующее. В ходе правового регулирования (воздействия) как информационного влияния проявляется ценностно-ориентирующее влияние права на сознание и волю людей. Но из этого можно сделать вывод о том, что и ценностно-ориентирующее влияние права не является неким процессом, идущим параллельно информационно-культурному влиянию права. Правильно было бы рассматривать ценностно-ориентирующее влияние права как процесс, включенный в социально-управленческое влияние посредством права. Иначе говоря, информационно-культурное влияние права в качестве неотъемлемой части содержит в себе ценностно-ориентирующее влияние (воздействие) права, т. е. нельзя разделять информационно-культурное и ценностно-ориентирующее влияние права.

Ценностно-ориентирующий аспект влияния права является основой для понимания следующей стадии управления как информационного влияния – формирования такой психологической установки, как готовность к соответствующему поведению. Это превентивная (в случае с негативной оценкой) либо мотивирующая (в случае с позитивной оценкой) установка.

Указанием на наличие такой установки можно считать, например, вычленение так называемой познавательной-оценочной нормативности социальных явлений<sup>1</sup> (хотя говорить о нормативности в данном случае представляется не вполне верным), выделение в структуре правосознания таких элементов, как, например, готовность действовать, внутренняя установка<sup>2</sup>, правовая установка<sup>3</sup> и т. д.

Из этого следует, что «превентивно-психологическое» воздействие права нельзя рассматривать как одну из форм правового воздействия

---

<sup>1</sup> Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура: учеб. пособие. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. 52 с.

<sup>2</sup> См.: Дюрягин И. Я. Советское право и правосознание. Правовая культура // Теория государства и права: учебник / С. С. Алексеев, П. Т. Васьков, И. Я. Дюрягин [и др.]; под ред. С. С. Алексеева. М.: Юрид. лит., 1985. 480 с.

<sup>3</sup> См.: Щербакова Н. В. Проблемы правовой установки личности. Ярославль: ЯрГУ, 1993. 173 с.

(влияния / регулирования) *наряду* с информационным, культурным, ценностно-ориентирующим. Его необходимо рассматривать как *этап алгоритма* информационно-культурного влияния права. Или (что то же самое) как *этап алгоритма* правового регулирования (воздействия). И этот этап следует после ценностно-ориентирующего этапа. При этом в ходе исследования вполне можно сосредоточить внимание на одном из процессов как на этапе алгоритма социально-правового управления, но не рассматривать ценностно-ориентирующее и превентивное / мотивировочное влияние права как некие разделенные параллельные процессы<sup>1</sup>.

Таким образом, наиболее *объемлющим* явлением видится информативно-культурное влияние (воздействие) права. Заметим, что эта мысль весьма точно согласуется с введенными ранее замечаниями по вопросу о соотношении правового регулирования и правового воздействия, т. е. с замечаниями о том, что требуется четко различать предписывающее (прескриптивное) и непредписывающее правовое регулирование.

Основываясь на общепризнанной классификации высказываний (с выделением предписывающих и непредписывающих высказываний), мы делаем вывод о наличии предписывающей и непредписывающей информации. Эту идею требуется соединить с мыслью о том, что *наиболее объемлющей* характеристикой правового регулирования (*как частного случая управления*) является его отнесение к информативно-культурному влиянию права. И в таком случае мы приходим к выводу о том, что информативно-культурное влияние права может осуществляться посредством не только предписывающей, но и непредписывающей информации.

Практически все средства правового регулирования (воздействия), которые принято выделять в научных исследованиях, могут быть охарактеризованы как средства информационно-культурного воздействия права, причем это может быть как предписывающее, так

---

<sup>1</sup> Фактически подобную параллельность вместо взаимной вложенности можно наблюдать, когда происходит разделение познавательной, регулятивной, оценочной, воспитательной функции правосознания (см., например: Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура. С. 35). Хотя справедливости ради следует отметить, что Н. Н. Вопленко называет регулятивную функцию правосознания «логическим продолжением и конкретизацией ценностно-ориентационного отношения субъекта к явлениям правовой действительности» (там же, С. 37).

и непредписывающее правовое регулирование (воздействие). Именно это и будет являться предпосылкой признания за правами человека свойств регулятивных, но не нормативно-предписывающих.

В данной связи важно обратить внимание на своего рода гиперболизацию роли именно нормативного социального регулирования в социальном управлении. Например, С. С. Алексеев фактически характеризует нормативное социальное регулирование как первый по значимости качественный сдвиг в истории регулятивной культуры<sup>1</sup>. Г. В. Мальцев называет социальное нормативное регулирование высшим социальным контролем<sup>2</sup>, высшей организацией социального регулирования<sup>3</sup>. Можно привести целый ряд схожих высказываний, однако считаем, что истинность подобных высказываний как минимум очень сильно ограничена и временем, и местом, и кругом лиц, вольно или невольно формирующих конкретику содержания социальных процессов.

Гиперболизация роли нормативного регулирования в социальном управлении является теоретическим фундаментом для совершенно необоснованной гиперболизации правового нормативного регулирования. В свою очередь, такое преувеличение значения правового нормативного регулирования является фактической предпосылкой признания того, что право якобы имеет приоритет перед другими средствами социального управления в аспектах масштабности, необратимости эффективности и т. п. характеристик изменения социальных процессов, протекающих в объекте управления. Реальная популярность подобных идей подтверждается как минимум широким признанием того, что правовой идеализм (идиотизм) является одной из форм деформации правосознания.

В этой связи отметим, что довольно часто встречается ситуация, когда, с одной стороны, информация как адресное *предписание* юридического характера *не* оказывает результирующего управляющего<sup>4</sup> воздействия, а с другой стороны, информация непредписывающая, к тому же безадресная (адресат непосредственно не определен),

---

<sup>1</sup> См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. 288 с.

<sup>2</sup> См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. М.: Норма: Инфра-М, 2011. С. 17.

<sup>3</sup> Там же. С. 20.

<sup>4</sup> Разумеется, в контексте целеполагания конкретного субъекта и с учетом ранее сделанных замечаний.

подобное воздействие оказывает. При этом информация непредписывающая по своей силе вполне может превосходить воздействие, оказываемое адресной предписывающей информацией, причем речь может идти о предписании юридическом, обеспеченном возможностью применения мер государственного принуждения. И совершенно правильно отмечает В. М. Сырых: «Общеизвестно, что значительная часть норм права действует недостаточно эффективно потому, что закрепленные ими интересы не соответствуют интересам субъектов... граждане и иные лица ориентированы на иную шкалу ценностей»<sup>1</sup>.

Например, на многих адресатов запрета совершать преступления коррупционной направленности данный запрет оказывает очень слабое по реальной эффективности воздействие в силу того, что есть конкурирующая информация. Таким конкурентом является информация о достижимости жизненного благополучия посредством благополучия финансового, информация о приемлемом уровне риска при коррупционном «зарабатывании денег» и т. п. И данная конкурирующая информация оказывает более сильное управленческое воздействие на государственного служащего, нежели юридическое предписание. Этому не следует удивляться, если общемировоззренческим приоритетом (приоритетной целью) «элитария» с самых юных лет является решительная забота о себе и строгое и неуклонное повышение своего потребительского статуса, в том числе в преемственности поколений своих потомков, даже если методы достижения своих целей объективно являются общественно опасными, в том числе создают реальную угрозу государственной безопасности. Можно привести массу иных примеров.

Ближайшей предпосылкой гиперболизации нормативного регулирования представляется своего рода *недооценка* регулятивного потенциала непредписывающего регулирования. Эта ситуация видится довольно удивительной, поскольку для отрицания существенного регулятивного потенциала непредписывающего регулирования нет ни рациональных теоретических, ни эмпирических оснований. Косвенным указанием на недооценку роли непредписывающего регулирования является высказывание Г. В. Мальцева, который отмечает,

---

<sup>1</sup> Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 1. С. 74.

что юристы должны обращаться к материалам изучения процессов психической регуляции, т. е. им следует выяснять, как предпосылки поступков, обладающих юридической значимостью, формируются в психике человека, как под воздействием норм и других внешних регулирующих факторов они определяются в качестве актов правового поведения<sup>1</sup>. Поэтому стимулирование определенного поведения – это одна из разновидностей управления, имеющая, однако, более «опосредованный» характер, чем «прямые» предписания<sup>2</sup>.

Именно поэтому мысль Г. В. Мальцева о том, что все иные социальные регуляторы уступают норме, но затем могут быть инкорпорированы, и тогда их задача – помогать норме воплощаться<sup>3</sup> – верна, но лишь в некоторой мере. Думается, что точным здесь является более комплексный подход, когда картина социального регулирования изучается в динамике. И хотя, действительно, в некоторых случаях «норма появляется там, где все другие социальные регуляторы... работают ненадежно или вообще не могут работать»<sup>4</sup>, эту идею не следует гиперболизировать хотя бы потому, что за последние несколько десятилетий мы стали свидетелями необычайной легкости попрания конституционных правовых норм. Этому свидетельствовал целый ряд грандиозных событий как у нас в стране, так и за рубежом. В частности, это события, связанные с изданием и реализацией неконституционного указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400, причем данный указ не был также одобрен 62 субъектами Российской Федерации, отменившими его действие на своих территориях<sup>5</sup>.

Можно привести иной пример, демонстрирующий еще один аспект данной проблемы, в частности это прекращение *существования СССР*. В Постановлении № 157-ПГД «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР», в частности

---

<sup>1</sup> См.: Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 123.

<sup>2</sup> См.: Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М.: Юрид. лит., 1972. 258 с.

<sup>3</sup> Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 19.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М.: Юрист, 2004. 512 с.

в п. 3, указано следующее: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарем РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утвержденное Съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР».

В силу этого следует согласиться с В. М. Сырых, который пишет: «Общезвестно, что значительная часть норм права действует недостаточно эффективно потому, что закрепленные ими интересы не соответствуют интересам субъектов... граждане и иные лица ориентированы на иную шкалу ценностей»<sup>1</sup>.

Самой же общей основой ошибки с гиперболизацией роли нормативного (а точнее – предписывающего) регулирования видится отсутствие и в классических теориях управления вообще, и в теории государства и права в частности<sup>2</sup> не только адекватных теоретических моделей, но даже требуемого понятийного ряда для точного описания таких явлений, как бесструктурный способ управления, непрограммные схемы управления, управление объектом через воздействие на среду (как множество процессов, более или менее связанных с управляемым процессом). Данная проблема приводит к признанию приоритета в социальном управлении (т. е. и в правовом регулировании также) структурных моделей управления<sup>3</sup> с программными схемами управления<sup>4</sup> при замкнутости системы управления<sup>5</sup>.

Если же таких ошибок не делать, то следует признать, что предписывающее правовое регулирование является частным случаем информативно-культурного влияния права. Причем предписывающее правовое регулирование вовсе не обладает в социальном управлении некой приоритетной управленческой ценностью, которая позволяла бы уверенно утверждать о некоем доминировании такого регулирования

---

<sup>1</sup> Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 1. С. 74.

<sup>2</sup> Поскольку теорию государства и права вполне можно считать частным случаем теории управления.

<sup>3</sup> С обязательным наличием субъекта управления.

<sup>4</sup> К коим относится управление посредством любых социальных норм.

<sup>5</sup> Когда управление как информационный обмен представлено лишь контурами прямых и обратных связей между субъектом и объектом управления без учета включения в информационный обмен (социальной) среды.

в социальном управлении. В силу этого не меньшую управленческую ценность будут иметь иные средства информативно-культурного влияния права. К таким средствам как раз и будут относиться права человека как инструменты, с помощью которых осуществляются определенные управленческие функции, помимо дублирования или косвенного представления экспонента (знака) права как инструмента прескриптивного управления.

Здесь можно вспомнить, например, что запрет на совершение преступления коррупционной направленности (предписывающее правовое регулирование) оказывает гораздо более слабое управляющее воздействие на государственного служащего, нежели информация о возможности достичь жизненного благополучия через финансовое благополучие от коррупционного «зарабатывания денег» и т. п. Иными словами, сформированная сугубо описательными высказываниями мировоззренческая позиция, когда высшей ценностью является «решительная забота о своем потребительском статусе», управляет соответствующим субъектом в гораздо большей мере, нежели правовые ограничения и запреты антикоррупционной направленности.

Да, любое управление целенаправленно, а право как элемент механизма управления также является множеством целеориентированных норм. Ближайшей целью права можно считать определенное социально значимое поведение (реализация права). Однако следует четко понимать, что «норма появляется там, где все другие социальные регуляторы... работают ненадежно или вообще не могут работать»<sup>1</sup>. Это не является общим алгоритмом управления. Иначе говоря, правомерное поведение, причем и как ближайшая цель (первое событие в цепи событий), и как фактор, детерминирующий некий более отдаленный социально значимый результат (второе и последующее событие в цепи событий), вполне может быть достигнуто и иными средствами, помимо правовых предписаний.

Итак, мы видим теоретическую основу для признания того, что права человека регулируют непредписывающим образом поведение и самого «бенефициара» предписания, т. е. поведение носителя данного права, т. е. того, в чью пользу реализуются правовые запреты (обязанности), причем это право человека регулирует поведение

---

<sup>1</sup> Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 123.

своего носителя, не предписывая его, т. е. не запрещая и не обязывая (поскольку разрешение предписанием не является).

В силу этого следует вновь вернуться к трактовке прав человека в информационном аспекте как неких возможностей. Однако данные возможности необходимо трактовать не в логико-семантическом аспекте, но в аспекте воздействия этой информации (прав человека) на сознание участников социального взаимодействия. То есть рассмотрим не столько особенности субъективных прав как высказываний в логическом аспекте, сколько обратим внимание на социально-психологический эффект, порождаемый этой информацией. Фактически это будет анализом факторов прагматического характера, влияющих на выбор способов формализации юридических предписаний.

Заметим, что в настоящей работе мы рассмотрим лишь самые общие предпосылки для теоретической реконструкции социально-психологического аспекта действия права, поскольку данный аспект, несмотря на его важность, традиционно признается довольно слабо изученным юридической наукой<sup>1</sup>.

Прежде всего, обратим внимание на ценностно-ориентирующее влияние права как алгоритм правового регулирования. Заметим, что формирование целей и ценностей в отношении сознания больших групп людей вполне осуществимо, причем осуществимо по тем направлениям, которые в контексте управления обществом можно было бы именовать стратегическими. Стратегическим такое направление регулирования является потому, что оно может обеспечивать долговременный, масштабный (по количеству объектов управления) и устойчивый (в аспекте необратимости изменения параметров функционирования объекта управления) результат.

Думается, что именно о таком стратегическом управлении и говорит, например, Г. В. Мальцев, когда указывает на обеспеченную стабильность, предсказуемость действий и событий в течение длительного периода, хотя такие особенности управления ученый необоснованно связывает лишь с нормативным регулятивным воздействием<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие / под ред. Ю. Г. Арзамасова. М.: Академический проект, 2007. С. 28.

<sup>2</sup> Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 23.

Любопытно, что Г. В. Мальцев увязывает стратегический характер нормативного регулятивного воздействия с «духовным созвучием» его элементов – идеологической, мировоззренческой ценностной близостью системы социальных норм<sup>1</sup>. Однако если не преуменьшать регулятивный потенциал ненормативного регулирования, то легко заметить наличие у ненормативных информационных средств правового воздействия такой же мировоззренческой, ценностной, идеологической основы, позволяющей говорить о стратегическом характере их регулятивного потенциала.

Вместе с тем возникает вопрос о том, насколько некие средства мировоззренческого, ценностного, идеологического влияния могут быть отнесены к правовым средствам регулирования / воздействия.

Для формирования предпосылок правильного ответа на данный вопрос следует учесть ряд моментов.

В гуманитарных науках существует довольно большое разнообразие подходов к определению идеологии<sup>2</sup>. Не ставя перед собой цель проанализировать все многообразие данных подходов, отметим следующее. Идеологию понимали как источник заблуждений и вместилище идолов разума, (Ф. Бэкон), как ложные идеи и источник бедствий (Гольбах), ложное сознание (О. Лемберг), как химеры искаженного сознания (Н. Макиавелли, Д. Юм), как фундамент политической и экономической жизни (А. Дестют де Траси), как симуляционную модель социального (Ж. Бодрийяр), как неизбежный спутник и инструмент классово-борьбы (марксизм), как вторичную семиотическую систему, родственную мифу, но неизбежную в своем генезисе (Р. Барт) и т. д. Но с точки зрения наиболее аксиологически нейтральной описательной характеристики согласимся с тем, что «идеология – это образ мнений и убеждений, которыми люди пользуются для объяснения и оценки мира таким образом, чтобы сформировать, установить, направить и оправдать определенные формы и методы деятельности»<sup>3</sup>. Заметим, что наиболее важной частью приведенного описания является указание на то, что речь идет именно о некой

---

<sup>1</sup> Мальцев Г. В. Социальные основания права. С. 23.

<sup>2</sup> В данной связи уточним, что мы обойдем трактовку идеологии в духе ряда мыслителей эпохи Просвещения как науки об образовании идей и будем вести речь именно об идеях, конституирующих явление, которое принято именовать «идеология».

<sup>3</sup> Джонгман А., Шмид А. Словарь по правам человека. М., 1997. С. 12.

системе оценок. Иначе говоря, если характеризовать идеологию посредством предельно обобщающих родовых понятий, то ее можно определить как совокупность аксиологических оценочных высказываний (толкуемая как система ценностей), что и обуславливает сохраняющееся в философской мысли Запада негативное отношение к идеологии и жесткое противопоставление ее науке.

Здесь следует особо подчеркнуть, что, несмотря на некую традиционную критику идеологии, ее использование в практической деятельности по социальному управлению (от регионального до глобального уровня значимости) довольно явно просматривается. Конечно, строгий научный анализ идеологии в логико-семантическом аспекте обнажает ее уязвимость хотя бы в силу особенностей содержания основных функций идеологии. Однако практика явно подсказывает, что к идеологическим воззрениям принято предъявлять требования несколько иного характера, нежели, например, полнота, эмпирическая верифицируемость научной теории и т. д. К идеологии принято предъявлять несколько иные требования, что обусловлено ее функциональной ролью в практической деятельности. В частности, это могут быть требования эмоциональной привлекательности (для адресата идеологических построений), что зависит от особенностей стереотипов восприятия социальной реальности и реакции на изменение ее параметров. Эти же стереотипы (адресатов идеологии), порождаются в его сознании в силу весьма сложной, квалифицированной и зачастую целенаправленной деятельности довольно широкого круга субъектов.

Таким образом, в силу того, что идеология в целом – это именно частный случай определенных аксиологических оценок (в том числе далеко не всегда выраженных эксплицитно), было бы более точно вести речь не о двух обособленных друг от друга информационных сферах (социального воздействия) – оценочной *и* идеологической, но лишь об идеологической сфере.

Мировоззрение в целом отражает (в том числе и оценивая) такой объект, как *вся* внешняя по отношению к носителю мировоззрения среда. Поскольку социальная среда есть часть этой среды, постольку идеология в рассматриваемом аспекте является частным случаем мировоззрения, т. е. и идеологическое влияние есть частный случай влияния на мировоззрение (мировоззренческое влияние). Из этого

следует, что в рамках гуманитарных наук вообще и юридической науки в частности было бы правильно вести речь не о мировоззрении в целом, но о его социально-оценочной части – об идеологии.

Анализируя содержание ст. 13 Конституции России («Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»), необходимо четко понимать следующее. В любом государстве существуют воззрения о том, что в общественной жизни является полезным, заслуживающим поощрения и поддержки, а что порицаемым, вредным. Это идеологические воззрения. Они далеко не всегда исходят только лишь от государства, а если уж и исходят от государства, то не всегда официально или хотя бы открыто. И именно эти обстоятельства могут создавать иллюзию отсутствия идеологии. Конкретный социальный опыт практически всех государств показал, что далеко не самой эффективной является деятельность по внедрению в сознание представлений о социальных ценностях директивно-командным методом посредством специальных структур (профессиональные агитаторы, пропагандисты, специалисты по политико-воспитательной работе и т. д.), распространяющих «полезную идеологию» и блокирующих распространение «вредной идеологии».

Значительную эффективность показало воздействие иное – неструктурное, т. е. не командно-приказное, осуществляемое посредством неких специальных структур. Более действенным оказалось идеологическое воздействие, осуществляемое за счет создания нужного информационного фона. Этот фон и формирует ценностный контекст мировоззрения, в том числе и при помощи манипуляции сознанием, т. е. путем такого управления сознанием (путем его изменения), которое не осознается объектом манипуляции (*управляемым* объектом). Создание требуемого информационного излучения происходит посредством образования, науки, религии, искусства и т. д. Иными словами, несмотря на наличие ст. 13 Конституции России, вполне можно вести речь о наличии даже господствующей идеологии.

Таким образом, в фокусе дальнейшего анализа окажутся не три объекта со стратегическим характером воздействия (идеология, ценности / оценки, мировоззрение), а лишь один – идеология. И этот объект сопряжен с таким этапом алгоритма управления (правового регулирования как частного случая социального управления), как ценностно-ориентирующий.

Выбор способов формулировок правовых предписаний предопределяется разными факторами прагматического характера и в том числе представлениями о социальных ценностях субъекта правотворчества. Идеология же в целом является определенной совокупностью оценочных высказываний (хотя и не исключительно оценочных). Из этого следует, что идеология и относится к числу таких факторов-детерминант. Как видно, это плоскость аксиологии правовых явлений.

Да, вопросы аксиологии в юридической науке имеют характер весьма сложный и многогранный. Решение же теоретико-познавательных проблем здесь во многом обусловлено особенностями правопонимания исследователя. Однако есть некие фундаментальные аспекты в аксиологии правовых явлений, позволяющие обойти сложности, обусловленные особенностями конкретного правопонимания и решить поставленные задачи.

Итак, оттолкнемся от той очевидной данности, что право включает в себя как минимум систему норм вне зависимости от типа правопонимания, т. е. от метаязыка права, которым пользуется исследователь как интерпретатор объектного языка права. Саму же норму права условно определим как отправную точку рассуждения. Эту точку можно назвать нулем в системе виртуальных координат при нахождении правовых оценок.

К первой группе мы отнесем оценки, которые, условно говоря, предшествуют (позитивному) праву. Назовем их оценки **ante legem** и оценки **pre legem**.

Во вторую группу – оценки, которые в некотором смысле сопутствуют (позитивному) праву. Назовем их оценки **praeter legem** и оценки **secundum legem**.

Третью группу составят оценки самого (позитивного) права. Назовем их оценками **post legem**.

Рассмотрим подробнее такие оценки в непредписывающем правовом регулировании, дабы определить место и роль прав человека в правовом регулировании как элементе социального управления.

Используя сложившиеся обыкновения словоупотребления в академической среде<sup>1</sup>, указанную точку в рамках данной работы будем называть **lex** («закон»), хотя речь фактически будет идти не столько о законе, сколько о любых нормах (позитивного) права.

---

<sup>1</sup> См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В. А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 94–95.

### 4.3. Права человека в непредписывающем правовом регулировании: оценки *ante legem* и *pre legem*

Итак, права человека, рассматриваемые не в семантическом, но в прагматическом аспекте анализа, относятся к средствам идеологического влияния на общество, которые, с одной стороны, являются малоизученными, а с другой – имеют серьезный регулятивный потенциал. В таком ракурсе видно, что данные права относятся к ценностно-ориентирующему этапу алгоритма социального управления, причем управления на уровне не только государственном, но и надгосударственном.

Рассмотрение прав человека в системе социально-правовых оценок следует начать с того факта, что любые правовые нормы – это не что иное, как частный случай аксиологических оценок. И эти оценки алгоритмически предшествуют норме. Однако данный факт в требуемой для понимания мере в научно-юридических исследованиях, к сожалению, практически не отражен. При этом вопрос о соотношении оценок и норм в логико-философских исследованиях был достаточно полно и обоснованно решен еще в 70-е гг. 20 века А. А. Ивиным. В частности, ученый показал, что нормы – это частный случай оценок<sup>1</sup>. Именно в подобном контексте можно и говорить, что оценки алгоритмически предшествуют норме, если понимать алгоритм в данном контексте как последовательность шагов преобразования информации.

В связи с этим начнем рассмотрение не с более общей оценки, которую мы будем называть *ante legem*, но с оценки, которую мы будем называть *pre legem*. Оценки *pre legem* предшествуют любым правовым нормам, точнее предшествуют появлению правовых норм, в связи с чем и предложена такая их характеристика, как «генетическое предшествование нормам», т. е. эти оценки есть алгоритмически необходимый элемент (логического) генезиса правовых норм. Речь идет о том, что любая норма фактически представляет собой своеобразный симбиоз двух аксиологических оценок. Например, оценка № 1 – «хорошо (позитивно ценно), когда платят налоги». Оценка № 2 – «хорошо (позитивно ценно), когда наказывают того, кто не платит

---

<sup>1</sup> См.: Ивин А. А. Основания логики оценок. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 230 с.; Ивин А. А. Логика норм. М.: Изд-во МГУ, 1973. 121 с.

налоги». Соединение этих двух оценок порождает норму – «обязательно (запрещено не-) платить налоги». И если уточнить, что в данном случае речь идет об алгоритме преобразования информации в семантическом контексте ее анализа, то можно говорить о том, что норма права – это семантический симбиоз оценок *pre legem*.

Оценки *pre legem* – это оценочные высказывания «о вещи» (в нашем контексте – о социальном явлении, о поведении), т. е. это так называемое высказывание *de re*, имеющее логическую форму – модальную (аксиологическую) оценку субъектно-предикатного высказывания: М (S есть Р). Поскольку правовая норма – это частный случай оценок (точнее – их семантический симбиоз), то видно, что данные оценки можно относить к сфере *объектного* языка права.

Из этого следует, что *любая* правовая норма *по определению* связана с оценкой (ценностью), причем, это оценка социальных явлений, т. е. социальная оценка. Иными словами, дискуссия о том, связано ли право с ценностями, например, между представителями естественно-правовой школы и, например, представителями юридического позитивизма в целом ряде случаев представляется лишенной рациональных оснований в силу очевидности такой связи, очевидности неразрывности связи права и оценок. В данной связи можно отметить, что в рассматриваемом контексте верно пишет В. Е. Четвернин, когда отмечает, что конституция – это идеологический документ, что любая конституция строится на основе каких-то идеологических постулатов и выражает их<sup>1</sup>, М. Л. Давыдова, которая указывает, что освободить закон от идеологических установок нельзя<sup>2</sup>, и другие ученые.

Итак, оценки *pre legem* (генетически) предшествуют (позитивному) праву, т. е. существуют в той ветке алгоритмов развития социальных процессов, которая привела на некий момент к созданию правовой нормы. Соответственно, по отношению к такой оценке некое право человека может рассматриваться как дублирующий или косвенный экспонент собственно юридического предписания

---

<sup>1</sup> См.: Четвернин В. Е. Конституционное право России. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 80.

<sup>2</sup> См.: Давыдова М. Л. Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. С. 87.

(обязанности / запрета), притом что это предписание само по себе также есть соединение двух оценок *pre legem*. В таком случае право человека прямо отражает данные оценки. Но следует подчеркнуть, что в подобном случае право человека фактически является *лишь отраженной юридической обязанностью / запретом*, т. е. дублирующим или косвенным экспонентом нормативного юридического предписания. Однако в этом качестве права человека принадлежат к системе средств именно *предписывающего* правового регулирования.

Вместе с тем важно понимать, что две социальные оценки не всегда превращаются в правовую норму. Можно эту же мысль выразить иначе и сказать так: не всякая оценка *ante legem* превращается в оценку *pre legem*, т. е. появление правовой нормы *не* является *необходимым* (в смысле программной детерминации) этапом в каждом алгоритме социального (само)управления. Это лишь алгоритмически *возможный* этап управления.

Таким образом, можно сказать, что оценки *pre legem* – это такие оценки *ante legem*, которые были восприняты субъектом, издавшим правовую норму. Из этого видны, во-первых, определенная условность и относительность границ между рассматриваемыми оценками, а во-вторых, видны также и количественные различия данных оценок. Границы множества норм *pre legem* довольно четко определены и соответствуют количеству правовых норм (разумеется, если понимать их именно как предписания, причем общего характера, т. е. как правовые обязанности / запреты). И это отнюдь не мешает подчеркиванию значимости прав человека, но, напротив, отражает естественно-правовую идею о том, что права человека предшествуют праву.

Между тем естественно-правовой подход отражает и идею дуализма права (право естественное и право позитивное). Это вопрос о выделении во множестве оценок *ante legem* подмножества *потенциальных* оценок *pre legem* по определенным качественным параметрам. *Такой вопрос* довольно сложен в силу целого ряда обстоятельств. Одним из них является отсутствие общепринятой (хотя бы в рамках отечественной юридической науки) терминологии, позволяющей сформировать семантическое поле для теоретической реконструкции соответствующих социально-правовых явлений.

Кроме того, в первом приближении можно выделить проблематику, позволяющую понять, на каком основании мы можем выделять в множестве оценок *ante legem* подмножества потенциальных оценок *pre legem*. В частности, к подобной проблематике можно было бы отнести дискуссионные вопросы понятия и признаков правоотношений, понятия и границ предмета правового регулирования, объективности системы права, пробелов в праве и ряд других. Своими корнями данные вопросы уходят в такую фундаментальную политико-идеологическую проблему правотворчества, которая выражена в вопросе: законодатель формирует или лишь формулирует право? Эта же проблема лежит в основе идей о разделении права на естественное и позитивное. Несколько иначе та же проблема интерпретируется в смысловом поле понятия и признаков права и, в частности, такого (часто выделяемого) признака права, как его нормативность<sup>1</sup> в *непредписывающей интерпретации* нормативности.

В свою очередь, данная проблематика производна от более общих дискуссионных вопросов (являющихся фундаментальными вообще для всех гуманитарных наук) о мере управления и самоуправления в различных процессах социальной жизни. Фундаментальность данных вопросов обусловлена тем, что содержание ответов на них позволяет выявлять (реальные или мнимые) алгоритмы управления социальной жизнью любого уровня (внутригосударственного, регионального, глобального), различать реальные, декларируемые и потенциальные цели социального управления (самоуправления). Соответственно, это позволяет прогнозировать направленность реального развития отдельных государств, их объединений, цивилизации в целом (либо создает лишь иллюзию такого прогноза), а значит – позволяет либо управлять государством, регионом, цивилизацией в целом, либо пребывать в иллюзии подобного управления.

Если включать в теоретическую реконструкцию рассматриваемой ситуации терминологию марксизма, то стоит вспомнить «...внутренние законы духовных отношений», которым законодатель придает

---

<sup>1</sup> См., например, Липатов Э. Г. Нормативность правовых явлений: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. права, 1996. 26 с.; Давыдова М. Л. Нормативно-правовое предписание как начальный уровень правовой нормативности // Конфликтология. 2011. № 4. С. 100–108; Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982. 287 с.

форму закона<sup>1</sup>. Следовательно, те из социальных оценок, которые выражают «...внутренние законы духовных отношений» (на основании которых законодатель формулирует законы), и можно относить к оценкам *pre legem*, в случае если они образуют норму права (через семантический симбиоз), или к оценкам *ante legem*, если они не складываются в норму права.

Развивая еще на заре советской юриспруденции идеи марксизма в работе «Общая теория права и марксизм», Е. Пашуканис отмечал, что «юридическое отношение – это первичная клеточка правовой ткани...», и далее признавал возможность существования правоотношения при отсутствии соответствующей правовой нормы<sup>2</sup>. Если интерпретировать такие идеи Е. Пашуканиса посредством модели с оценками, то можно сказать, что правоотношение, *существующее до юридической нормы* (хотя при этом вовсе не обязательно признавать такое отношение правоотношением), – это отношение, генерируемое оценками *ante / pre legem*, существующими в (право)сознании субъектов данного отношения. По сути, это логика рассуждения о естественном праве, о правах человека, которые не откритированы, но существуют до позитивного права. Вместе с тем, думается, что при этом следует избегать таких крайностей, как признание наличия отношений, возникающих *независимо от воли и сознания людей* (экономических, производственных отношений)<sup>3</sup>.

Ряд ученых, используя рассуждение о связанности законодателя фактически сложившимися отношениями, которые, в свою очередь, генерируются соответствующими оценками, которые также могут быть отнесены и к правам человека как элементу так называемое естественного права, приходят к обоснованию довольно специфического толкования объективности системы права. Неудивительно, что в таком смысловом алгоритме мы видим утверждение о том, что право не является плодом произвола законодателя. В частности, Н. Н. Вопленко указывает, что «при издании очередного нормативного акта правотворец озабочен, в первую очередь, необходимостью урегу-

---

<sup>1</sup> См.: Маркс К. Проект закона о разводе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1955. 723 с.

<sup>2</sup> Цит. по: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. 340 с.

<sup>3</sup> См.: Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 587.

лировывать актуализированные в общественной практике общественные отношения»<sup>1</sup>. Как видно, даже если иметь иное мнение насчет того, что на самом деле составляет предмет «озабоченности правотворца», интерпретация указанных идей посредством модели с оценками позволяет сказать, что «актуализированные в общественной практике общественные отношения» – это отношения, генерируемые оценками *ante / pre legem*, существующими в (право)сознании субъектов данного отношения.

Сама идея объединения «юридической формы» и «социального (в том числе классового) содержания» находит свое выражение и в «широком понимании нормативности». Если описывать оценки *ante / pre legem* с помощью терминологии «широкого понимания нормативности», выделяя, в частности, «...нормативность реальной жизни (ее упорядоченность, нормальность, объективно сложившийся ход вещей)», то данную «нормальность» и можно считать такой характеристикой социальных обстоятельств, которая в нашем контексте будет конституировать типичность предмета и критериев, а также массовость субъектов оценок *ante / pre legem*.

Представляется, что в общем социологическом контексте идеи «широкой нормативности» довольно обстоятельно представлены у В. Д. Плахова<sup>2</sup>. Характеризуя «нормативную ситуацию», В. Д. Плахов выделяет «имманентную норму» – объективную закономерность, являющуюся объектом познания и отражения в так называемом нормообразе как «аутентичном гносеологическом образе имманентной нормы». Уточняя механизм отражения «имманентной нормы» в сознании, а затем и воплощения ее в жизнь, ученый вводит также понятия нормы-информационного кода, нормы-модели, нормы поведения и нормы-деятельности<sup>3</sup>. В силу этого думается, что «имманентная норма», «норма-информационный код», «норма-модель» могут быть с соответствующими уточнениями охарактеризованы посредством оценок *ante / pre legem*, «нормы поведения» – как семантический симбиоз оценок *pre legem*, а «норма-деятельность» – как деятельность, которая генерируется либо оценками *pre legem*, либо их семантическим симбиозом.

---

<sup>1</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 13.

<sup>2</sup> См.: Плахов В. Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории. М.: Мысль, 1985. С. 16.

<sup>3</sup> Там же. С. 22.

Необходимо обратить внимание на источник массовости соответствующего социального поведения, поскольку отчасти верно, что «нормативной переработке подлежат, как правило, массовые ряды социальных явлений, это способствует созданию устойчивых моделей общественного порядка»<sup>1</sup>. Следовательно, с определенными оговорками можно признать, что именно эта массовость и побуждает соответствующих субъектов формулировать право, регулятивная статическая функция которого состоит в закреплении «...в соответствующих нормах и правовых институтах того, что реально достигнуто и составляет экономический, политический, социально-культурный фундамент общества и государства, основу их последующего развития»<sup>2</sup>. При этом ценность юридического оформления того поведения, которое сложилось и массово проявляется, принято рассматривать как одну из основ правопорядка: «Два нормативных потока – правовой и реальной жизни – должны слиться в единое русло урегулированности социальной практики. Если это происходит на всех этапах развития правовой материи, то в обществе процветает правопорядок»<sup>3</sup>.

Итак, по мнению В. Д. Плахова, массовость порождается в силу достаточности гомеоморфного и топологического подобия элементов нормы-кода с элементами отображаемых объектов, что в итоге ведет к превращению так называемого нормообраза в «суверенное идеальное образование» в результате утери в социальной памяти реальных связей модели и отражаемого объекта. Далее происходит массовое тиражирование нормообраза, его «транспортировка по информационным каналам связи в процессах социальной коммуникации» в результате чего «Укоренившиеся в массовом сознании нормообразы живут самостоятельной жизнью как «след» прошлого отражения... даже тогда, когда материальные условия, породившие их, уже переменились или вовсе исчезли»<sup>4</sup>.

Примечателен тот факт, что дальнейший анализ социальных норм В. Д. Плахов осуществляет через толкование нормы как кибернетической модели, как элемента кибернетической системы,

---

<sup>1</sup> Липатов Э. Г. Указ. соч. С. 11.

<sup>2</sup> Теория государства и права: учебник / отв. ред. Н. И. Грачев. Волгоград: Волгоградский гуманитарный институт; М.: Зерцало-М», 2018. С. 437.

<sup>3</sup> Липатов Э. Г. Указ. соч. С. 25.

<sup>4</sup> Плахов В. Д. Указ. соч. С. 18–19.

т. е. в управленческом контексте. Представляется, что это совершенно правильный подход, хотя вполне можно согласиться с тем, что управленческое толкование правового регулирования незаслуженно предано забвению. В данной связи думается, что в управленческом контексте идеи В. Д. Плахова можно переформулировать несколько точнее.

В частности, вполне очевиден тот факт, что любая деятельность является целеориентированной. Цель можно интерпретировать как желаемое (соответствующим субъектом целеполагания) изменение параметров функционирования любого процесса, притом что весь универсум – именно как совокупность процессов (медленное и / или циклическое изменение параметров которых обычно принято называть «состояние»). Цель всегда является субъективной, так как субъективен выбор и параметра, который описан целью, и статус параметра (контрольный, управляемый, свободный), и выбор меры его измерения и изменения.

Введение терминов «контрольный параметр» (КП), «управляемый параметр» (УП), «свободный параметр» (СП), помимо термина «цель», обусловлено тем, что данные термины характеризуют процессы, которые информационно-алгоритмически связаны между собой и учет данного обстоятельства обязателен для адекватного анализа цели. Адекватный анализ цели позволяет различать (а) иерархию целей, (б) этапы достижения цели, (в) средства и методы достижения цели (в том числе на разных этапах).

Сам изменяемый процесс (как фрагмент объективной реальности, например, в социальной сфере) можно интерпретировать как предмет соответствующей деятельности, т. е. любая деятельность направлена на изменение соответствующих параметров неких процессов, хотя при этом значимым может представляться материальный либо информационно-алгоритмический аспект функционирования данного процесса. Иными словами, целеориентированность любой социальной деятельности делает ее предметной. Вместе с тем следует учитывать различие между:

1) целями декларируемыми (но не поставленными реально, что особенно часто проявляется в публичном дискурсе), реальными (но не оглашаемыми, не декларируемыми) и потенциальными (это те цели, которые объективно могли быть достигнутыми, но в силу разных причин не они не только не были достигнуты, но даже и не ставились, и не провозглашались);

2) деятельностью субъекта-управленца и деятельностью субъекта-инструмента «в руках» субъекта-управленца. Причем, например, субъект-инструмент может не осознавать реальный вектор (субъективно поставленных реальным управленцем и объективно достигаемых субъектом-инструментом) целей даже своей деятельности.

Далее, любая социальная деятельность представляет собой преемственную последовательность соответствующих операций, ведущих к достижению определенной цели, т. е. к изменению желаемых (т. е. контрольных) параметров функционирования соответствующего процесса в желаемой (субъектом управления) мере. Уровень детализации операций (условно говоря, выявление элементарного первоэлемента, «кванта деятельности») предопределяется характером управления данной деятельностью, а также характером исследования процесса соответствующего управления. Иными словами, любая социальная деятельность алгоритмична.

Итак, существуют определенные алгоритмы деятельности, которые ведут к достижению определенных целей. Как отмечалось, цель субъективна, т. е. она ставится субъектом социального управления или субъектом социальной деятельности (если это режим самоуправления). Однако алгоритмы поведения, которые ведут к субъективной цели, существуют *объективно*.

Кроме того, несмотря на то, что цель является субъективной, логическая разница между поставленной целью и достигнутым результатом является объективной. Подобная логическая разница может интерпретироваться как уровень или качество достижения цели. Но эту же логическую разницу можно истолковать точнее и назвать качеством управления (самоуправления) соответствующей целеориентированной деятельностью. Данное качество можно характеризовать, например, как оптимальное, допустимое и аварийное. Можно сказать, что в таком случае речь идет об эффективности, хотя неудобство термина «эффективность» обусловлено неоднозначностью толкования эффективности.

Следовательно, есть объективные алгоритмы поведения, которые статистически предопределены, объективно ведут к достижению целей с определенным качеством (т. е. с определенной логической разницей между желаемым и достигнутым). Данные алгоритмы (само)управления оптимального качества (т. е. с минимальными

ошибками) и можно считать «имманентной нормой» как объективной закономерностью. «Степень познания» этой нормы, т. е. то, что в итоге приводит к так называемому нормообразу, можно было бы отнести к осознанию, соответственно, тех алгоритмов, которые объективно (по т. е. по такому критерию, как объем ошибок управления) являются оптимальным, допустимым или же аварийным управлением.

Включение оценок *ante / pre legem* в такую теоретическую реконструкцию позволяет говорить о том, что цель как совокупность контрольных параметров функционирования определенного социального процесса – это есть нечто желаемое / желательное для соответствующего субъекта. Данную желаемость / желательность вполне можно оценивать как аксиологическую оценку *ante / pre legem*. Такая желаемость / желательность вполне соответствует положению аксиологической логики о субъективном характере данных (аксиологических) оценок. Это *ante / pre legem* оценка контрольного параметра. Но подобный параметр достижим как результат соответствующей деятельности. В таком случае эту деятельность можно интерпретировать как управляемый параметр, воздействие на который изменяет значение контрольного параметра. Управляемые параметры характеризуют состояние объекта управления (УПО), социальной среды (УПС) и собственно управляющего воздействия (УПВ). Изменение значений непосредственно управляемых параметров и может быть названо управлением. Например, если контрольным параметром является изменение траектории движения самолета, то управляемым параметром будет (например) – поворот штурвала.

Если же вести речь о социальном управлении как об управлении сознательно-волевым поведением людей, то управляемым параметром будет являться сознание (а через него и воля, поскольку она всегда проявляется с уровня сознания) человека. Определенное «состояние сознания и воли» (хотя точнее говорить не о характеристиках состояния, а о характеристиках процессов обработки (в том числе и преобразования) информации в сознании) и будет более или менее статистически вероятно породить соответствующее поведение. Таким образом, то, что было названо УПО, УПС, УПВ, в социально-управленческом контексте можно охарактеризовать, как например:

– определенное состояние сознания и воли человека-объекта управления;

– определенное состояние сознания и воли человека, который сам не является объектом управления, но составляет собой среду

управления, влияя на которую можно влиять на состояние сознания и воли объекта управления (косвенное влияние на объект управления). Разумеется, речь может идти и об элементах множества людей, составляющих объект управления и социальную среду управления. При этом можно выделить группу средств управления, т. е. средств, с помощью которых субъект управления повышает вероятность изменения значений УП.

Поскольку контрольный и управляемый параметры информационно-алгоритмически связаны между собой (причем не только объективно, т. е. реально, но и субъективно-управленчески, т. е. в представлении управленца), постольку информационно-алгоритмически связаны и желаемость / желательность, т. е. информационно-алгоритмически связаны оценки данных параметров. Иными словами, информационно-алгоритмически связаны *ante / pre legem* оценки контрольных и управляемых параметров. А поскольку существуют средства, с помощью которых повышается вероятность изменения значений УП, то информационно-алгоритмически связаны *ante / pre legem* оценки как УП, так и средств изменения данных параметров. И чем больше вероятность изменения значений УП, тем выше аксиологическая ценность таких средства. Однако для краткости мы далее будем называть средства, с помощью которых повышается вероятность изменения значений УП, средствами изменения управляемых параметров (СИУП).

Ценность средств изменения управляемых параметров может быть названа инструментальной. Соответственно, в норму права соединяются *pre legem* оценки контрольных параметров и средства изменения управляемых параметров (средства управляющего воздействия), т. е. норма права (понимаемая как правовые запреты / обязанности) – это, по сути, семантический симбиоз *pre legem* оценок контрольного параметра и позволяющего достигнуть его (как минимум повышающим вероятность его достижения *с точки зрения субъекта оценки*) средства управляющего воздействия. Как видно, поскольку речь идет не только об объективной, но и о субъективно-управленческой связи контрольных и управляемых параметров, а также о выборе средств изменения управляемых параметров (вкуче с осознанием управленцем степени вероятности таких изменений, т. е. в некотором смысле – с эффективностью осознания управленцем данных средств), это делает возможным ошибки управления, которые

можно назвать, например, снижением / утратой эффективности правового регулирования.

Приведем пример. Некоторый субъект (С, например, «Суверен») позитивно оценивает некоторое положение вещей в социальной сфере, вернее, желает протекания социальных процессов в соответствии с определенным значением контрольных параметров (КП, например, «казна пополняется»). Однако если говорить точнее, то казну пополняют подданные своими платежами, что и следует описывать как контрольный параметр (КП). УП связан с КП и объективно, и субъективно-управленчески. Исходя из того, что УП в данном случае – это сознание (и воля) подданных, то значимыми становятся средства воздействия на сознание и волю подданных. Выбор таких средств (например, правового предписания или же учения о сакральности уплаты податей, учения о том, что надо подчиняться всякой власти, ибо «всякая власть от бога» и т. п.) и будет наиболее ярко отражать субъективно-управленческую связь КП и УП. Качество управления при этом будет предопределено соответствием между, с одной стороны, объективностью связи КП, УП и СИУП и, с другой стороны, представлениями субъекта управления об этой связи. Если средством изменения управляемого параметра выбрано наказание за неуплату податей, то такое наказание можно выразить как *pre legem* СИУП.

Иными словами, контрольный параметр (КП) – это уплата налогов. Если описать это, то мы получим дескриптивную формулировку «S есть P». Оценка *pre legem* будет выражена как (модальное) оценочное высказывание – «хорошо, когда платят налоги (M(S есть P))», т. е. как записать – как *pre legem* КП или как *pre legem* (S есть P). Средство воздействия на управляемый параметр – наказание тех, кто не платит налоги, что в управленческом контексте переводимо в высказывание: «не уплативших налоги наказывают» (символически запишем как S1 есть P1). С субъективно-управленческой точки зрения (с точки зрения управленца) это будет статистически вероятно побуждать статистически значимое (т. е. соответствующее удовлетворительной мере ошибки управления) количество людей к уплате налогов. Следовательно, данному фактору также приписывается позитивно ценностное значение – «хорошо, когда наказывают того, кто не платит налоги (M(S1 есть P1))», что можно символически записать как *pre legem* СИУП или как *pre legem* (S1 есть P1).

Говоря о содержательной характеристике масштабности социальных оценок, можно назвать, например, то, что все потребности человека имеют филогинические корни в потребностях животных<sup>1</sup>. Поэтому, несмотря на «итоговую уникальность» каждого человека, существенное сходство чувственного восприятия мира подавляющего большинства людей генетически запрограммировано («человек – мера всех вещей»). В совокупности с общностью социальной среды и определенной общностью базовых мировоззренческих установок, трансформирующих потребности в интересы, это приводит к тому, что люди, достигающие схожие цели в схожих социальных условиях, действуют алгоритмически схожим образом. Оценки целей и алгоритмов их достижения, проходя «...массовое тиражирование, транспортиацию по информационным каналам связи в процессах социальной коммуникации»<sup>2</sup>, приобретают свойство типичности. Однако, будучи типичными, массовыми, *ante / pre legem* оценки контрольных и управляемых параметров (а значит, и управляющего воздействия) остаются субъективными, что вполне соответствует положениям аксиологической логики.

Итак, поскольку типичность, массовость лежит в основе нормы («Нормативной переработке подлежат, как правило, массовые ряды социальных явлений...»<sup>3</sup>), постольку можно отметить, что оценками *pre legem* (если их разделяет, т. е. воспринимает законодатель) в целом ряде случаев становятся те из оценок *ante legem*, которые имеют значительную субъектную масштабность. Широкий масштаб оценки можно рассматривать как предпосылку того, что принято называть «всеобщность нормы». Своеобразное преобразование оценок *ante legem* в оценки *pre legem* являет собой то, что иногда (не очень удачно) и называют «слиянием потоков нормативности»<sup>4</sup>.

Далее, вспомним три обстоятельства. Во-первых, семантический симбиоз оценок *pre legem* порождает именно правовое *предписание* общего характера, т. е. норму права.

Во-вторых, права человека (сами по себе) к таким предписаниям *не* относятся, хотя могут рассматриваться как дублирующий и / или косвенный экспонент подобного предписания.

---

<sup>1</sup> См.: Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. С. 26.

<sup>2</sup> Плахов В. Д. Указ. соч. С. 19.

<sup>3</sup> Липатов Э. Г. Указ. соч. С. 11.

<sup>4</sup> Там же. С. 25.

В-третьих, то, что принято описывать как содержание так называемых правомочий, составляющих как субъективное право, так и право человека (обладание неким благом, некое поведение и притязание на некое поведение со стороны третьих лиц) в рамках логики человеческого взаимодействия в большей или меньшей мере связано с поведением адресатов норм-семантических симбиозов оценок *pre legem*. Для удобства можно присвоить буквенные индексы пяти видам данных правомочий:

А) «правомочие» обладать неким благом;

Б) «правомочие» на некое собственное поведение;

В) притязание на воздержание третьими лицами от определенного поведения (препятствующего осуществлению «правомочий, указанных в пп. А, Б);

Г) притязание на совершение со стороны третьих лиц определенного поведения;

Д) притязание на деятельность правоприменителя по обеспечению совершения и / или воздержания от такого поведения в рамках определенной модели социального взаимодействия.

Соединение трех этих обстоятельств в совокупности с различением контрольных и управляемых параметров, являющихся предметом оценок *ante / pre legem*, позволяет утверждать, что *pre legem* оценки контрольных параметров (КП) – это именно те социально-правовые оценки, которые и выражаются так называемыми правомочиями, составляющими права человека. Причем это параметры КП(А), КП(Б), КП(В) и КП(Г), но это не может быть параметр КП(Д), поскольку речь бы уже шла об управляемом параметре и средствах воздействия на него. В таком случае обязанность платить налоги допустимо записать как *pre legem* КП(Г) + *pre legem* СИУП, где *pre legem* КП(Г) можно было бы выразить также посредством права / правомочия собирать налоги.

Приняв это во внимание, заметим, что в контексте анализа природы субъективных прав оценки *ante / pre legem* следует рассматривать не только как «строительный материал» для юридических обязанностей и запретов, которые далее будут выражены через субъективные права, выступающие дублирующим или косвенным экспонентом данных предписаний. Речь также можно вести и о собственной, пусть и непредписывающей регулятивной природе подобных оценок,

т. е. о том, что оценки *ante legem* контрольных параметров (КП, точнее, КП(А), КП(Б), КП(В), КП(Г)) также могут иметь регулятивные свойства, хотя это не будут предписывающие свойства.

Если мы говорим о *правовом* контексте исследования, то речь будет идти о правовом предписании и правовом регулировании, т. е. о том, что рассматриваемые оценки *no определению* (раз уж эти оценки названы *ante legem*, а не просто, например, *ante normam*) находятся в сфере «действия права» и, соответственно, их регулятивные свойства в определенной мере подобны регулятивным свойствам правовых предписаний, хотя ими и не являются. В данной связи можно сказать и так: из всего множества социальных оценок *ante normam* можно выделить подмножество оценок *ante legem* на том основании, что последние находятся в так называемой сфере действия права. Если мы далее говорим о том, что эти оценки разделяются (в смысле – воспринимаются) субъектом правотворчества, то мы будем вести речь уже об оценках *pre legem* лишь на том основании, что их семантический симбиоз порождает норму права. Но это, условно говоря, «простая ситуация».

О «сложной ситуации» можно говорить тогда, когда субъект правотворчества по каким-то причинам не воспринял эти оценки *ante legem* и не издал норму права. Сложность заключается в поиске оснований говорить об оценках *ante legem*, а не просто, например, об оценках *ante normam*. Попробуем найти такое основание в следующей формулировке: оценки *ante legem* имеют юридическую природу. В таком случае можно сказать и так: субъект правотворчества в некоторых случаях не формирует из оценок *ante legem* нормы права (что и превращает данные оценки в оценки *pre legem*), хотя должен это делать. Однако, исходя из того, что долженствование задается предписанием, возникает вопрос: должен в соответствии с каким предписанием?

Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание на иную проблематику, сопряженную с рассматриваемой. В частности, можно отметить такую давнюю проблематику, как пробелы в праве. Прежде всего, следует подчеркнуть, что проблематично само описание пробела, поскольку давней традицией считают иносказательность и (или) неопределенность таких описаний. Например, к иносказаниям можно отнести характеристику пробела через указание на отсутствие

тех норм, которые должны присутствовать<sup>1</sup> (нормы не могут быть должны), через указание на общественные отношения, требующие правового регулирования<sup>2</sup> (отношения не могут требовать) и т. д.

Описание пробела в терминах необходимости (отсутствует норма, которая необходима<sup>3</sup>) требует уточнения. Дело в том, что высказывание «отсутствует правовая норма, существование которой необходимо» в силу взаимной определенности алетических и темпоральных модальных характеристик («необходимо то, что было, есть и будет») эквивалентно высказыванию «отсутствует норма, которая существует (необходима)». В такой формулировке абсурдность (внутренняя противоречивость) вполне очевидна.

В данной связи более точным представляется рассмотрение пробельности права через схему «аксиологической необходимости», которая обычно применяется в рамках практического силлогизма, формулирование которого восходит еще к Аристотелю и используется при рассмотрении проблемы понимания поведения. В рамках этого силлогизма производится, в частности, следующее построение (на примере нашего рассуждения):

Позитивно ценно (П).

Норма (Н) есть причина (П).

Следовательно, позитивно ценна норма (Н).

В данном случае «позитивно ценна» и означает «аксиологически необходима». Однако наделение нормы статусом причины для некоторого поведения уместно, если и только если мы вслед за Лейбницем будем придерживаться «старого модализма» (т. е. признаем транзитивность деонтических и алетических модальностей), для чего в схемах транзитивности установим особые константы *vir bonus* – нравственно идеального или просто доброго человека (как адресата предписания)<sup>4</sup>.

Такая константа позволяла положительно решать вопрос о статистически приемлемой однозначности предопределенности отклика

---

<sup>1</sup> См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. М.: Юрид. лит., 1974. С. 9.

<sup>2</sup> См.: Братусь С. Н., Венгеров А. Б. Понятие, содержание и формы судебной практики // Судебная практика в советской правовой системе. М.: Юрид. лит., 1975. С. 44.

<sup>3</sup> См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. С. 37.

<sup>4</sup> Глинчикова А. В. «Деонтика» Эрнста Малли и становление логики норм в середине XX века. С. 34.

сознания (человека *vir bonus*) на соответствующее информационное воздействие (нормы-предписания), т. е. подобная константа фактически наделяет предписание характером причины, а нормативно соответствующее поведение – характером следствия. Иными словами, если есть какая-либо норма, то она неизбежно порождает свою реализацию. Однако такой подход вряд ли можно считать приемлемым, поскольку допущение, что все люди нравственно идеальны или даже просто добры, не соответствует реальным параметрам протекания реальных социальных процессов.

Поэтому более точным представляется описание пробельности права не через аксиологическую необходимость, а через аксиологическую оценку. Итак, некоторый субъект (С) позитивно оценивает некоторое положение вещей в социальной сфере, точнее, желает протекания социальных процессов в соответствии с определенным значением контрольных параметров (КП). Например, таким параметром будет некое поведение П (со стороны третьих лиц). Это поведение информационно-алгоритмически связано с сознанием соответствующего лица (УП). При этом субъект (С) полагает, что некая правовая норм (ПН) была бы средством изменения УП, а значит – фактором (или одним из факторов), повышающим вероятность совершения поведения П. Иными словами, субъект (С) позитивно ценно оценивает параметры (КП) и, следовательно, приписывает значение «позитивно ценно» правовой норме как СИУП.

Если истолковать позитивное ценное в терминах желательности, то можно сказать и так: субъект (С), желая достигнуть КП, считает желательным наличие нормы ПН, генерирующей поведение П. В таком случае пробел можно охарактеризовать как отсутствие желаемой нормы. Но в данной связи для юридической науки, основанной на постулатах о том, что законодатель не формирует, но лишь формулирует право<sup>1</sup> и, соответственно, на идеях о том, что «при издании очередного нормативного акта правотворец озабочен, в первую очередь, необходимостью урегулировать актуализированные в общественной практике общественные отношения»<sup>2</sup>, о том, что система права имеет (в отличие от системы законодательства) объек-

---

<sup>1</sup> Маркс К. Проект закона о разводе. С. 162.

<sup>2</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 13.

тивный характер<sup>1</sup> и т. п., может возникать не очень удобный вопрос: наличие этой нормы права желаемо кем именно? «Неудобство» такого вопроса обусловлено тем, что ответ на него позволяет указывать на огромную долю реального и неизбежного управленческого субъективизма в правовом регулировании и праве вообще.

Самый простой и очевидный (хотя и не исчерпывающий) ответ на этот вопрос: пробел – это отсутствие нормы, желаемой тем субъектом, который делает вывод о пробельности права. Следует учесть, что подобный вывод фактически предопределен указанием на то, что пробел в праве следует отличать от так называемого квалифицированного молчания законодателя, поскольку данное высказывание в качестве аналитической («само собой разумеющейся») предпосылки предполагает мысль о том, что одну и ту же ситуацию в юридической деятельности разные субъекты могут по-разному оценивать. То, что один субъект считает пробелом, другой относит к квалифицированному молчанию, умышленному (преднамеренному, мнимому, квалифицированному и т. п.) пробелу.

Именно поэтому в научной литературе подчеркивается нетривиальность проблематики нахождения границ между квалифицированным молчанием законодателя и пробелами в праве. В. М. Баранов, рассматривая вопрос о том, как отграничить пробел от квалифицированного молчания законодателя, указывает на его остроту и для практиков, и для теоретиков: «Возникает резонный вопрос – как правоприменителю и обучаемому достоверно определить: считает или не считает законодатель необходимым регламентировать определенный фрагмент деятельности?»<sup>2</sup>. Особо примечательно при этом то, что В. М. Баранов, с одной стороны, называет масштабы пробельности права существенно преувеличенными, поскольку зачастую ученые-правоведы не отличают квалифицированное молчание законодателя от пробела в праве<sup>3</sup>. С другой же стороны, В. М. Баранов подчеркивает, что ни один ученый-правовед, ни один даже самый

---

<sup>1</sup> См.: Теория государства и права: учебник / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. С. 636.

<sup>2</sup> Баранов В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве) // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 75.

<sup>3</sup> Там же.

опытный практик не может «додумывать» за законодателя и решать – следовало или не следовало ему издавать соответствующую норму права<sup>1</sup>.

Иными словами, идентификацию пробела в праве весьма проблематично отрывать от субъекта, осуществляющего эту идентификацию, т. е. весьма проблематично утверждать – пробел в праве объективно существует (например, как закон всемирного тяготения) и осталось только выявить его (найти «соответствующего Ньютона», который его сформулирует). Неслучайно наиболее радикальной формой выражения субъективизма в проблематике пробельности права является давняя идея о том, что объективно пробелов в праве вообще не существует<sup>2</sup>. Есть лишь пробелы в наших знаниях о праве, т. е. пробел обнаруживается не в праве, а в ищущем право (К. Бергбом).

В данной связи хорошо видно, что теоретическая реконструкция ситуации с пробелами в праве, независимо от того, считаем ли мы их реальным явлением или иллюзией (так называемый пробел в правосознании), довольно успешно осуществляется с помощью оценок *ante legem*. Такая унификация языка описания позволяет более четко выявить тот камень преткновения, который делит ученых на сторонников и противников реальности пробелов в праве. Кроме того, включение тематики пробелов в праве в анализ оценок *ante / pre legem* позволяет более точно описать сами эти оценки, используя такое свойство *любой* теории, как ее полнота и непротиворечивость, основанные на системности научных знаний.

Итак, некий субъект (например, правоприменитель) в ходе осуществления своей деятельности оценивает определенный параметр (КП) функционирования социального процесса (например, бытия некоего социума) как позитивно ценный. Таким параметром будет, например, некое поведение. Можно ввести удлиняющее алгоритм уточнение – оценивает *отсутствие* параметра КП (отклонение от параметра) как негативно ценное, т. е. все равно оценивает его *наличие* как позитивно ценное. Говоря коротко, это и есть позитивная *ante legem* оценка КП.

---

<sup>1</sup> Баранов В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве) // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 76.

<sup>2</sup> См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: учеб. пособие: в 2 т. Т. 2. М.: Юрид. колледж МГУ, 1995.

Осознавая (более или менее верно) достижимость КП через побуждение соответствующих субъектов к соответствующему поведению (КП) с помощью нормы права (пусть даже как *одного из* факторов, повышающих вероятность совершения этого поведения), субъект (идентифицирующий наличие пробела) дает позитивную *ante legem* оценку наличию такой нормы (т. е. негативную оценку отсутствию *такой* нормы). Вопрос об объективности пробелов в праве трансформируется при этом в вопросы: 1) о масштабности числа субъектов оценок; 2) мере осознания данными субъектами того, насколько реально норма Н повышает статистическую вероятность КП, т. е., по сути, реально ли, объективно ли норма ПН является средством изменения управляемого параметра (СИУП), информационно-алгоритмически связанным с КП.

Между тем именно масштабность числа субъектов оценок (п. 1) выражает идею той самой непредписывающей нормативности, которую принято закладывать в основу права, говоря о том, что «При издании очередного нормативного акта правотворец озабочен, в первую очередь, необходимостью урегулировать актуализированные в общественной практике общественные отношения»<sup>1</sup>, или о том, что право – это «слияние двух потоков нормативности»<sup>2</sup>. Соответственно, именно масштабность числа субъектов оценок (п. 1) и можно считать *одной из* составляющих юридической природы оценок *ante legem*.

Говоря о проблеме соотношения субъективизма оценок *ante legem* и их юридической природы, хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что субъективизм в идентификацию пробела не столько вносится приведенной моделью теоретической реконструкции, сколько формализуется более явно и более точно, нежели это обычно принято, по крайней мере, в отечественной юридической науке. На само же фактическое присутствие субъективизма в описании пробельности права указывают не только приводимые сложности разграничения «реальных» и «мнимых» пробелов, но и, например, особенности критики В. М. Барановым идеи о том, что в советский период были пробелы в праве в сфере обжалования действий

---

<sup>1</sup> Вопленко Н. Н. Понятие системы права. С. 13.

<sup>2</sup> Липатов Э. Г. Указ. соч. С. 25.

должностных лиц и возмещения государством вреда, причиненного их имуществу преступными деяниями. В частности, В. М. Баранов указывает, что политический режим того времени *не желал* того, чтобы имело место соответствующее поведение<sup>1</sup>.

Если, критикуя приведенный довод о юридической природе оценок *ante legem*, изменить аспект аргументации и говорить не о субъективизме в отношении выбора инструментария регулирования, но об объективности предмета (сферы) правового регулирования, на чем обычно и основаны многочисленные суждения об объективности системы права, то весьма уместно привести совершенно правильное высказывание В. М. Баранова: «Нельзя упускать из виду принципиального плана факт – сферу правового регулирования «очерчивает» государство и именно ему решать: что и как «внутри» этой сферы регламентировать»<sup>2</sup>.

В управленческом контексте точнее было сказать так: руководство страны либо не включало определенные параметры функционирования общества в список целей управления, либо включало, но рассматривало в качестве средств изменения управляемых параметров не те, которые мыслятся таковыми со стороны критиков соответствующего периода власти. Именно поэтому необходимо подчеркнуть: УП и СИУП связаны с КП не только и не всегда объективно, но *всегда* субъективно-управленчески. В таком случае пробел в праве – это интерпретация социальной ситуации с позиции того или иного целеполагания, предопределяющего концепцию управления, т. е. и правовое регулирование в том числе. Связь целеполагания с правовым регулированием ярко просматривается *в данном случае* через оценки *ante legem*.

Соответственно, устранение пробела – это перевод оценок *ante legem* (КП, УП, СИУП) в семантический симбиоз (*pre legem* КП + *pre legem* СИУП), являющийся правовой нормой. Но это – предпри-

---

<sup>1</sup> См.: Баранов В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве) // Пробелы в российском законодательстве: юридический журнал. 2008. № 1. С. 75–79.

<sup>2</sup> Там же. С. 77.

сывающее правовое регулирование. Непредписывающее правовое регулирование здесь будет проявляться через оценки *ante legem* так:

1) идентификация пробела (интерпретация социальной ситуации с позиции того или иного целеполагания, когда цель можно формализовать как модальную аксиологическую оценку некоторого положения вещей (формализованного в стандартной субъектно-предикатной форме), т. е. «М (S есть P)», что в нашем случае *ante legem* КП. Исходя из логики человеческого взаимодействия, субъективно-управленчески устанавливается (как минимум – мыслится) связь между КП и УП, а также УП и СИУП, т. е. мы получаем *ante legem* (КП, УП, СИУП). Подобная идентификация пробела может интерпретироваться и как проявление права человека, особенно в тех теоретических моделях, где речь идет об их естественно-правовой природе, т. е. о том, что данные права существуют даже тогда, когда они не объективированы в законодательстве. Вместе с тем следует учесть, что состав ценностей *ante legem* (КП, УП, СИУП) может в предмете оценки не соответствовать «реестру» прав человека, *признаваемому в определенной (реально господствующей) политико-правовой идеологии*. Иными словами, хотя в данном случае оценки *ante legem* (КП, УП, СИУП) вполне соответствуют правам человека *в семантическом* аспекте анализа, они не могут не признаваться правами человека в прагматическом аспекте анализа;

2) преодоление пробела заключается в совмещении интерпретации социальной ситуации *ante legem* (КП, УП, СИУП) с интерпретацией нормы права, которая, будучи деонтической модальностью М(S есть P), рожденной семантическим симбиозом аксиологических оценок, будет выглядеть как *pre legem* КП + *pre legem* СИУП. По сути дела, это расширительное толкование предметов оценок (КПА, КПБ, КПВ, КПГ, СИУП), что *при определенных уточнениях* будет соответствовать так называемой аналогии права или закона, т. е. фактически сближаться с «расширительным толкованием» нормы права.

Если учесть тот факт, что оценки лежат в основе любых социальных норм, то думается, что именно подобную ситуацию (совмещение интерпретаций предметов оценок) описывает в нескольких иных терминах В. М. Баранов, когда говорит о решении юридического

дела «„на стыке“ с нормами морали, обычаями, корпоративными и даже религиозными нормами»<sup>1</sup>.

Заметим также, что при таком подходе особенно заметна связь между оценками *ante legem*, не трансформировавшимися в правовую норму, и «несовершенными субъективными правами» (imperfect rights), а также «договорами, лишенными исковой защиты» (unenforceable contracts), хотя интерес к данной проблематике скорее присущ зарубежной, нежели отечественной юридической науке. Думается, что в отечественной юридической науке подобная проблематика рассматривается под именем «законный интерес», т. е. оценки *ante legem*, не сложившиеся в семантическом симбиозе в нормы права, могут проявить себя как так называемые законные интересы.

Следует учесть, однако, что проблематика законных интересов имеет характерную особенность. С одной стороны, в законодательных текстах (правовом экспоненте) данная формулировка встречается довольно часто. Например, по подсчетам В. В. Субочева, в российских нормативно-правовых актах этот термин встречается более 700 раз<sup>2</sup>. С другой стороны, несмотря на то что проблемы законного интереса привлекали внимание и дореволюционных ученых (Ю. С. Гамбаров, Н. М. Коркунов, А. А. Рождественский, Е. Н. Трубецкой и др. ученые), и ученых советского периода (С. С. Алексеев, Н. В. Витрук, Р. Е. Гукасян, Н. С. Малейн, А. В. Малько, Г. В. Мальцев, Н. И. Матузов, В. В. Степанян, Н. А. Шайкенов, А. И. Экимов и др.), можно проследить диаметрально противоположные суждения об идентифицирующих признаках законных интересов. Данное обстоятельство дает основание некоторым ученым утверждать, что «в основном, исследования законного интереса сводятся к тому, что ничего не ясно, нет никакой определенности, подождем, что скажет законодатель...»<sup>3</sup>.

Кроме того, разумеется, в данном случае речь может идти также о толковании оценок *ante legem*, не сложившихся в семантическом

---

<sup>1</sup> Баранов В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве). С. 78.

<sup>2</sup> См.: Субочев В. В. Теория законных интересов: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. Тамбов, 2009. 57 с.

<sup>3</sup> Мызников А. А. Правовые категории «субъективное право» и «законные интересы» в современной теории государства и права // Общество и право. 2006. № 3 (13). С. 29.

симбиозе в нормы права как прав человека в тех теоретических моделях, где речь идет об их естественно-правовой природе, т. е. о том, что такие права существуют даже тогда, когда они не объективированы в законодательстве. Но это касается семантического аспекта анализа прав человека как оценок *ante legem* (КП, УП, СИУП). И, конечно же, следует учесть, что есть прагматический аспект анализа прав человека, когда состав ценностей *ante legem* (КП, УП, СИУП) может в предмете оценки не соответствовать «реестру» прав человека, *признаваемому в определенной (реально господствующей) политико-правовой идеологии*;

3) учитывая тот факт, что управление – это процесс информационного обмена, а культура – это совокупность всей генетически ненаследуемой информации, то можно говорить о «тиражировании» оценок *ante legem* (КП, УП) в ходе «транспортировки по информационным каналам связи в процессах социальной коммуникации»<sup>1</sup> и об их общекультурном влиянии на субъектов любой юридической деятельности. В таком случае можно говорить не только об оценках УПВ, но и об оценках УПС, если, конечно, есть соответствующий субъект, осознающий управленческий потенциал воздействия на субъект управления через среду и способный дать такую оценку.

Вместе с тем массовость оценки *ante legem* (КП, УП, СИУП) – это не единственный признак, позволяющий относить данные оценки к правовой сфере. Учитывая тот факт, что кроме регулятивной статической существует также регулятивная динамическая функция права, следует признать, что массовость не является не только достаточным, но также и необходимым условием отнесения *ante legem* (КП, УП, СИУП) к правовой сфере. Это лишь одно из возможных условий такого отнесения.

Как можно заметить, массовость оценки обусловлена повторяемостью (стереотипностью) отношений и стереотипностью преобразований информационных модулей, составляющих информационную базу субъекта (субъекта оценки), моделирующего на этой основе не только свое поведение и поведение субъектов-«контрагентов», но также и поведение иных субъектов, составляющих *социальную среду*, с которой *неизбежно* взаимодействует и он, и субъекты-«контрагенты. Иными словами, управляемые параметры

---

<sup>1</sup> Плахов В. Д. Указ. соч. С. 18–19.

характеризуют не только объект управления и непосредственное управленческое воздействие, но и социальную среду, *по которой также* проходят прямые (от субъекта управления к объекту) и обратные (от объекта управления к субъекту) связи, и что обычно должным образом не учитывается в различных теориях управления. Информационный обмен через социальную среду может рассматриваться как косвенное, опосредованное управленческое воздействие, значимость и эффективность которого часто недооценивается.

Если учесть, что среда, в которой взаимодействуют два субъекта, может оцениваться некой условной третьей стороной как *объект* управления (т. е. формирование определенных качеств этой среды для этого субъекта есть КП + УП), то видно, что эти два субъекта не распознают воздействие на среду как на управленческий процесс. В таком случае определенное состояние среды они могут рассматривать не как результат управленческого воздействия, а, например, как обстоятельства, «сложившиеся сами собой». Иначе говоря, упомянутые повторяемость (стереотипность) отношений и стереотипность преобразований информационных модулей, составляющих информационную базу субъекта, моделирующего на этой основе не только свое поведение и поведение субъектов-«контрагентов», но и сопряженное поведение субъектов оказываются *предопределенными* некоторыми обстоятельствами.

Далеко не всегда при этом правильно принимать в качестве допущения идею о том, что эти обстоятельства сложились сами собой, поскольку реальность обычно состоит в том, что подобные обстоятельства являются следствием определенной управленческой деятельности, пусть даже не вполне заметной для многих людей. Необходимо особо отметить, что незаметность для многих вовсе не тождественна значимости для многих, т. е. некое управляющее воздействие, не идентифицируемое многими как таковое, вполне может оказывать фундаментальное, определяющее влияние на жизнь значительного числа членов общества. В данной связи можно также вести речь об определенном аспекте массовости, позволяющем включать оценки *ante legem* в правовую сферу. Этот аспект можно, в отличие от ранее рассмотренной массовости, условно считать неосознаваемой массовостью, т. е. оценка *ante legem*, имеющая узкий субъектный состав, может при соответствующих обстоятельствах генерировать

поведение, имеющее весьма масштабный социальный эффект, порождающее последствия, которые затрагивают огромные массы людей. По сути, неосознаваемая массовость – это неосознаваемая значимость для масс, т. е. значимость для масс, неосознаваемая этими массами. Однако более подробно данную проблему следует рассматривать через другую разновидность социально-правовых оценок – оценки *praeter legem* («параллельные» праву).

#### 4.4. Права человека в непредписывающем правовом регулировании: оценки *praeter legem*, *secundum legem* и *post legem*

Оценки *praeter legem* и *post legem* также выражают определенную массовость в силу не столько осознания массами, сколько в силу того, что такие оценки в управленческом аспекте относятся (в своем предмете) к процессам, которые оказывают сильное влияние на значительные массы людей. Очевидно, что такая массовость оценок вполне соответствует сложившимся в юридической науке представлениям о том, что подобные оценки и должны лежать в основании правовых норм, если уж законодатель действительно не столько формирует, сколько формулирует право. Отличие же данных оценок от оценок *pre legem* заключается в том, что оценки *ante legem* трансформировались в симбиоз оценок *pre legem* и таковыми остаются на некий условный момент их анализа. Но ведь, как известно, (позитивное) право постоянно меняется в силу разных причин. И то, что вчера было нормой права (как семантическим симбиозом оценок *pre legem*), сегодня может потерять статус нормы права, хотя социальная значимость оцениваемых параметров (теперь уже потенциальная) от этого вовсе не обязательно исчезает как раз в силу того, что законодатель не только формулирует право, но нередко именно формирует его, делая обязательными те отношения, которые вовсе не сложились, делая обязательным то, что отнюдь не является социально полезным. Так вот, оценки *pre legem*, образовавшие в семантическом симбиозе норму права, после отмены такой нормы права и приобретают статус оценок *post legem*. В определенном смысле оценки *praeter legem* – это бывшие оценки *pre legem*, т. е. мы видим следующий алгоритм преобразования информации: *ante legem* – *pre legem* – *post legem*. Например, к оценкам *post legem* можно

было бы отнести те оценки, которые лежат в основе права на труд, признававшегося *ранее* в отечественном законодательстве (например, в ст. 40 Конституции СССР 1977 г.). Подчеркнем в данной связи, что содержащееся в ст. 37 Конституции России (1993 г.) свобода труда *не* является именно *правом* на труд, поскольку (помимо своей оценочной функции) данная *свобода* отражает (как дублирующий экспонент) такое предписание, как *запрет принудительного труда*, в то время как *право* на труд есть отражение (в форме косвенного экспонента) *обязанности предоставить работу*.

Об оценках *praeter legem* можно было бы вести речь в ситуации с различными системами национального права. Иными словами, советское право на труд можно рассматривать не только как оценку *post legem* по отношению к постсоветскому (позитивному) праву, но и как оценку *praeter legem* по отношению к (позитивному) праву иных государств, где нет подобного права.

Вместе с тем может иметь место ситуация, когда оценка, имевшая ранее статус *praeter legem*, трансформируется в оценку *pre legem*, которая в семантическом симбиозе и будет нормой права.

Оценки *post legem* и *praeter legem* существуют параллельно праву в том смысле, что они имеют высокую социальную значимость. Если допускать, что отмена норм права произошла в силу того, что отмененные нормы мешали социальному прогрессу, то «вновь образованные» оценки *post legem* будут иметь негативную социальную значимость / ценность. Если же имела место ошибка законодателя и были отменены нормы, имеющие позитивную социальную значимость то «вновь образованные» оценки *post legem* будут иметь позитивную социальную значимость / ценность.

Конечно, следует учитывать, что вопрос о том, какова же значимость конкретных оценок *post legem* и *praeter legem*, может оказаться остродискуссионным как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Это вполне естественно и ни в коей мере не формирует изъянов в теоретической модели прав человека как социальных оценок. Дело в том, что любая оценка в состав своей структуры включает субъекта оценки. И именно поэтому любой предмет оценки, а в нашей модели это – контрольные параметры, управляемые параметры (объекта управления, социальной среды и собственно управляющего воздействия), средства изменения управляемых параметров – вполне могут иметь разное содержание, поскольку даются разными субъектами на основании различных критериев.

При этом оценки *post legem* и *praeter legem* имеют, условно говоря, доктринальное закрепление. Причем можно вести речь о том, что они как минимум имеют доктринальное закрепление. Если говорить о доктринальном закреплении оценок *post legem*, то речь следует вести о формализации таких оценок (в форме прав человека) в любых источниках публичного научного дискурса. Как максимум, эти оценки могут быть закреплены в международно-правовых документах в области прав человека.

В данной связи заметим, что политически значимые особенности оценок *post legem* и *praeter legem* могут быть хорошо заметны, когда речь ведется, например, о «неистинности права», «неправовых законах», об усмотрении не подчиняться требованиям права<sup>1</sup> и т. д., т. е. регулятивный потенциал таких оценок предопределяет, например, особенности толкования и реализации права. Очевидно, что в этом как раз отчетливо и проявляется регулятивный (хотя и не прескриптивный) потенциал таких оценок, поскольку в этом случае речь идет о неструктурном управлении.

Вместе с тем укажем, что статус оценок (*ante / pre / praeter legem*) не является раз и навсегда заданным, но может меняться в зависимости от изменения социальных условий.

Права человека *secundum legem*, интерпретируемые как оценки *secundum legem*, представляют собой иное явление и наиболее ярко отражают ту модель социального взаимодействия, которая отражена в предметной формулировке данным прав. Эта модель особенно хорошо известна в юриспруденции под наименованием юридического содержания правоотношения, как выражение взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей в правоотношениях. При этом оценка *secundum legem* в своей предметной сфере отражает поведение субъекта, который в описываемой модели социального взаимодействия является, образно говоря, «выгодоприобретателем» от поведения ответного / должного субъекта. В этом проявляется связь оценок *secundum legem* и *pre legem*, поскольку семантический симбиоз последних и формирует норму, предписывающую обязанность делать / не делать у ответного субъекта.

---

<sup>1</sup> См.: Kadish M. R., Kadish S. H. Discretion to Disobey. A study of Lawful Departures from legal Rules. Stanford, California, 1973.

Регулятивный *непредписывающий* потенциал права человека как оценки именно *secundum legem* выражен в том, что субъект, сформулировавший данное право (т. е. огласивший его как оценку *secundum legem*), прямо указывает на то поведение, которое с его точки зрения является желательным, поддерживаемым, поощряемым. В управленческом контексте подобное оглашение, как публичная оценка, повышает степень вероятности реализуемости соответствующего поведения и достижения соответствующего социального результата. Такой результат в управленческом контексте толкуется как минимум в качестве декларируемой цели управления и уже в силу этого повышает вероятность поведения «бенефициара», хотя, разумеется, наличие подобной цели вовсе не исключает наличия совершенно иных управленческих целей, например, обоснование военной агрессии необходимостью защиты прав человека.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Права человека определять через некую возможность, равно как и меру свободы, в семантическом аспекте анализа – неправильно. Характеризовать же права человека в качестве меры свободы в прагматическом аспекте анализа нецелесообразно в силу аналитической неопределенности термина «свобода» и его излишней политизированности.

Определять права человека через разрешения, в том числе через разрешение слабого типа, также неверно, поскольку разрешение не имеет собственной нормативно-прескриптивной природы.

Права человека допустимо описывать как отраженную обязанность, но только в случае рассмотрения соотношения права и законодательства через модель семиотического треугольника. Однако данное обстоятельство не означает отсутствия у прав человека регулятивных свойств.

Права человека имеют собственные регулятивные свойства, но только в непредписывающем правовом регулировании, как особые социально-правовые оценки различных аспектов функционирования процессов в объекте социального управления.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ\*

### 1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

2. Конституция Российской Федерации : офиц. текст : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] // Собрание законодательства РФ (1 июля 2020 г.). – № 31. – Ст. 4398.

3. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституц. закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

4. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : федер. конституц. закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

5. Лесной кодекс Российской Федерации : федер. закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

6. О банках и банковской деятельности : федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

7. Об охране атмосферного воздуха : федер. закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

8. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР : федер. закон от 29 апреля 1993 г. № 4901-1 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

---

\* Список использованной литературы оформлен на основании представленных автором библиографических сведений.

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий : федер. закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

10. О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации : федер. закон от 21 апреля 2006 г. № 59-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

11. Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

12. О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР : постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 157-ПГД // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

13. Указ исполняющего обязанности Президента Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 5. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026212&intelsearch=%F3%EA%E0%E7+%EE%F2+2+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+1993+%E3%EE%E4%E0+%B9+5+> (дата обращения: 17.12.2023).

14. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» и его Обращение Президента Российской Федерации к гражданам России 21 сентября 1993 г. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026144&intelsearch=4.%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB> (дата обращения: 18.12.2022).

15. О мерах по либерализации цен : постановление Правительства РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 55 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

16. Об утверждении Положения о Научно-консультативном совете при Верховном Суде Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 1968 г. № 45 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

17. О свободе договора и ее пределах : постановление Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

18. О соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993 года „О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации“ и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года : заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026146&intelsearch=%> (дата обращения: 17.12.2022).

19. По делу о проверке конституционности отдельных положений закона РСФСР «О государственной налоговой службе РСФСР» и законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в российской федерации» и «О федеральных органах налоговой полиции» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 11-П // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

20. По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81 закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области» в связи с запросом Челябинского областного суда : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2003 г. № 16-П // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

21. По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное объединение „Берег“», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод „Микропровод“» и «Научно-производственное предприятие „Респиратор“» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2010 г. № 1-П // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

22. По делу о проверке конституционности положений статей 6 и 7 закона Краснодарского края «Об организации транспортного

обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования в Краснодарском крае» в связи с жалобой граждан В. А. Береснева, В. А. Дудко и других : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 г. № 16-П // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

23. По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации : постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

24. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации (принят Конституционным Судом Российской Федерации в пленарном заседании 1 марта 1995 г. № 2-1/6) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

25. Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. № 2287-вс. – URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/16426/143/ru/pdf> (дата обращения: 17.12.2022).

26. Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act : Public Law № 115-44 on 2 August 2017. – H.R. 3364. – URL: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364> (access data: 27.02.2018).

27. Ealing London Borough Council v Race Relation Board (1972). – AC 342 at 360.

28. Magor and St. Mellons R. D. C. v Newport Corporation (1952). – AC 189. – URL: <https://vlex.co.uk> (access data: 27.02.2018).

29. 418 House of Lords Official Report. – (5th Series). – Col 65 (9 March 1981).

## 2. Основная литература

1. Александров, А. С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права / А. С. Александров // Проблемы юридической техники : сборник статей / под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – 823 с.

2. Алексеев, Н. Н. Основы философии права / сост.: А. П. Альбов, А. М. Величко, Д. В. Масленников, М. Б. Ревнова ; отв. ред.: Д. В. Масленников, В. П. Сальников. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та, 1998. – 216 с.

3. Алексеев, С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. – Москва : Норма, 2001. – 752 с.
4. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т. 2. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 360 с.
5. Алексеев, С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 288 с.
6. Алексеев, С. С. Структура советского права : собр. соч. в 11 т. Т. 2. Специальные вопросы правоведения / С. С. Алексеев. – Москва : Статут, 2010. – 495 с.
7. Альчуррон, К. Э., Нормативные системы / К. Э. Альчуррон, Е. В. Бульгин ; пер. с англ. М. В. Антонова; под ред. Е. В. Бульгина, Е. Н. Лисанюк // Российский ежегодник теории права. – 2010. – № 3. – Санкт-Петербург : Юридическая книга. – С. 307–470.
8. Антонов, М. В. О системности права и «системных» понятиях в правоведении / М. В. Антонов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2014. – №1 (312). – С. 24–42.
9. Антонов, М. В. Современная теория права во Франции / М. В. Антонов // Российский ежегодник теории права. 2011. – № 4. – С. 331–335.
10. Арутюнова, Н. Д. Принципы и методы семантических исследований / Н. Д. Арутюнова. – Москва : Наука. – 1976. – 377 с.
11. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. / Н. Д. Арутюнова. – Москва : Языки русской культуры, 1999. – I-XV. – 896 с.
12. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Москва : Сов. энцикл., 1966. – 607 с.
13. Байден поставил права гомосексуалистов выше национальной культуры // РИА Новости : сайт. – URL: <http://ria.ru/world/20140625/1013474842.html> (дата обращения: 27.06.2023).
14. Байтеева, М. В. Проблемы понимания права с позиций феноменологической герменевтики / М. В. Байтеева // Российский ежегодник теории права. – 2011. – № 4. – С. 147–173.
15. Байтин, М. И. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства / М. И. Байтин, Д. Е. Петров // Правоведение. – 2004. – № 4. – С. 29–40.
16. Барак, А. Судейское усмотрение / А. Барак ; пер. с англ. – Москва : Норма, 1999. – 376 с.

17. Баранов, В. М. Истинность норм советского права / В. М. Баранов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989. – 400 с.

18. Баранов, В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве / В. М. Баранов // Пробелы в российском законодательстве // Юридический журнал. – 2008. – № 1. – С. 75–79.

19. Бастрыкина, О. А. Системообразующие связи внутреннего содержания права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бастрыкина Ольга Александровна. – Коломна, 2006. – 197 с.

20. Белоусов, С. А. Законодательный дисбаланс: доктрина, теория, практика) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Белоусов Сергей Александрович. – Саратов, 2015. – 62 с.

21. Бентам, И. Введение в основания нравственности и законодательства / И. Бентам ; пер. с англ., предисл., примеч. Б. Г. Капустина. – Москва : РОССПЭН, 1998. – 416 с.

22. Бердяев, Н. А. Душа России / Н. А. Бердяев. – Ленинград : Предприятие «Сказ», 1990. – 29 с.

23. Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2000. – 256 с.

24. Блохин, Ю. В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском законодательстве : на примере нетипичных предписаний : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Блохин Юрий Владимирович. – Москва, 1991. – 26 с.

25. Бирюков, Б. В. Теория определения / Б. В. Бирюков. – Москва : Прогресс, 1976. – 246 с.

26. Борисов, Г. А. Демократия как феномен государственно-правовой жизни: проблемы становления в переходном обществе / Г. А. Борисов // Научные ведомости БелГУ. – 2008. – № 8 (48). – С. 13–22.

27. Братко, А. Г. Запреты в советском праве / А. Г. Братко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 92 с.

28. Братусь, С. Н. Понятие и содержание и формы судебной практики / С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров // Судебная практика в советской правовой системе / под ред. С. Н. Братуся. – Москва : Юрид. лит., 1975. – С. 8–74.

29. Булыгин, Е. В. К проблеме объективности права / Е. В. Булыгин // Філософія права: сучасні інтерпретації, вибрані праці : статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2010) / С. І. Максимов. – Харків: Право, 2010. – 336 с.

30. Булыгин, Е. В. Разрешающие нормы и нормативные системы / Е. В. Булыгин // Российский ежегодник теории права. – 2010. – № 3. С.437–449.

31. Быстрицкий, А. Информационная ситуация. Как новые медиа влияют на развитие демократии, политической активности и осведомленность людей о происходящих в мире событиях / А. Быстрицкий // Коммерсант : сайт. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2891261> (дата обращения: 18.01.2023).

32. Бюлер, К. Теория языка: репрезентативная функция языка / К. Бюлер ; пер. с нем., общ. ред. Т. В. Булыгиной. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 2001. – 502 с.

33. Варсегов, Н. Как тверские депутаты обирали свой народ / Н. Варсегов // Комсомольская правда. – 2007. – 18, 19 сентября.

34. Вдовиченко, Л. В. Идеологемы «Порядок» и «Order»: специфика употребления в российском и американском политическом дискурсе / Л. В. Вдовиченко // Политическая лингвистика. – 2011. – № 4. – С. 71–75.

35. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая. – Москва : Языки русской культуры, 1999. – 780 с.

36. Вильнянский, С. И. Лекции по советскому гражданскому праву / С. И. Вильнянский. – Харьков, 1958. – 339 с.

37. Виндельбанд, В. Избранное: дух и история / В. Виндельбанд ; пер. с нем.: М. И. Левина, Г. Сонин. – Москва : Юрист, 1995. – 687 с.

38. Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – Москва : Наука : Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.

39. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. – Москва : Норма, 2008. – 448 с.

40. Власенко, Н. А. Проблемы правовой неопределенности: курс лекций / Н. А. Власенко. – Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2015. – 176 с.

41. Власенко, Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании : монография / Н. А. Власенко. – Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; ИНФРА-М, 2014. – 156 с.
42. Воеводин, Л. Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие / Л. Д. Воеводин. – Москва : Изд-во МГУ: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – 304 с.
43. Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 2002. – 280 с.
44. Вопленко, Н. Н. Социалистическая законность и применение права / Н. Н. Вопленко ; под ред. М. И. Байтина. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1983. – 189 с.
45. Вопленко, Н. Н. Понятие системы права // Вестник ВолГУ. – Серия 5. – 2009. – №. 11. – С. 11–16.
46. Вопленко, Н. Н. Правосознание и правовая культура : учебное пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. – 52 с.
47. Вригт, Г. Х. фон. О логике норм и действий // Г. Х. фон Вригт Логико-философские исследования: избранные труды / пер. с англ.; общ. ред.: Г. И. Рузавина, В. А. Смирнова ; сост. и авт. предисл. В. А. Смирнов. – Москва : Прогресс, 1986. – С. 245–289.
48. Гаджиев, Г. А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности) / Г. А. Гаджиев. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 320 с.
49. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; вступ. ст. и прим. В. С. Нерсесянц ; пер. с нем.: Б. Г. Столпнер и М. И. Левина. – Москва : Мысль. 1990. – 524 с.
50. Герлох, А. Логика в правовом сознании / А. Герлох, В. Кнапп ; под ред. и со вступ. ст.: А. Б. Венгерова ; пер. с чешского. – Москва : Прогресс, 1987. – 312 с.
51. Германов, А. В. От пользования к владению и вещному праву / А. В. Германов. – Москва : Статут, 2009. – 700 с.
52. Глинчикова, А. В. «Деонтика» Эрнста Малли и становление логики норм в середине XX века : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.07 / Глинчикова Анна Владимировна. – Санкт-Петербург, 2014. – 190 с. – URL: [https://dissert.spbu.ru/dissert2/dissert/Deontika\\_Ernsta\\_Mally\\_i\\_stanovlenie\\_logiki\\_norm\\_v\\_seredine\\_XX\\_veka.pdf](https://dissert.spbu.ru/dissert2/dissert/Deontika_Ernsta_Mally_i_stanovlenie_logiki_norm_v_seredine_XX_veka.pdf) (дата обращения: 23.01.2023).

53. Глухарева, Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно-правовое регулирование) / Л. И. Глухарева. – Москва : Юристь, 2003. – 304 с.
54. Гоббс, Т. Сочинения в двух томах. Т. 2. / Т. Гоббс ; сост., ред., автор прим. В. В. Соколов ; пер. с лат. и англ.: Н. Федоров, А. Гутерман. – Москва : Мысль, 1991. – 731 с.
55. Голоскоков, Л. В. Теория сетевого права / Л. В. Голоскоков ; под ред. А. В. Малько. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2006. – 191 с.
56. Голунский, С. А. К вопросу о понятии правовой нормы / С. А. Голунский // Советское государство и право. – 1961. – № 4. – С. 21–36.
57. Горшенев, В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. – Москва : Юрид. лит., 1972. – 258 с.
58. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) = Code civil des Français (Code Napoléon) / пер. с франц. В. Н. Захватаева. Москва : Берлин : Инфотропик Медиа. 2012. – 624 с.
59. Грачев, Г. В. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия / Г. В. Грачев, И. К. Мельник. – Москва : Алгоритм, 2002. – 153 с.
60. Груздев, В. В. Вопросы соотношения правового воздействия и правового регулирования / В. В. Груздев // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2011. – № 2. – С. 297–210.
61. Гук, П. А. Судебное толкование норм права / П. А. Гук // Журнал российского права. – 2016. – № 8. – С. 72–77.
62. Гурвич, Г. Д. Философия и социология права : избр. соч. / Г. Д. Гурвич. – Санкт-Петербург : Изд-во юрид. фак-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 848 с.
63. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. А. Туманова. – Москва : Международные отношения, 1999. – 400 с.
64. Давыдова, М. Л. Нормативно-правовое предписание как начальный уровень правовой нормативности / М. Л. Давыдова // Конфликтология. – 2011. – № 4. – С. 100–108.
65. Давыдова, М. Л. Правовая норма и нормативно-правовое предписание: проблема соотношения / М. Л. Давыдова // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. – 2006. – № 3. – С. 52–57.

66. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык-Медиа, 2006. – 843 с.
67. Девкин, В. Д. Прагматика слова / В. Д. Девкин // Прагматика слова : межвуз. сб. науч. трудов МГПИ им. В. И. Ленина. – Москва, 1985. – 108 с.
68. Делез, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. – Москва : Ин-т экспериментальной социологии ; Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 288 с.
69. Джонгман, А. Д. Словарь по правам человека / А. Д. Джонгман, А. Шмид. М., 1997. – 75 с.
70. Донсбаг, В. Наука о коммуникации: стадия взросления / В. Донсбаг // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2016. – № 1. – Т. 1. – С. 172.
71. Доценко, Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е. Л. Доценко. – Москва : МГУ, 1997. – 344 с.
72. Дробязко, С. Г. Выступление на заседании круглого стола «О понимании советского права» / С. Г. Дробязко // Советское государство и право. – 1979. – № 7. – С. 56–74.
73. Дурденевский, В. Н. Субъективное право и его основное разделение / В. Н. Дурденевский // Правоведение. – 1994. – № 3. – С. 78–95.
74. Звегинцев, В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / В. А. Звегинцев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 306 с.
75. Зелинский, С. А. Манипулирование личностью и массами. Манипулятивные технологии власти при атаке на подсознание индивида и масс / С. А. Зелинский. – Санкт-Петербург : СКИФИЯ, 2008. – 240 с.
76. Зиновьев, А. А. Фактор понимания / А. А. Зиновьев. – Москва : Алгоритм : Эксмо, 2006. – 528 с.
77. Зорькин, В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.10.2023).
78. Иваненко, Г. С. Лингвистическая экспертиза в процессах по защите чести, достоинства, деловой репутации / Г. С. Иваненко. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2006. – 227 с.

79. Ивин, А. А. Логика норм / А. А. Ивин. – Москва : Изд-во МГУ, 1973. – 121 с.
80. Ивин, А. А. Логика : учебное пособие для студентов вузов / А. А. Ивин. – Москва : Оникс : Мир и Образование, 2008. – 336 с.
81. Ивин, А. А. Основания логики оценок / А. А. Ивин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 230 с.
82. Ильин, И. А. Путь к очевидности / И. А. Ильин. – Москва : Республика, 1993. – 431 с.
83. Иоффе, О. С. Вопросы теории права / О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. – 381 с.
84. Исаев, И. А. Теневая сторона закона. Иррациональное в праве : монография / И. А. Исаев. – Москва : Проспект, 2012. – 364 с.
85. Исаев, М. И. Судебная практика Пленума Верховного Суда СССР как источник советского уголовного права / М. И. Исаев // Ученые записки ВИЮН. – 1947. – Вып. 5. – С. 75–88.
86. История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – Москва : ИНФРА, 1996. – 736 с.
87. Казанцев, С. Я. Информатика и математика для юристов : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / С. Я. Казанцев, В. И. Левин, Н. М. Дубинина ; под ред. С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2008. – 560 с.
88. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 832 с.
89. Кара-Мурза, С. Г. Потерянный разум / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : Алгоритм, 2005. – 702 с.
90. Карташов, В. Н. Теория правовой системы общества : учебное пособие. В 2 т. Т. I / В. Н. Карташов ; Ярославль: ЯрГУ, 2005. – 547 с.
91. Кельзен, Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция / Г. Кельзен // Российский ежегодник теории права. – 2009. – № 2. – С. 432–453.
92. Кельзен, Г. Чистое учение о праве / Г. Кельзен ; пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лезова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Алет-Пресс, 2015. – 542 с.
93. Керимов, Д. А. Философские проблемы права / Д. А. Керимов. – Москва : Мысль, 1972. – 472 с.

94. Кечекьян, С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / С. Ф. Кечекьян ; отв. ред. М. С. Строгович. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 187 с.

95. Кислов, А. Г. Динамический подход к деонтической логике: семантика нормативных операторов / А. Г. Кислов // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2013. – Том 13. – Вып. 3. – С. 20–37.

96. Кислов, А. Г. Интенциональная семантика действий, норм и санкций // Мир человека: нормативное измерение – 3. Рациональность и легитимность : сборник трудов междунар. науч. конф. (Саратов, 13–15 июня 2013 г.). – Саратов : КУБиК, 2013. – С. 45–55.

97. Климова, М. И. Роль современных электронных технологий в укреплении представительной демократии / М. И. Климова // Вестник ВА МВД России. – 2017. – № 4. – С.

98. Кнууттила, С. Деонтическая логика в четырнадцатом столетии // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки / под ред. В. А. Смирнова. – Москва : Наука, 1984. – С. 142–156.

99. Ковалевич, О. С. К вопросу о роли позволений в логике норм и философии права / О. С. Ковалевич, Е. Н. Лисанюк // Логико-философские штудии. – 2013. – № 3. – Т. 10. – С. 135–145. 2012. Вып. 10. С. 135–145.

100. Колшанский, Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Г. В. Колшанский. – Москва : Лингвистическое наследие, 2007. – 176 с.

101. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник / С. А. Комаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 1997. – 411 с.

102. Кононов, А. А. Общенаучная концепция системы права / А. А. Кононов // Правоведение. – 2003. – № 3 (248). – С. 12–21.

103. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : учеб. пособие / сост. В. В. Маклаков. – Москва : Инфотропик Медиа, 2012. – 640 с.

104. Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов ; сост., автор вступ. ст., коммент. А. Н. Медушевский. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 520 с.

105. Королева всех цветов радуги // gazeta.ru : сайт. – URL: [https://www.gazeta.ru/politics/2013/03/11\\_a\\_5052065.shtml](https://www.gazeta.ru/politics/2013/03/11_a_5052065.shtml) (дата обращения: 06.04.2020).

106. Кравиц, В. Современное право и система права в перспективе теории коммуникации / В. Кравиц // Российский ежегодник теории права. – 2011. – № 4. – С. 168–179.

107. Крашенинников, Е. А. Структура субъективного права / Е. А. Крашенинников // Построение правового государства: вопросы теории и практики : тез. докл. обл. науч.-практ. конф., 28 нояб. 1990 г. – Ярославль : ЯрГУ, 1990. – 166 с.

108. Кудрявцев, В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.

109. Кузьмина, Е. М. Типы правового регулирования: современное измерение / Е. М. Кузьмина // Вестник Поволжского института управления. – 2013. – № 6 (39). – С. 43–48.

110. Кулапов, В. Л. Проблемы теории государства и права / В. Л. Кулапов. – Саратов : Саратов. гос. акад. права, 2009. – 426 с.

111. Кунц, Дж. Л. Введение в латиноамериканскую философию права / Дж. Л. Кунц // Российский ежегодник теории права. – 2009. – № 2. – С. 378–402.

112. Купина, Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем / Н. А. Купина // Русский язык сегодня. – 2000. – Вып. 1. – С. 182–189.

113. Кюнг, Г. Мир как нозма и как референт // Аналитическая философия: становление и развитие (антология) / Г. Кюнг ; пер. с англ., нем. – Москва : Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. – 528 с.

114. Лазарев, В. В. Прецеденты Конституционного Суда / В. В. Лазарев // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства : сб. науч. тр. – Вып. VII. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2012.

115. Лазарев, В. В. Пробелы в праве и пути их устранения / В. В. Лазарев. – Москва : Юрид. лит., 1974. – 140 с.

116. Лазарев, В. В. Сфера и пределы правового регулирования / В. В. Лазарев // Советское государство и право. – 1970. – № 11. – С. 38–44.

117. Левин, В. Г. Философский анализ природы и специфики системной детерминации : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Левин Виктор Гаврилович. – Самара, 1994. – 198 с. – URL: <http://cheloveknauka.com/filosofskiy-analiz-prirody-i-spetsifiki-sistemnoy-determinatsii-1#ixzz4YGe7CXWA> (дата обращения: 23.08.2023).

118. Лейст, О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1962. – 238 с.

119. Лейст, О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О. Э. Лейст. – Москва : МГУ, 1981. – 240 с.

120. Ленин, В. И. Полн. собр. соч. – Т. 1. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС / В. И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1967. – 697 с.

121. Лемещенко, П. С. Институциональная конкуренция как движущая сила разрушения и созидания современной экономики // Теоретическая экономика : научный электронный экономический журнал. – 2014. – № 2 (20). – С. 17–24. – URL: [https://www.ystu.ru/2\\_20\\_2014.pdf](https://www.ystu.ru/2_20_2014.pdf) (дата обращения: 21.04.2022).

122. Леушин, В. И. Логическая норма и нормативное предписание (структурный анализ) / В. И. Леушин // Российский ежегодник теории права. 2009. – № 2. – С. 605–611.

123. Лефевр, В. А. Конфликтующие структуры / В. А. Лефевр. – Москва : Советское радио, 1973. – 92 с.

124. Лившиц, Р. З. Теория права / Р. З. Лившиц. – Москва : БЕК, 1994. – 224 с.

125. Липатов, Э. Г. Нормативность правовых явлений : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : / Липатов Эдуард Георгиевич. – Саратов : Саратов. гос. акад. права, 1996. – 26 с.

126. Лисанюк, Е. Н. О нормах в «нормативных системах» / Е. Н. Лисанюк, К. Альчуррон, Е. Булыгин // Конфликтология. – 2011. – № 4. – С. 62–75.

127. Лобовиков, В. О. «Искусственный интеллект», формальная этика и морально-правовой выбор. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 188 с.

128. Лобовиков, В. О. Математическая логика естественного права и политической экономии (Математическая философия экономики и права). Ч. 1, 2. / В. О. Лобовиков. – Екатеринбург : Ин-т философии и права УрО РАН, 2005. – 657 с.

129. Лобовиков, В. О. Математическое правоведение. Ч. 1. Естественное право / В. О. Лобовиков. – Екатеринбург : Изд-во Гуманит. ун-та ; Изд-во Урал. гос. юрид. акад., 1998. – 240 с.

130. Лобовиков, В. О. Научная экспертиза логической формы доказательств в судопроизводстве или логическая подготовка юристов? / В. О. Лобовиков // Вестн. Гуманит. ун-та. Сер.: Право. – 1996. – № 1 (1). – С. 113–122.

131. Локшин, И. М. Политические режимы и качество функционирования государства: анализ взаимосвязи / И. М. Локшин // Политика. – 2011. – № 4 (63). – С. 74–92.

132. Маккарти, Т. Либеральный империализм и дилемма развития / Т. Маккарти // Логос. – 2006. – № 6. – С. 15–16.

133. Макферсон, К. Б. Жизнь и времена либеральной демократии / К. Б. Макферсон ; пер. с англ. – Москва : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 176 с.

134. Малько, А. В. Субъективные права, свободы и законные интересы личности как самостоятельные объекты судебной защиты / А. В. Малько, В. А. Терехин // Ленинградский юридический журнал. – 2010. – № 4. – С. 7–18. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/subektivnye-prava-svobody-i-zakonnye-interesy-lichnosti-kak-samostoyatelnye-obekty-sudebnoy-zaschity> (дата обращения: 15.12.2023).

135. Малько, А. В. Законные интересы как правовая категория / А. В. Малько, В. В. Субочев. – Санкт-Петербург : Юрид. центр «Пресс», 2004. – 359 с.

136. Малько, А. В. Акты Верховного Суда Российской Федерации как важнейшие средства судебной политики / А. В. Малько, Е. Г. Тутынина // Российская юстиция. – 2012. – № 12. – С. 38–40.

137. Мальцев, Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – Москва : Норма : Инфра-М, 2011– 800 с.

138. Мальцев, Г. В. Социалистическое право и свобода личности. Теоретические вопросы / Г. В. Мальцев. – Москва, 1968. – 143 с.

139. Маркс, К. Ницета философии / К. Маркс // Сочинения. Т. 4. / К. Маркс, Ф. Энгельс.– 2-е изд. – Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1955. – 638 с.

140. Маркс, К. Проект закона о разводе / К. Маркс // Сочинения. Т. 1. / К. Маркс, Ф. Энгельс.– 2-е изд. – Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1955. – 723 с.

141. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 14–15 июня 1983 г. – Москва : Изд-во полит. лит., 1983. – 79 с.
142. Матузов, Н. И. Актуальные проблемы теории права / Н. И. Матузов. – Саратов : Сарат. гос. акад. права, 2004. – 512 с.
143. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – Москва : Юристъ, 2004. – 512 с.
144. Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – 5-е изд. – Москва : ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. – 528 с.
145. Мерзликин, Р. А. Влияние морально-нравственных качеств на правоприменительное усмотрение / Р. А. Мерзликин, Д. М. Бойко // Вестник ВА МВД России. – 2017. – № 4. – С. 18–21.
146. Мерзликин, Р. А. Соотношение свободы, правовой инициативы и усмотрения / Р. А. Мерзликин, Д. М. Бойко // Вестник ВА МВД России. – 2017. – № 3. – С. 16–20.
147. Милуков, П. Н. История второй русской революции / П. Н. Милуков. – Минск : Харвест, 2002. – 752 с.
148. Михайловский, И. В. Очерки философии права / И. В. Михайловский. – Томск, 1914. – 604 с.
149. Мицкевич, А. В. Соотношение системы советского права с системой советского законодательства / А. В. Мицкевич // Ученые записки ВНИИСЗ. – Москва, 1967. – Вып. 11. – С. 3–24.
150. Монтескье, Ш. Л. Избранные произведения / Ш. Л. Монтескье. – Москва, 1955. – 800 с.
151. Монтескье, Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье. – Москва : Мысль, 1999. – 672 с.
152. Морозова, Л. А. Теория государства и права / Л. А. Морозова. – Москва : Юристъ, 2002. – 414 с.
153. Мызников, А. А. Правовые категории «субъективное право» и «законные интересы» в современной теории государства и права / А. А. Мызников // Общество и право. – 2006. – № 3 (13). – С. 28–32.
154. Нахимова, Е. А. Прецедентные онимы в современной российской массовой коммуникации: теория и методика когнитивно-дискурсивного исследования : монография / Е. А. Нахимова. – Екатеринбург, 2011. – 276 с.
155. Нерсесянц, В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы / В. С. Нерсесянц. – Москва : Юристъ, 1996. – 160 с.

156. Никитин, Е. П. Объяснение – функция науки / Е. П. Никитин. – Москва : Наука, 1970. – 280 с.
157. Нормография: теория и методология нормотворчества : науч.-методическое и учебное пособие / под ред. Ю. Г. Арзамасова. – Москва : Академический проект, 2007. – 480 с.
158. Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. – Москва : Юрист, 1994. – 348 с.
159. Общая теория советского права / под ред. С. Н. Братуся, И. С. Самощенко. – Москва : Юрид. лит., 1966. – 491 с.
160. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – Москва : А ТЕМП, 2006. – 944 с.
161. Орлов, К. А. Средства массовой информации как элемент гражданского общества / К. А. Орлов // Вестник ЮУрГУ. – 2020. – № 20. – С. 13–17.
162. Остин, Дж. Л. Три способа пролить чернила: Философские работы / Дж. Л. Остин. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 335 с.
163. Павиленис, Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка / Р. И. Павиленис. – Москва : Мысль, 1983. – 286 с.
164. Павлисова, Т. Е. Влияние английского колониального права на правовую систему Индии / Т. Е. Павлисова, Е. Н. Ломакина // Очерки новейшей камералистики. – 2017. – № 1. – С. 39–41.
165. Паттаро, Э. Реалистский подход к объективности норм и права / Э. Паттаро // Філософія права: сучасні інтерпретації, вибрані праці : статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2010) / С. І. Максимов. – Харків: Право, 2010. – 336 с.
166. Пашуканис, Е. Общая теория права и марксизм / Е. Пашуканис. – 3-е изд. – Москва, 1929. – 136 с.
167. Перельман, Х. Справедливость / Х. Перельман // Российский ежегодник теории права. – 2011. – № 4. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 607–657.
168. Закон: создание и толкование / под ред. А. С. Пиголкина. – Москва : Спарк, 1998. – 283 с.
169. Плахов, В. Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории / В. Д. Плахов. – Москва : Мысль, 1985. – 255 с.

170. О свободе договора и ее пределах : постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 20.12.2023).

171. Плеханов, Г. В. К вопросу о роли личности в истории / Г. В. Плеханов // Избранные философские произведения. В 5 т. Т. 2. – Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1956. – 845 с.

172. Пермяков, Ю. Е. Проблема онтологического единства правовых норм и суждений / Ю. Е. Пермяков // Конфликтология. – 2011. – № 4. – С. 75–82.

173. Петров, В. В. Структуры значения. Логический анализ / В. В. Петров. – Новосибирск : Наука, Сиб-ое отд. 1979. – 142 с.

174. Петрова, Г. И. Метафизика власти / Г. И. Петрова // Вестник Томского гос. ун-та. Серия «Культурология и искусствоведение». – 2015. – № 4. – С. 60–65.

175. Подмосковский, В. Д. Правовая основа судебного усмотрения по российскому законодательству (вопросы теории и практики) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Подмосковский Владимир Дмитриевич. – Волгоград, 2004. – 28 с.

176. Поленина, С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства / С. В. Поленина. – Москва : Наука, 1979. – 205 с.

177. Поляков, А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека (тезисы доклада) // Права человека: вопросы истории и теории : материалы межвуз. науч.-теоретич. конф., 24 апреля 2004 г. / под ред. Д. И. Луковской. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 3–28.

178. Поляков, А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Юрид. центр «Пресс», 2003. – 843 с.

179. Поляков, А. В. Коммуникативное правопонимание: избранные труды / А. В. Поляков. – Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2014. – 575 с.

180. Построение правового государства: вопросы теории и практики : тез. докл. обл. науч.-практич. конф., 28 ноября 1990 г. – Ярославль : ЯрГУ, 1990.

181. Права человека : учебник для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. – Москва : Норма–Инфра-М, 2001. – 573 с.

182. Правда : газета. – 27 октября 1961. – № 67.

183. Прямая линия с Владимиром Путиным : программа, 25 апреля 2013 г. – URL: <http://www.kremlin.ru/transcripts/17976> (дата обращения: 17.05.2023).

184. Развитие прав граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе коммунистического строительства : сб. статей / отв. ред. М. И. Байтин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Саратов : Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского, 1962. – 368 с.

185. Рассказов, Л. П. Естественные права человека / Л. П. Рассказов, И. В. Упоров. – Санкт-Петербург : Лексикон, 2001. – 96 с.

186. Регельсбергер, Ф. Общее учение о праве / Ф. Регельсбергер. – Москва : Т-во И. Д. Сытина, 1897. – С. 35.

187. Рузвельт, Ф. Д. Беседы у камина / Ф. Д. Рузвельт. – Москва : ИТРК, 2003. – 408 с.

188. Савицкий, В. М. Язык процессуального закона: вопросы терминологии / В. М. Савицкий. – Москва : 1987. – 288 с.

189. Селзам, Г. Марксизм и мораль / Г. Селзам ; пер. с англ. О. Г. Дробницкого, Т. А. Кузьминой. – Москва : 1962. – 286 с.

190. Семитко, А. П. «Незападные» концепции прав человека: вопросы методологии / А. П. Семитко // Российский ежегодник теории права. – 2009. – № 2. – С. 612–626.

191. Сенякин, И. Н. Система права и система законодательства / И. Н. Сенякин // Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. Т. 2 / под. ред. М. Н. Марченко. – Москва : Зерцало, 2001. – 518 с.

192. Система советского права и перспективы ее развития // Советское государство и право, 1982. – № 6. – С. 94–95.

193. Систематизация хозяйственного законодательства / А. В. Мицкевич, О. С. Иоффе, В. С. Пронина [и др.] ; отв. ред. С. Н. Братусь. – Москва : Юрид. лит., 1971. – 264 с.

194. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский. – 4-е изд. перераб., доп. – Москва : Статут, 2008. – 922 с.

195. Соболев, М. В. Санкция как элемент юридической ответственности : дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соболев Михаил Валерьевич. – Москва, 2006. – 208 с.

196. Соколов-Митрич, Д. Депутат – не «крыса», должен делиться / Д. Соколов-Митрич // Известия. – 2007. – 18 сентября.

197. Солонько, И. В. Власть и общество: от иллюзий к реалиям / И. В. Солонько. – Москва : Концептуал, 2018. – 252 с.
198. Солонько, И. В. Бесструктурный способ управления концептуальной власти: технология контекстного управления общественными связями / И. В. Солонько // Вестник Санкт-Петербург. ун-та МВД России. – 2013. – № 2. – С. 213–218.
199. Спенсер, Г. Основания социологии / Г. Спенсер // Западно-европейская социология XIX века / под ред. В. И. Добренькова. – Москва, 1996. – 352 с.
200. Спиридонов, Л. И. Теория государства и права : учебник / Л. И. Спиридонов. – Москва : ПБОЮЛ Захаров М. А., 2001. – 304 с.
201. Степин, А. Б. Судебное усмотрение в частном праве (вопросы теории и практики) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Степин Александр Борисович. – Волгоград, 2002. – 20 с.
202. Степанов, Ю. С. В поисках прагматики / Ю. С. Степанов // Известия АН СССР. Серия «Литература и язык». – 1981. – Т. 40. – № 4. – С. 322–325.
203. Строгович, М. С. Развитие прав личности в период развернутого строительства коммунизма / М. С. Строгович // Развитие прав граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе коммунистического строительства. – Саратов: Коммунист, 1962. – С. 9–27.
204. Структура и смысл. – Киев, Изд-во: Наук. думка, 1989. – 228 с.
205. Студеникин, С. С. Военно-административные нормы и их особенности / С. С. Студеникин // Труды Военно-юридической академии. – 1945. – IV. – С. 50.
206. Субочев, В. В. Теория законных интересов : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.01 / Субочев Виталий Викторович. – Тамбов, 2009. – 57 с.
207. Общая теория государства и права : учебник для юридических вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев [и др.] ; под общ. ред. А. С. Пиголкина. – Москва : МГТУ им. Баумана, 1996. – 384 с.
208. Сырых, В. М. Логические основания общей теории права: в 2 т. Т.1. Элементный состав / В. М. Сырых. – Москва : Юстициформ, 2000. – 528 с.
209. Сырых, В. М. Теория государства и права / В. М. Сырых. – Москва : Былина, 1998. – 512 с.

210. Тарановский, Ф. В. Учебник энциклопедии права / Ф. В. Тарановский. – Юрьев : Типография К. Матиссена, 1917. – 354 с.
211. Теория государства и права : учебник / С. С. Алексеев, П. Т. Васьков, И. Я. Дюрягин [и др].; под ред.: С. С. Алексеева. – Москва : Юрид. лит., 1985. – 480 с.
212. Теория государства и права / под ред. А.И. Денисова. – Москва : МГУ, 1967. – 416 с.
213. Теория государства и права / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Форум : Инфра-М, 2008. – 624 с.
214. Теория государства и права : учебник / отв. ред. Н. И. Грачев. – Волгоград : Волгогр. гуманитар. ин-т ; Москва : Зерцало-М, 2018. – 876 с.
215. Теория государства и права. курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юрист, 2007. – 768 с.
216. Теория государства и права : курс лекций / М. И. Байтин, Ф. А. Григорьев, А. И. Демидов [и др.] ; под ред.: А. В. Малько, Н. И. Матузов. – Москва : Юристъ, 1997. – 672 с.
217. Теория государства и права : учебник / под ред. А. В. Малько, А. Ю. Саломатина ; Российская акад. наук, Саратовский филиал ин-та государства и права. – Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова : Юридический центр «Пресс», 2007. – 400 с.
218. Теория государства и права : учебник / Н. Г. Александров, Ф. И. Калинычев, А. В. Мицкевич [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Александров. – Москва : Юрид. лит., 1968. – 640 с.
219. Тихомиров, Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика / Ю. А. Тихомиров. – Москва : Формула права, 2010. – 400 с.
220. Тихомиров, Ю. А. Теория закона / Ю. А. Тихомиров ; отв. ред. В. П. Казимирчук. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
221. Томашевский, Н. П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов / Н. П. Томашевский // Вопросы общей теории советского права : сб. статей. – Москва : Госюриздат, 1960. – С. 194–254.
222. Тропер, М. Кельзен, теория толкования и структура правового порядка / М. Тропер // Российский ежегодник теории права. – 2011. – № 4. – С. 196–204.

223. Тропер, М. Свобода толкования у конституционного судьи / М. Тропер // Российский ежегодник теории права. – 2011. – № 4. – С. 184–195.

224. Туманов, В. А. Роль судебной практики в развитии советского права / В. А. Туманов // СССР – Франция: социологический и международно-правовой аспект сравнительного правоведения. – Москва : 1987. – 171 с.

225. Урсул, А. Д. Природа информации: философский очерк / А. Д. Урсул. – Москва : Изд-во Челяб. академ. культуры и искусств, 1968. – 295 с.

226. Ушаков, А. А. Очерки советской законодательной лингвистики : учеб. пособие : в 2 ч. / А. А. Ушаков ; Перм. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. М. Горького. Пермь : 1967. – 206 с.

227. Фарбер, И. Е. Права человека, гражданина и лица в советском обществе / И. Е. Фарбер // Правоведение. – 1967. – № 1. – С. 39–46.

228. Философия права. Курс лекций : учебное пособие в 2 т. / М. Н. Марченко, И. Ф. Мачин, Е. А. Фролова [и др.] ; отв. ред. М. Н. Марченко. – Москва : Проспект, 2011. – 512 с.

229. Фромм, Э. Пути из больного общества / Э. Фромм // Проблема человека в западной философии. – Москва : Прогресс, 1988. – 552 с.

230. Халфина, Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – Москва : Юрид. лит., 1974. – 340 с.

231. Харт, Г. Л. А. Понятие права / Г. Л. А. Харт ; под. общ. ред. Е. В. Афонасина, С. В. Моисеева. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. – 300 с.

232. Харт, Г. Л. А. Приписывание ответственности и прав / Г. Л. А. Харт // Изв. высш. учеб. зав. Правоведение. – 2010. – № 5 (292). – С. 116–135.

233. Ходунов, М. С. Судебная практика как источник права / М. С. Ходунов // Социалистическая законность. – 1956. – № 6. – С. 31–33.

234. Черданцев, А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции / А. Ф. Черданцев. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 320 с.

235. Черданцев, А. Ф. Толкование советского права / А. Ф. Черданцев. – Москва : Юрид. лит., 1979. – 166 с.

236. Честнов, И. А. Диалогичность нормы права / И. А. Честнов // Конфликтология. – 2011. – № 4. – С. 57–61.

237. Честнов, И. Л. Поминки по постмодернизму, или, здравствуй, постклассика? / И. Л. Честнов // Российский ежегодник теории права. – 2011. – № 4. – С. 35-86.

238. Честнов, И. Л. Постклассическая теория права / И. Л. Честнов. – Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2012. – 650 с.

239. Шебанов, А. Ф. Форма советского права / А. Ф. Шебанов. – Москва : Юрид. лит., 1968. – 216 с.

240. Шевырин, Е. К. Тип правового регулирования: теоретические и практические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шевырин Евгений Константинович. – Самара, 2008. – 25 с.

241. Шершеневич, Г. Ф. Общая теория права : учебное пособие в 2 т. / Г. Ф. Шершеневич. – М.: Юридический колледж МГУ, 1995.

242. Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер ; пер. с англ., науч. ред. Я. Н. Засурский. – Москва : Мысль, 1980. – 326 с.

243. Шмелев, А. А. О правовой информации / А.А. Шмелев // Научный центр правовой информации при Минюсте России : сайт. – URL: <http://www.scli.ru> (дата обращения: 10.07.2023).

244. Шмитт, К. Политическая теология : сборник / К. Шмитт ; пер. с нем., заключит. статья и сост. А. Филиппова. – Москва : КАНОН-пресс-Ц., 2000. – 336 с.

245. Шостром, Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор / Э. Шостром ; пер. с англ. – Минск : Полифакт, 1992. – 128 с.

246. Шугуров, М. В. Идея права: философско-правовой анализ / М. В. Шугуров // Вестник Саратов. гос. юрид. акад. – 2017. – № 1. – С. 36–45.

247. Щербакова, Н. В. Проблемы правовой установки личности / Н. В. Щербакова. – Ярославль : ЯрГУ, 1993. – 173 с.

248. Эбзеев, Б. С. Конституция. Демократия. Права человека / Б. Эбзеев. – Москва ; Черкесск : Пул, 1992. – 228 с.

249. Эшби, У. Р. Введение в кибернетику / У. Р. Эшби. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 432 с.

250. Явич, Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – 285 с.

251. Явич, Л. С. Право и общественные отношения. Основные аспекты содержания и формы советского права / Л. С. Явич. – Москва : Юрид. лит., 1971. – 152 с.

252. Яшина, Т. В. Вариативность семантического треугольника в аспекте изучения терминологических единиц / Т. В. Яшина // *Огарев-online*. – 2013. – № 4. – URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/variativnost-semanticheskogo-treugolnika-v-aspekte-izucheniya-terminologicheskikh-edinic> (дата обращения: 19.01.2023).
253. Alchourron, C. E. Normative Systems / C. E. Alchourron, E. Bulygin. – Wein ; New York : Springer, 1971. – 203 p.
254. Alchourrón, C. Logic of Norms and Logic of Normative Propositions / C. Alchourrón // *Logique et Analyse*. – 1969. – № 47.
255. Armitage, D. John Locke, Carolina and the Two Treatises of Government / D. Armitage // *Political Theory*. Sage Publications. – 2004. – October. – P. 602–627.
256. Beekes, R. Etymological Dictionary of Greek / R. Beekes. – Vol. I. – Leiden-Boston : Brill, 2010. – 1808 p.
257. Brink, D. O. Legal Interpretation, Objectivity, and Morality // *Objectivity in Law and Morals*, edited by Brian Leiter. Ca Beekes, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 354 p.
258. Brink, D. O. Legal Interpretation, Objectivity, and Morality / D. O. Brink // *Objectivity in Law and Morals*, edited by Brian Leiter. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 354 p.
259. Christie, M. Vagueness and Legal Language / M. Christie // *Minnesota Law Review*. – 1964. – № 48.
260. Dworkin, R. Taking rights seriously / R. Dworkin. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1977. – Pp. XV. – 293 p.
261. Dworkin, R. Law's Empire / R. Dworkin. – Cambridge, Massachusetts ; London, England : The Belknap Press of Harvard University Press, 1986. – XIV. – 471 p.
262. Edwards, R. The Role of a Judge in Modern Society: some reflections on Current Practice in Federal Appellate Adjudication / R. Edwards // *32 Clev. St. Law Review*. – 1984. – № 32.
263. Mauthner, F. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 1: Zur Sprache und zur Psychologie / F. Mauthner. – Frankfurt am Main ; Berlin, Wien, 1982. – 713 S.
264. Fisher, S. R. Statistical methods for research workers / S. R. Fisher. – London. : Oliver & Boyd, Ltd, 1925. – 232 p.
265. Frisk, H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band I / H. Frisk. – Heidelberg : Carl Winter-Universitätsverlag, 1960. – 938 s.

266. Galligan, D. J. Discretionary Powers. A Legal Study of Official Discretion / D. J. Galligan. – Oxford : Clarendon Press, 1986. – 401 p.
267. Hart, H. L. A. Self-Referring Laws // Hart H. L. A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. – Oxford, 2001.
268. Hart, H. L. A. The Concept of Law / H. L. A. Hart. – Oxford University Press, 1994. – 315 p.
269. Kadish, M. R. Discretion to Disobey. A study of Lawful Departures from legal Rules / M. R. Kadish, S. H. Kadish. – Stanford, California, 1973.
270. Kelsen, H. General Theory of Norms / H. Kelsen. – Oxford : Clarendon Press, 1991.
271. Kelsen, H. General theory of State and Law / H. Kelsen. – 3d ed. – Cambridge : Harvard University Press, 1949. – 516 p.
272. Kelsen, H. Pure Theory of Law. Translation from the Second German Edition by Max Knight / H. Kelsen. – Berkeley : University of California Press, 1967. – 356 p.
273. Lectures on Jurisprudence. Being the sequel to «The Province of Jurisprudence Determined» to which are added notes and fragments». Now first published from the Original Manuscripts. By the late *John Austin*. New York, 1970. – Lecture XLV.
274. Lustgarten, L. The Governance of Police / L. Lustgarten. – London : Sweet & Maxwell, 1986.– 197 p.
275. MacPherson. The Political Theory of Possessive Individualism Hobbes to Locke / MacPherson. – Oxford : Clarendon Press, 1962. – 310 p.
276. Marmor, A. Interpretation and Legal Theory / A. Marmor. – Oxford : Clarendon Press, 1992. – 185 p.
277. Marmor, A. Positive Law and Objective Values / A. Marmor. – Oxford : Clarendon Press, 2001. – 188 p.
278. Moor, R. The Semantic of Judging / R. Moor // S. California Law Review. – 1981. – № 54.
279. Raz, J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality / J. Raz. – Oxford : Clarendon Press, 1979. – 180 p.
280. Recanati, F. Le développement de la pragmatique / F. Recanati. Langue française, 1979. – № 42.
281. Schopenhauer, A. Sämtliche Werke / A. Schopenhauer. – Stuttgart – Berlin, 1958. – 292 s.

282. Tomasis, R. *The Sociology of Law* / R. Tomasis. – London : Sage Publications, 1985. – 288 p.

283. Wierzbicka, A. *Understanding cultures through their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese* / A. Wierzbicka. – New York : Oxford University Press, 1997. – 317 p.

284. Wittgenstein, L. *Philosophical Investigation* / L. Wittgenstein. – Oxford : Basil Blackwell ; N.Y. : Macmillan, 1958.

285. Wright, G. H. von. *Norm and Action, A Logical Enquiry* / G. H. von. Wright. – London : Routledge and Kegan Paul, 1963. – 214 p.

Научное издание

*Попов Виктор Викторович*

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

*Монография*

Редактор *А. М. Мачнева*  
Компьютерная верстка *Н. А. Доненко*  
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

При дизайне обложки использовались материалы сайта:  
[https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5a8d4ca17afa020647c649dbfba14f18\\_1-9151250-images-thumbs&n=13](https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5a8d4ca17afa020647c649dbfba14f18_1-9151250-images-thumbs&n=13)

Волгоградская академия МВД России.  
400075, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.  
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 15.03.2024. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 17,0. Усл. печ. л. 15,8.  
Тираж 30 экз. Заказ 5.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.